

А. Белый Дорнахский дневник (Интимный)

Андрей Белый и антропософия*

В творчестве Андрея Белого мемуарная проза занимает особое место. И не только потому, что, вероятно, половину всего литературного наследия Белого составляют мемуары, но и потому, что одно уже решение вопроса о принадлежности той или иной книги Белого к мемуарам является ключевым для определения отношения к его творчеству в целом. Разумеется, было бы неуместным здесь пытаться "решить" этот вопрос, легко могущий стать предметом целого большого тома (а может быть и нескольких). Отмечу только, что критикам, исследующим мемуары Белого, следовало бы принимать во внимание не только грандиозный мемуарный цикл 20-30-х годов, но и самые ранние его произведения (наглядный пример: его первая книга, опубликованная в 1902 г. - "Симфония. (Вторая, драматическая)", которую сам автор характеризовал так: "случайный отрывок, почти протокольная запись той подлинной, огромной симфонии, которая переживалась ряд месяцев в этом году [1901]"(1). Пристальное изучение творчества этого, на первый взгляд, самого мятущегося и противоречивого художника в истории русской литературы покажет, что на самом деле он был одним из самых в ней последовательных писателей: на протяжении более чем тридцати лет он сохранял верность фундаментальным положениям своего мирозерцания и принципиальным началам своей поэтики.

В период, начинающийся сразу же после завершения первого "варианта" "Петербурга", т.е. после 1913 г., все художественные произведения Белого так или иначе непосредственно связаны с "мемуарным импульсом"(2). Главным проявлением этого "импульса" могут в первую очередь видаться воспоминания о Блоке, к работе над которыми Белый приступил в первые дни августа 1921, после смерти поэта(3) и которые, подобно коралловому рифу, разрастались с годами в многотомную серию мемуаров-автобиографий.

Владислав Ходасевич, будучи очевидцем работы Белого над одним из вариантов этих воспоминаний, так называемой "берлинской редакцией" "Начала века", подробно изложил в рецензии на книгу "Между двух революций" сложную историю развития этих мемуаров: "В 1921 г., тотчас после смерти Блока, Белый прочел о нем в Петербурге, а потом в Москве, воспоминания, имевшие большой успех. В расширенном и дополненном виде они были напечатаны в одном альманахе ["Северные дни", сб. II, 1922, с. 133-155, также в дополненном виде в "Записках Мечтателей", 1922, №6, с.5-122]. По приезду в Берлин Белый вновь переработал их для журнала "Эпопея" [1922-23, №1-4]. Эта третья редакция, сильно разросшаяся, навела на мысль превратить воспоминания о Блоке в трехтомные воспоминания об эпохе символизма вообще. Так возникла четвертая редакция [три тома "Начала века"] /.../ Видя, что книга грозит превратиться в полубезумный обвинительный акт против всего и всех, некоторые друзья, в том числе и я, старались направить его на путь более справедливых оценок. Для этого нужно было настаивать, чтобы он не упускал из виду, что пишет ни в коем случае не собственную биографию, а объективные воспоминания обо всей эпохе. Эти усилия наши пропали даром: если в берлинской, четвертой, не увидевшей света редакции Белый еще сдерживался, то, приехав в Москву и приступив к пятой, он окончательно соскользнул от мемуаров об эпохе к автобиографии. Автобиографичность нового труда своего он даже подчеркнул тем, что "Началу века" [М., 1933] предпослал особый, ранее не предполагавшийся том, "На рубеже двух столетий" [М.-Л., 1930] - воспоминания о детстве и раннем юношестве"(4).

Третий том "московской редакции" воспоминаний "Между двух революций", законченный 23 марта 1933 г., появился только посмертно, в 1934 г. (Характерное для общей настроенности последней редакции мемуаров название этого тома - "Омут" - было заменено издательством на более "лояльное": "Между двух революций".)

22 сентября 1933 г., по свидетельству его жены, К.Н. Бугаевой, Белый начал работу над четвертым томом, или, выражаясь его словами, над "второй частью третьего тома". Острый приступ головных болей в начале октября, которые все усиливались в течение ноября, мешал работе. К моменту своей смерти, 8 января 1934 г., Белый успел довести изложение своей биографии только до "инцидента с "Петербургом"", т.е. до января 1912 г., когда П.Б. Струве отказался печатать заказанным им и Брюсовым роман на страницах "Русской Мысли". В "Введении" к этой последней части воспоминаний, опубликованных с купюрами в 1937 г., Белый писал, что книга должна была охватить "восьмилетие (1910-1918), связанное с жизнью на Западе и с кругом объектов, по-новому освещающих все впечатления бытия"(5). Первое место в кругу этих "объектов" должна была, безусловно, занимать фигура Рудольфа Штейнера, встреча с которым была центральным моментом всей жизни Белого.

Трудно сказать, как Белый, в бредовых условиях советской России середины 30-х годов, переосмыслил бы эту встречу и свою жизнь до 1916 г. в окружении Штейнера, помня, что после ряда кризисов, связанных с отношением к Штейнеру и его учению, Белый все-таки оставался до конца жизни верным и антропософии, и ее основателю. В конце двадцатых годов, в "исповеди" "Почему я стал символистом", он посвящает многие страницы своему "учителю", пишет большой том воспоминаний о нем, прекрасно понимая, что опубликовать эти работы при жизни будет совершенно невозможно(6). Хотя в этих воспоминаниях Белый уделяет много места собственным переживаниям 1912-1916 гг., все же именно личность Штейнера занимает в них центральное место. В результате эти поворотные годы в жизни Белого так и не были подробно зафиксированы в его воспоминаниях. Правда, до своего отъезда из Берлина в Москву в октябре 1923 г., Белый довел берлинскую редакцию "Начала века" до конца 1912 г. Хотя рукопись, по свидетельству Ходасевича (рецензия на книгу "Между двух революций"), была набрана к печати, целиком она никогда не была напечатана из-за закрытия издательства "Эпоха". Фрагменты из нее, однако, появились как в советской России ("Арбат", в журн. "Россия", 1924, №1(10), с.34-36), так и в эмигрантской прессе ("Отклики прежней Москвы" в журн. "Современные Записки", 1923, кн. XVI, с. 190-209, и "Арбат" - там же, кн. XVII, с. 156-182)(7). Белый опубликовал три "главки" из последней (десятой) главы третьего тома берлинского "Начала века" во втором выпуске журн. "Беседа", который редактировался им совместно с Горьким и Ходасевичем(8). Что эти "главки" (1. Бельгия, 2. Переходное время, 3. У Штейнера) принадлежат корпусу "Начала века", подтверждается тем, что они идентичны (за исключением незначительных стилистических изменений) с текстом единственных сохранившихся фрагментов берлинского "Начала века", находящихся в советских архивах (ЦГАЛИ, ГПБ): том III, главы 1, 9 и 10. В последних пяти "главках" десятой главы (дат. 1922-1923, декабрь - январь) - "Бельгия", "Переходное время", "Русские символисты", "У Штейнера", "Базель-Фицнау-Штутгарт-Берлин" - Белый описывает свою "окультурную" тягу к Штейнеру, первую встречу с ним весной 1912 г. и решение присоединиться к "делу доктора". Последняя главка, в которой описывается, как он принял это решение, никогда не печаталась.

В 1922 г., описывая свои оккультные переживания в Брюсселе, в апреле 1912 г., Белый писал в "Бельгии": "я и так не рассказывал почти никому о случившемся в Брюсселе, - десять лет; я, признаться, молчал потому, что в эпоху фанатического моего отношения к Штейнеру пересказ этих фактов сколь многих заставил бы с сожалением покачать головой; и счесть нас [А.Б. и Асю Тургеневу] - сумасшедшими в лучшем случае и шарлатанами - в худшем; и кроме того: мне казалось, что оглашать эти факты нельзя; но в интимном кругу я рассказывал обо всем, с нами бышем: Петровскому, Штейнеру, Эллису, К.Н. Васильевой, некоторым другим (не помню кому). А теперь, через десять лет, из другого морального тонуса, переменявшийся, трезвый и не имеющий никаких "окультурных" восприятий, я чувствую, что я должен поставить перед сознанием все эти факты"(9).

В то же время, параллельно с работой над "Началом века" в 1923 г., Белый "поставил перед сознанием" и другие факты: он начал писать заметки, получившие название "Материал к биографии (интимный), предназначенный для чтения только после смерти автора" (они также были Белым названы "Материалом биографическим, интимным"). Сюда вносилась детальная канва всей жизни автора вплоть до августа 1915 года, включая эпизоды, которые по личным причинам не могли быть опубликованы (его романы с Ниной Петровской и Любовью Дмитриевной Блок, так же как и его мучительные отношения с Асей Тургеневой и ее сестрой, Наташей; в чисто "сексуальном" плане Белый никогда не писал более интимного текста)(10). В общих чертах "Материал", в отличие от "Начала века", носит более дневниковый характер: изложение фактов расположено хронологически по месяцам, иногда даже по дням. Белый очень детально описывает 1880 (дата рождения) - 1903 годы, как и 1913-1915, в то время как период, охватывающий 1904-1912 гг. (за исключением 1906) он записывает более сжато (в начале записей 1904 г. он отмечает: "Ввиду того, что с 1904 года ряд моих воспоминаний о себе занесен в III том "Начала века", я буду останавливаться здесь лишь главным образом на фактах, не отмеченных в "Начале века"). Тем не менее, и в этой части "Материала" мы находим многое, о чем Белый должен был писать в третьем томе, и многое, о чем он, наверное, умолчал.

Основная задача "Материала" - сохранить в памяти события, не осмысляя их, как в "Начале века". В конце рукописи Белый писал:

Материал этот заносился для того, чтобы при случае дать на основании его художественное произведение (роман-автобиографию); автор брал себя, как объект анализа; центром его должны были быть переживания 1912-1916 годов; автор в эпоху 1913-1914 годов был крайне переутомлен; у него был ряд болезненных переживаний, которые он хотел записать сперва так, как они предносились ему в 1915 году. Он начал протокольно записывать эти переживания в 1923 году; но записи оборвались на 1915 годе. Ввиду того, что переживания эти даны здесь без *критики* автора (анализ их, трезвый, должен был их завершить), ввиду интимности их и крайней болезненности, ввиду того, что здесь вскрываются интимные стороны отношения автора к когда-то ему близким

людям, - автор **сдаст в архив эти биографические записи лишь с условием, что станут достоянием работающих в Архиве после смерти автора.**

Белый продолжал записи в 1924 г. и время от времени возвращался к ним до 1928 г., когда он их оставил окончательно, не доведя их до 1916 г., так и не поставив последней точки (в буквальном смысле тоже).

В самом "Материале" Белый называет период 1912-1916 гг. "удивительным парадоксом, богатейшей пищей для общества психических исследований" и продолжает: "теперь, озирая себя, я могу вопрошать: принадлежала ли эта жизнь моей жизни?". Ответить на этот вопрос мог бы только сам Белый, но, признаться, описание конца 1914 г. и особенно всего 1915 г. иногда читается как фантастический роман, этим напоминая, может быть, самую загадочную вещь, написанную Белым: "Записки чудака"¹¹. Но в "Материале" (в отличие от "Записок чудака", где автор выступает как Леонид Ледяной, Ася как Нэлли и т.д.) Белый, как и другие люди, говорит прямо от себя, события даны в чисто хронологическом порядке и он никак не отрицает автобиографичности этих событий. (В своем "Вместо предисловия" к "Запискам чудака" Белый настаивал на том, что "Леонид Ледяной - не Андрей Белый", а в тексте (т.1, с.68) писал о "Записках": "в виде повести этот странный дневник".) Правдивость описания атмосферы, царящей в военные годы в Дорнахе, подтверждается письмами Белого Иванову-Разумнику. В письме, посланном 20 ноября 1915 (по н.ст.) из Арлесгейма (близ Дорнаха) Белый намекал на "мучительнейшие ситуации внутри и вовне О[бщест]ва, которые приходится переживать", продолжая: "На них-то, немногих, опираешься ты и несешь многое, но не отходишь, потому что большинство наших членов, как всякое *"большинство"*; и даже хуже обычного *"большинства"*, ибо антропософия - проба сил воли; и кто не становится *лучше*, тот во многом становится еще хуже, составляя внешнюю картину *"штейнериста"* или *"штейнеристки"*, за которую по справедливости нас ругают"⁽¹²⁾. 11 марта 1916 г. (по н. ст.) он писал:

Жизнь здесь унылая: все болею то нервным переутомлением, то одышкой, то страдаю сердечными припадками; *пушки* в Эльзасе начинаю просто не переносить. И уехать-то некуда. Роман мой застопорился: очень много было у меня в личной жизни забот, огорчений и тяжелых переживаний, очень много было и неприятностей на почве здешней местной жизни. Отчаянные господа (верней госпожи или проще *"старые девы"*) наши антропософы; 5% порядочных людей, 1/2^о7о людей замечательных: прочие - никуда ненужный балласт, тормозящий все дело доктора; испортили купол наш "дряблостью, декадентской живописью": вместо антропософского искусства получилась дотошность самого захудалого модернизма; столько здесь тяжелого, нудного, что Вы и предложить себе не можете: вот скоро 3 месяца д-ра нет; мы одни среди неприятностей, мелочностей, "тетинских" сплетен: работники (т.е. молодежь) едва таскают ноги от усталости: у кого болезнь сердца, кто вытянул от колотыбы по дереву сухожилие, кто просто слег: и все это - в "базельском" мертвом сне, среди кляузных и злонастроенных деревушек.

Иногда такое отчаяние охватит, что просто по-собачьему *"выть"* хочется⁽¹³⁾.

В "Материале" читатель найдет все подробности этих "неприятностей" и "тяжелых переживаний", определение-которых самим Белым как только "странные" - едва ли можно считать адекватным.

Уже в 1907 г. в статье "Будущее искусства" Белый писал о главной задаче писателя-символиста: "Мы должны забыть настоящее: мы должны все снова пересоздать: для этого мы должны создать самих себя /.../ [художник] должен стать своей собственной художественной формой"⁽¹⁴⁾. Спустя более десяти лет, в период создания "Эпопеи" "я", он повторяет в "Дневнике писателя" свой основной творческий принцип: "по отношению к себе самому становлюсь натуралистом"⁽¹⁵⁾. "Натуралист", исследователь неведомых земель обретенной реальности, "инопланетный гастролер" становится в своем "Материале" экскурсоводом не только по внешним событиям, но и по внутренним: по собственному сознанию в поворотные "антропософские годы" своей жизни, названной им самим "более богатой, чем вся жизнь *"до"* и вся жизнь *"после"* (в событиях внутренних и странных)"⁽¹⁶⁾. В этом и заключается для читателя всеобъемлющий интерес этих писаний и важность (а, возможно, и опасность) их для тех, кто изучает Белого и его эпоху.

По сей день "Материал к биографии (интимный)", рукопись которого хранится в ЦГАЛИ, ф.53, оп.2, ед. хр.3, не опубликован и известен только по ссылкам или отрывочным цитатам в работах советских и западных "беловедов". Здесь впервые публикуются целиком лл.61 об. - 163 об., записи о 1913-1915 годах. Отрывки из рукописи, касающиеся периода от 1911 до 1912 гг., предшествуют тексту, чтобы зарисовать фон происходящего с Белым до этого времени. Примечания, главный образ, имеют целью уточнить, а иногда и исправить даты описываемых событий (Белый довольно часто мешает старый и новый стили). Литература о Рудольфе Штейнере особенно помогла в этой работе, так как каждый день, каждая его лекция или подробность из его жизни зафиксированы в публикациях Verlag der Rudolf Steiner (см., например, Rudolf Steiner. Das literarische und künstlerische Werk. Eine bibliographische übersicht, Dornach, 1961, с перечнем дат и мест всех его лекций). Чтобы не загромождать текст примечаниями, к нему добавлен именной указатель известных, малоизвестных или вовсе неизвестных лиц, упомянутых в "Материале".

Все материалы публикуются впервые. Автор приносит благодарность Владимиру Гитину за помощь в редактировании текста "Материалов".

Дж. Мальмстад

Приложения к вступительной статье Д.Мальмстада

* Research for this article was supported in part by a grant from the International Research & Exchanges Board (IREX), with funds provided by the National Endowment for the Humanities and the United States Information Agency. None of these organizations is responsible for the views expressed.

1. МАТЕРИАЛ К БИОГРАФИИ (ИНТИМНЫЙ). ЦГАЛИ, ф.53, оп.2, ед.-хр.3, запись за февраль 1901 г.
2. См. статью Л.Флейшмана *BELY'S MEMORS* в кн.: *ANDREY BELY. SPIRIT OF SYMBOLISM*. Ed. John E. Malmstad (Cornell University Press, 1987), с.216-241.
3. См. *ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ* Андрея Белого, предисловие и публикация С.С. Гречишкина и А.В. Лаврова. - "Литературное наследство", т.92, кн.3, 1982, с.788-829.
4. *ОТ ПОЛУПРАВДЫ К НЕПРАВДЕ*. - "Возрождение", 27 мая 1938, №4133.
- 5 *ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА АНДРЕЯ БЕЛОГО. ВОСПОМИНАНИЯ, том III, часть II*. - "Литературное наследство", т.27-28, 1937, с.413.
6. Книга *ПОЧЕМУ Я СТАЛ СИМВОЛИСТОМ*, написанная в 1928 г., появилась в печати только в 1982 (Ann Arbor, "Ardis"); в этом же году вышли в Париже ("La Presse Libre") *ВОСПОМИНАНИЯ О ШТЕЙНЕРЕ*, законченные в январе 1929.
7. Некоторые отрывки также были напечатаны в берлинских газетах "Дни" и "Голос России"; см.: *ANDREJBELYJINBERLIN, 1921-1923. Addenda for a Bibliography of His Works*. J.E.Malmstad. - "The Andrej Belyj Society Newsletter", 1985, №4, с.20-29.
8. Андрей Белый. *ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ*. - "Беседа", 1923, №2, с.83-127.
9. "Беседа", 1923, №2, с.99.
10. Существует еще один "загадочный" текст - "Ракурс дневника", ссылки на который часто встречаются в *ЛЕТОПИСИ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А.БЕЛОГО*, составленной К.Н. Бугаевой (ГПБ, ф.60, ед. хр. 107). Рукопись "Ракурса" хранится в ЦГАЛИ и в настоящее время не выдается исследователям.
11. О *ЗАПИСКАХ ЧУДАКА*, 2 т. (М.-Берлин, 1922) см. содержательную статью: *A DIARY IN STORY FORM: "ZAPISKICHUDAKA" AND SOME PROBLEMS OF BELY'S BIOGRAPHY*, John Elsworth, в кн.: *ASPECTS OF RUSSIA. 1850-1970. POETRY, PROSE AND PUBLIC OPINION*. (Letchworth, 1984).
12. ЦГАЛИ, ф.1782, оп.1, ед. хр. 6 (письма 1915 года).
13. ЦГАЛИ, ф.1782, оп.1, ед. хр.7 (письма 1916 года).
14. *СИМВОЛИЗМ*, М., 1910, с.453.
15. *ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ*, дат. 9 января 1919 г. - "Записки Мечтателей", 1919, №1, с.119.
16. "Автобиографическое письмо" Иванову-Разумнику от 1-3 марта 1927 г. ("Cahiers du monde russe et sovietique", 15, №1-2, 1974, с.72). Там же Белый писал: "Семилетие 1912-1918 могу назвать в целом: *Антропософия*. Но: в первом *четырёх летию* (12-15) эта *"антропософия"* мне звучит в темах: *"мир"*, (см. след. стр.) *"Германия"*, *"медитация"*, *"мировая война"*, *"Ася"*, мучительное искание гармонии с доселе близким мне другом, так много значащим для меня, Эмилием Карловичем] Метнером; гармония рвется - более, более, более; и в 15-ом году отношения (для меня) наши разрываются навсегда" (с.78) и *"антропософия, как эзотерический путь"* (тема периода 1912-1915)" (с.75). См. также с.71-73.

Дорнахский дневник (Интимный)

1911 год

Май. /.../ Отъезд в Боголюбы(1) есть ссора с мамой, страх перед ставшей мне чуждой Москвой. Со мной из Москвы едет Наташа [Тургенева].

Июнь. Жизнь в Боголюбах. Живем [вместе с Асей Тургеневой] в отдельном домике, вне главного. Обнаруживается: переутомление нервное у Аси, ряд медиумических явлений в домике по ночам. В Асе развивается *мистицизм* и тяга к проблемам духовной культуры. /.../

Июль. Приезжает Поццо. Медиум[ические] явления продолжают; я борюсь с ними; тревожное настроение /.../

Август. Грустная, предотъездная жизнь в Боголюбах. Наш отъезд с Асей в Москву /.../

Сентябрь. /.../ Переезжаем с Асей в Расторгуево [под Москвой]; мечтаем вырваться; /.../

Октябрь. Жизнь в Расторгуеве. Отъезд Эллиса за границу. Мечты сбежать. Асино: *так жить нельзя*. /.../ Денег - нет. Строчу "Петербург".

Ноябрь. Ужасные холода на даче. Жить невозможно. Ввалились в квартиру к Поццо. Там - толчея, неуютница, холод. Писать - все трудней. Выручил Блок присылкой денег. Состояние мое: хоть повеситься.

Декабрь. Не выдержали: бежали из Москвы в Бобровку; спешно работаю над "*Петербургом*". Все те же грустные мысли: жить нельзя. Возвращаемся к рождеству в Москву.

Грянул мой инцидент [о приятии "*Петербурга*"] с "*Русской Мыслью*".

1912 год

Январь. Первое января встретили на квартирке у Поццо: в 6-ом Ростовском переулке, близ Плющихи; кажется зажгли елочку; присутствовали: С.Н. Кампиони, Ася, Наташа, Таня, Поццо, я. Мне открылся текст, что мы пройдем под облаком, что будет: все-таки свет из грядущего. /.../

Январь этого года - сплошное томление /.../ В таком состоянии с Асей попадаем в конце месяца в Петербург; и поселяемся у В.Иванова - на "Башне".

Февраль. Весь проведен у В.Иванова; /.../

Март. Возвращаюсь в Москву. /.../ собираюсь уехать за границу; /.../ В самом конце марта выезжаем с Асей за границу; последние дни месяца связаны с Кельном.

Апрель. Приезжаем в Брюссель, заболеваем; /.../ странные приключения, описанные в III томе "*Начала Века*". /.../

Май. Встреча с Штейнером, приезд в Брюссель Эллиса(2); /.../ Поездка в Брюгге, поездка в Шарле-Руа к д'Эстрэ. Мой отъезд в Буа-Ле-Руа, к д'Альгеймам.

Июнь. Жизнь у д'Альгеймов в Буа-Ле-Руа. /.../

Июль. Отъезд из Буа-Ле-Руа. Страсбург, впечатление от собора. Приезд в Мюнхен, встреча с Штейнером, Эллисом, Поольман-Мой, Рихтером. Занятия с Шолль. Приезд Наташи Тургеневой в Мюнхен. Наши посещения Штейнера.

Август. Работа над мистериями. Постановка мистерий [Штейнера], мюнхенский курс "О вечности мгновений"(3). Отъезд Наташи. Переезд в Базель.

Сентябрь. Базельский курс: "Евангелие от Марка"(4). Приезд В.Иванова в Базель, к нам. Разговоры с Эллисом; наш отъезд в Фицнау [Швейцария].

Октябрь. Жизнь в Фицнау. Моя работа над циклами. /.../ Медитации.

Ноябрь. Переезд в Дегерлох (под Штутгартом); разговоры и дружба с Эллисом и с Поольман-Мой; /.../ Отъезд в Мюнхен на лекции Штейнера(5). /.../ 30 ноября приезжаем в Берлин.

Декабрь. Жизнь в Берлине. Денежные затруднения. Значительные внутренние переживания. Отъезд в Кельн на цикл: "Послания апостола Павла и Бхагават-Гита"(6). Новый год встречаем в Кельне: последняя дружественная встреча с Эллисом и Поольман-Мой.

1913 год

Январь.

Новый год встретили с Асей в Кельне, в отеле St.Paul, против Кельнского собора; в этом же отеле мы жили в дни, когда произошла первая встреча наша с доктором Штейнером; помнится, мы вернулись с лекции Штейнера; и - помнится: у нас вечером сидели: Эллис и Поольман-Мой; я показывал Поольман-Мой мои схемы, в красках (Человек-Храм); мы незадолго записались все в образовавшееся А[нтропософское] О[бщество], выйдя из Т[еософского] О[бщества] вместе с Штейнером(7); помнится, этот период отложился внутренними узданиями о Храме тела; о Куполе, как голове; три идеи Храма: Храм - подземный (тело); Храм - солнечный (построенный на сердце); Храм космический (весь человек); в моих имагинациях того времени есть многое, что выявилось впоследствии в плане Гетеанума. Помнится в эти дни особое впечатление произвела лекция Штейнера из курса, где он говорит о Человеке-змее (что значит дойти до змеи).

Через несколько дней мы вернулись в Берлин.

Январь этого года (как и декабрь предыдущего) стоит мне под знаком моих все усиливающихся медитаций и узнаний (внутренних); еще в ноябре, в Штутгарте я приготовил Штейнеру нечто вроде доклада, с рядом схем о моей внутренней работе и о тех медитациях, которые он мне дал; в Мюнхене я передал Штейнеру эту тетрадь (на свидании, где мы были у него с Поольман-Мой); в декабре Штейнер вернул мне тетрадь с рядом указаний (было длительное свидание с ним); вместе с тем он переменял мне работу; новые медитации вызвали во мне ряд странных состояний сознания; переменялось отношение между сном и бодрствованием; в декабре было два случая со мной выхода из себя (когда я, не засыпая, чувствовал, как выхожу из тела и нахожусь в астральном пространстве); весь этот период я был в состоянии потрясения под впечатлением этого огромного события моей внутренней жизни; дни проходили в чтении циклов, а утром, среди дня и вечером в медитациях, концентрациях, контемпляциях. Я читал кроме того внимательно "Добротолубие" (2 тома).

В январе состоялось новое свидание со Штейнером, в котором я представил ему новые схемы (в красках) и отчеты о моих работах и передал о случаях выхождения из себя в декабре и о третьем случае выхождения в январе (вскоре по возвращению из Кельна); Штейнер сказал мне: "Ja, es ist so; es ist schwer zu ertragen, aber man muss dulden...". Но все-таки: он сказал мне, что некоторые узнавания мои о духовной действительности преждевременны (они позднее по-новому прояснятся); он дал мне еще ряд указаний внутреннего порядка; помнится, что мы с Асей с начала 13 года перешли на вегетарианство.

За этот период мы слушаем лекции в А.О.; каждую неделю читает Штейнер лекцию по вторникам в помещении О-ва на тему: *"Жизнь человека между смертью и новым рождением"*: в декабре, январе, феврале и в марте он прочел до 12 лекций на эту тему(8); весь этот период слушаю лекции Штейнера (публичные) в Architektenhaus на Wilhelmstrasse, образующие то же "ш generis курс (из 6 лекций) на тему: *"Естествознание и духовная наука"*(9). Внимательно читаю выходящие *"Mitteilungen"* О-ва. За этот период раз М.Я. Сиверс (впоследствии жена Штейнера) приглашает нас с Асей на кофе в квартиру Штейнера; к кофе выходит доктор, и у нас происходит за столом разговор о Рожэре Бэконе и о Бэконе Веруламском. Он указывает на то, что у некоторых схоластиков удивительная тонкость логической спекуляции, утраченная в наше время.

Кроме того: слушаю лекции Курта Вальтера в А.О. о "Я" человека, а также проф. Бекка (члена О-ва) - там же. Из антропософфов-русских, проживающих в Берлине, часто вижу с Т.А. Бергенгрюн (сестрой Е.А. Бальмонт), с Ганной, с племянником Бергенгрюн, с семейством Поповых (муж музыкант), с семейством Ван-дер-Паальс; вижу и с приехавшей из Петрограда к доктору Форсман, знакоплюсь с сестрой М.Я. Сиверс - О.Я. Сиверс; из немецких антропософфов знакоплюсь с графом Лерхенфельд, с Зейлингом, с др. Гёшем, с Валлер (живущей в доме доктора), с сестрами Леман, с Мюллер, с бароном и баронессой Галлен (шведские антропософы) и с рядом других лиц.

К концу месяца открывается генеральное собрание вновь открывшегося А.О., продолжающееся более недели(10); на это время снимается Architekten haus, где заседания и лекции происходят с

9 часов утра до 3-4-х: на заседаниях разрешается ряд дел, а в прочие часы происходит ряд докладов и рефератов съехавшихся членов О-ва; среди докладов мне запомнились: доклад Аренсона о 10 заповедях, доклад Деглау (из Бреславля) о законах Ньютона в антропософском освещении, доклад д-ра Пайперса, доклад д-ра Унгера. По вечерам же лекции курса Штейнера: *"Мистерии Востока и Запада"*; а также лекция *"О сущности Антропософии"* и какая-то другая(11).

В это время происходит переписка с Москвой и Петербургом: для московских антропософфов пишу подробный конспект двух последних прослушанных курсов Штейнера, перерабатываю заново начало *"Петербурга"*; обнаруживается все большее оттолкновение от Москвы (от Морозовой, Рачинского, Метнера, Булгакова); я связуюсь в письмах с формирующимся издательством *"Сирин"*. В январе ко мне заезжает в Берлин издатель *"Сирин"* М.И. Терещенко (будущий министр временного правительства) и мы условливаемся о том, что мог бы я дать для издательства *"Сирин"*. В январе же в Берлине встречаюсь с товарищем детства И.В. Танеевым.

Февраль.

Этот месяц продолжаю слушать лекции Штейнера и Вальтера; начинаю чувствовать все большее и большее тяготение и любовь к М.Я. Сиверс; ее доброе, внимательное отношение к нам проявляется все больше и больше; приезжает в Берлин К.П. Христофорова, с которой происходят частые встречи; наступает весна; мои внутренние упражнения приобретают новый оттенок: я испытываю чувство растущей и разливающейся любви к М.Я. Сивере, к доктору и к целому ряду лиц в нашем О-ве; я не мыслю себе возможности оторваться от доктора; чувствую, что не могу от него уехать хотя бы потому, что изменения в моей внутренней жизни и работа, им данная мне, требуют постоянных указаний от доктора; между тем: денег у меня нет; на что жить в будущем - неизвестно, приходится думать об отъезде. Я переживаю мучительное раздвоение и страшную тревогу, что придется мне уехать из Берлина. Вместе с тем А.А. Блок сватает мой роман *"Петербург"* для альманахов К-ва *"Сирин"* и пишет мне письма о том, что может быть удастся провести его через редакционный совет (Терещенко, его сестра, Блок, Ремизов, Иванов-Разумник, еще кто-то). Я спешно доканчиваю переработку первых 5-ти глав и отсылаю в Петербург; если роман принят, то я обеспечен: могу остаться при Штейнере и год, и больше; если же не принят, то - придется ехать в Россию; но уже мы с Асей решаем: в Москву не возвращаться ни в коем случае, а ехать к Софии Ник. Кампиони, в Боголюбы (под Луцк); и там переждать трудные времена.

В такой неопределенности я томлюсь весь февраль; между тем - обнаруживается: в марте Штейнер читает в Гааге курс: *"Влияние оккультного развития на тела"*(12). Мы рвемся в Гаагу, заказываем себе билеты на курс в надежде, что *"Сирин"* при[ме]т "Петербург", /.../ а *"Сирин"* молчит. Мы идем советоваться с д-ром Штейнером, что нам делать; он как бы благословляет нас ехать в деревню в случае, если дела не устроятся.

Одновременно мы переписываемся с СМ. Соловьевым и с Таней, сестрой Аси, ставшей женой СМ. Соловьева; они - в Италии, в Риме; вращаются в кругах католических, видятся с кардиналом Рамполле, с В.И. Ивановым, уехавшим в Италию из Петербурга и женившимся на своей падчерице (В.К. Шварсалон).

Штейнер дает мне новые медитации.

Март.

Начало месяца протекает все в той же неопределенности: деньги приходят к концу, а ответа от "Сирин" - нет; в полном отчаянии мы укладываемся, но что делать с огромным сундуком? Тащить его в Боголюбы? Тут мы решаемся поставить сундук на хранение в Берлине, как залог нашего скорого возвращения к Штейнеру: я решаю - умереть, или найти средства для жизни при Штейнере; в таком состоянии мы уже берем билеты в Луцк и идем прощаться с доктором; он ласково успокаивает нас; и говорит, чтобы мы стремились мысленно вернуться; и тогда все препятствия падут; и мы - вернемся. Штейнер мне между прочим говорит:

"За эти месяцы вы вашей медитативной работой и вашими оккультными узданиями заложили себе прочный фундамент для будущего развития; смотрите на опыт этих месяцев как на введение к тому, чтобы стать внутри *пути*. Когда вы снова ко мне вернетесь, то мы прочно поработаем с вами"... Мы прощаемся с доктором, с антропософами; и - вот: накануне отъезда получаем телеграмму от "Сирин": "*Роман - принят(13)*". А это значило для меня: ежемесячное получение аванса в 300 рублей т.е. 11/2-2 года безбедного существования. Мы - ликуем; но - все-таки: решаем на весну и лето уехать в Боголюбы, чтобы в мае-июне быть в Гельсингфорсе на курсе Штейнера, а в конце июля вернуться в Мюнхен на курс и мистерии, чтобы прочно зажить при Штейнере.

С такою мыслью мы уезжаем в Боголюбы.

В Луцке нас встречает распутица и метель; по дороге от Луцка к Боголюбам наша пролетка увязает в грязи; возница отпрягает одну лошадь и скачет в Боголюбы, чтобы В.К. Кампиони с работниками прислали за нами лошадей; мы с Асей остаемся в поле, заносимые снегом и пронизываемые ледяным ветром; спускается ночь, а из Боголюб нас никто не выручает; делается в ночи жутко; наконец за нами приезжает Кампиони; мы пересаживаемся и таким образом едва-едва попадаем в Боголюбы уже ночью; здесь находим СМ. Кампиони, ее мужа, лесничего торчанской волости, его помощника, детей (Варю, Мишу), нянюшку; и к нашему великому изумлению находим Наташу Поццо с нянюшкой и маленькой дочкой, Машей; нас устраивают в маленьком домике, отстоящем от дома лесничего на расстоянии 300 шагов, где мы и живем весь этот месяц, пока достраивается большой дом, предназначенный для семейства В.К.

Скоро проездом из Италии в Москву приезжают СМ. Соловьев и его жена Таня, наполняя весь дом весельем и впечатлениями от Италии. Помнится мне наступление весны и наши прогулки с СМ. Соловьевым в боголюбских рощах, остатки снега, лужи и подснежники. Скоро Соловьевы уезжают. В конце месяца из Москвы приезжает А.М. Поццо. Мы с Асей живем в нашем домике довольно замкнуто: отношения с Поццами (Наташей и А.М.) как-то странно неладятся; чувствуется какое-то взаимное отчуждение, которого прежде не было, когда Наташа жила с нами в Мюнхене; мы с Асей полагаем, что то, что нас отделяет, есть жизнь при Штейнере, мир медитаций и новых духовных узваний: о них - не расскажешь; и они-то, как видим мы, образуют вокруг нас точно круг, отделяющий нас от всех.

Этот месяц запомнился мне в одном отношении: Ася объявила мне, что в антропософии она окончательно осознала свой путь, как аскетизм, что ей трудно быть мне женой, что мы отныне будем лишь братом и сестрой. С грустью я подчиняюсь решению Аси.

Весь месяц усиленно работаю над шестой главой "*Петербург*"; пишу ее заново; начинается у меня переписка с Р.В. Ивановым о "*Петербурге*", получаю письма и от Блока и от Эллиса; от последнего приходит много писем; в них - явно уже звучит нота отхождения от А.О.; члены его ему видятся карикатурно; звучат ноты недоумения по отношению к Штейнеру; эти письма Эллиса мне очень мучительны; особенно мучительно мне, что и Поольман-Мой разделяет недоумения Эллиса: Эллис, Поольман-Мой, я и Ася, мне казались тесной, интимной антропософской группой. Теперь вижу: эта группа обречена распасться.

Апрель.

Безвыездно сижу в Боголюбях; теперь мы с Асей переехали в большой дом; Поццо с Наташей переехали тоже; мы живем неподалеку друг от друга, но, помнится, мы очень мало вместе; Наташа очень уединяется от нас; мы с Асей держимся вдвоем; иногда бываем в Луцке; там бываем у Положенцевых; я заканчиваю 6-ю главу "*Петербурга*"; после очень напряженной и проникнутой узданиями зимы какое-то нервное утомление. Получаю письмо от Н.А. Бердяева; этот последний просит меня, чтобы я написал Штейнеру вопрос, может ли он прослушать курс лекций его в Гельсингфорсе, не будучи членом А.О.; я пишу в Берлин об этом М.Я. Сиверс; и получаю от нее разрешение от доктора Бердяеву слушать лекции в Гельсингфорсе; пишу соответственное

письмо Бердяеву; с Эллисом тоже интенсивная переписка; от Эллиса получаю письмо за письмом, в котором он подвергает О-во убийственной критике; узнаю из чьего-то письма, что *Vai* в Мюнхене не будет строиться, но будет строиться в Швейцарии на земле, пожертвованной О-ву доктором Гросхайнцем. Впервые узнаю о том, что доктор со Смитс разрабатывает принципы передавать движение в слове.

Нервы мои - в убийственном состоянии; у меня происходит очень странное объяснение с Поццо; из этого объяснения мне становится ясным, насколько я переутомлен.

Май.

Первую половину месяца мы проводим в Боголюбях; я набрасываю вчерне первую половину 7-ой главы "*Петербурга*"; помнится пышная природа Боголюб; медитации мои идут интенсивней и интенсивней (новые, об ангелах, архангелах и началах); мы с Асей готовимся к поездке в Гельсингфорс; Наташа и Поццо уезжают в Москву, чтобы из Москвы уже ехать в Финляндию.

Мы с Асей трогаемся в Петербург(14); останавливаемся на Пушкинской в гостинице кажется *Палэ-Рояль*, где некогда жил Пер-цов; я иду в "*Сирин*", где встречаюсь с Разумником Васильевичем Ивановым, который рассказывает мне о своей полемике с Мережковскими; мы с Асей делаем визит Мережковским, получаем приглашение обедать у них; у Мережковских встречаемся с Н.А. Бердяевым, приехавшим из Москвы в Петербург, чтобы ехать в Гельсингфорс на курс Штейнера; у меня происходит спор с Мережковским и объяснение с Философовым об антропософии. Вижусь с Блоком. Приезжают из Москвы Поццо и в тот же день едут в Гельсингфорс с парохомом.

Отправляемся в Гельсингфорс; оказываемся в одном поезде с Бердяевым и с В.В. Бородаевским; оказывается: Бородаевский стал членом А.О.; и тоже едет на курс Штейнера; в Гельсингфорсе мы встречаемся с рядом русских из Москвы и Петербурга, приехавшим на курс: из Петербурга приехали между прочим: О.Я. Сиверс, Форсман, Леман, Е.И. Васильева (Черубина де Габриак), Н.Н. Белоцветов, Брюллова, К.Н. Васильева, П.Н. Васильев, В.Н. Васильев, сестра Вандер-Паальса с мужем и ряд других; из Москвы приехали: А.С. Петровский, М.И. Сизов, Наташа Поццо, А.М. Поццо, Григоровы, Христофорова, Машковцев, В.Ф. Ахрамович, Шенрок и др.

На другой день по приезде русские приехавшие встречают д-ра Штейнера и М.Я. Сиверс на вокзале и подносят им цветы; я сообщаю доктору о том, что летом приезжаю в Мюнхен: "Вот видите" - говорит он мне - "с приездом-то и устроилось..." Большинство русских остановились в отеле *Фенниа*, где остановился и доктор с М.Я.

Со следующего дня начинается курс лекций (10 лекций): "*Оккультные основы Бхагават-Гиты*"¹⁵; по вечерам я прочитываю

свой конспект лекции группе москвичей; Бердяев относится двойственно к слышимому; Бородаевский же потрясен курсом. Кроме курса д-р прочитывает специально русским лекцию для русских в номере "*Фенниа*" (в Григоровском); происходит первая встреча А.М. Поццо с доктором: А.М. записывается тут же в члены Общества. Мы с Асей получаем свидание (длительное) у доктора; я сдаю ему отчет в своих медитациях и получаю от него указания с дополнительными медитациями; запомнился мне чай у Григоровых с антропософами немецкими (Сиверс, Штинде, гр. Калькрейт и др.). Среди приехавших с доктором в Гельсингфорс запомнились: гр. Калькрейт, Штинде, фон Чирская, д-р Геш, барон Галлен с женой, Райф, которая, узнавши, что я знаком с Мережковскими, просит меня передать Гиппиус привет (они когда-то встречались в Сицилии). Большим событием для меня было принятие нас с Асей в Е.С. ("*Esoterische Stunde*" - собрания для учеников, применяющих методы к себе духовной науки; здесь все указания д-ра специальные, техничны; в "*Е.С.*" допущены были не все члены А.О.).

Помнится день отъезда д-ра; мы провожали его на вокзале; я, Ася, Наташа и Поццо купили М.Я. белых колокольчиков в дорогу ей; она приняла очень ласково цветы.

Вернулись с Асей в Петербург, где прожили несколько дней; были у Мережковских, у А.Н. Чеботаревской, где встретились с Н.А. Бердяевым; обедали у А.А. Блока (Л.Д. была в отъезде), виделся, если память не изменяет, с А.А. Кублицкой-Пиоттух; обедали с Асей у Таты Гиппиус с Карташевым; виделся с Р.В. Ивановым.

После мы поехали с Асей к маме, в Демьяново (под Клином), где я принялся отрабатывать свой конспект курса.

Июнь.

Начало июня провели в Демьянове, держались очень уединенно; в парке встречались с Танеевыми, с К.А. Тимирязевым; мама не ужилась с Асей; и скоро мы собрались и поехали в Дедово, к Соловьевым, чтобы оттуда через Москву вернуться в Боголюб; у меня в Дедове вышло серьезное столкновение с СМ. Соловьевым на идеологической почве; и мы, крупно поговорив, расстались; так мы совершенно разбитые после Гельсингфорса (ссорою с мамой и ссорю с СМ. Соловьевым) поехали на несколько лишь часов в Москву (с поезда на поезд), повидавшись с А.С. Петровским и М.И. Сизовым.

К середине июня мы вернулись в Боголюбы (Наташа и Поццо остались в Москве); в Боголюбах же мы встретились с Л.Н. Черновой (женой брата В.М. Чернова), приехавшей гостить в Боголюбы. Весь этот остаток месяца серьезно работаю над 7-ой главой "*Петербургга*".

Июль.

Этот месяц я хлопочу о получении заграничного паспорта; в Боголюбах становится жарко и душно; С.Н. Кампиони едет в Москву; боголюбовское о-во составляем: я, Л.Н. Чернова, Ася, В.К. Кампиони и его помощник; я усиленно интересуюсь проблемой истории в связи с духовной наукой; составляю таблицы, графические схемы, диаграммы; отделяю 7-ую главу "*Петербургга*" и отправляю 6-ю и 7-ую главы "*Сирину*". В конце месяца мы отправляемся в Мюнхен.

Август.

Мы в Мюнхене. Приезжаем дней за десять до курса и представлений мистерии; бываем у Ильиной, Екатерины Александровны, у Киселевых; знакомимся с семейством Дубах, с Кемпером, с Киселевыми (художником и его женой); из Москвы приезжают: М.И. Сизов, М.В. Волошина, Н.Н. Белоцветов, Ю.Сидоров (позднее профессор), Григоровы, Христофорова; из Петербурга - Е.И. Васильева, приезжает Т.Г. Трапезников, который только что женился, с С.П. Ремизовой (женой писателя); приезжает жена Бо-родаевского, сестра Ван-дер-Паальса с мужем. Узнаем подробности о подготовке закладки "*Vau*" в Дорнахе, об эвритмии и об основании А.О. в Москве в октябре предстоящего года (от Гри-горовых); узнаем печальную новость: Эллис вышел из А.О.

С середины августа начинается курс Штейнера "*О мистериях*" (8 лекций); происходит постановка всех 4-х мистерий Штейнера на сцене16; среди съехавшихся антропософов - Шюрэ. Во время курса в Мюнхен приезжает М.С. Шагинян, очень дружащая с Метнером; и через нее налаживается смягчение отношений между мной и Метнером; с Метнером мы обмениваемся письмами; Метнер зовет меня в Дрезден после курса, где он живет.

Обнаруживается, что в октябре Штейнер читает курс лекций в Христиании "*Пятое Евангелие*"; мы с Асей решаем отправиться на курс, а уж попутно: провести осень где-нибудь на норвежском фьорде.

Мы усиленно послушаем все антропософские лекции и представления эвритмические(17); вместе с тем: Рихтер нас подстрекает приехать в Дорнах на работы по постройке "*Vau*"; уже намечается, что мы к весне переедем в Дорнах.

Сентябрь.

Первые числа сентября для меня памяты два или три собрания Е.С., на которых мы присутствуем; антропософы разъезжаются из Мюнхена; доктор едет в Дорнах; мы едем в Дрезден, где встречаемся с Э.К. Метнером и его хорошей знакомой Людвиг; с ними проводим несколько дней, осматриваем Дрезден, присутствуем на представлении "*Тристана и Изольды*", дружески прощаемся с Метнером и отправляемся через Берлин в Христианию; находим около Христиании (на фьорде) в Льяне виллу и усиленно отдаемся медитациям; за этот месяц делаю значительные успехи и космические узнания (о сфере старой луны, солнца, Сатурна) осеняют меня; Ася тоже целыми днями занята упражнениями и плохо себя чувствует; попутно я перевожу отрывок из первой мистерии д-ра Штейнера. Мы бываем иногда в Христианийской ложе для членов, знакомимся кое с кем из норвежцев и между прочим с фрау Гельмгойден, председателем Христианийской ложи; приближается время курса; в нашем пансионе останавливается приехавшая фрау фон-Чирская и рассказывает нам о закладке "*Vau*" в Швейцарии (18); к концу месяца приезжает в Христианию доктор.

Последние дни месяца заняты Христианийским курсом Штейнера: "*Пятое Евангелие*"(19). Впечатление этого курса до того огромно, что мы теряем голову; и - решаем: вся наша жизнь отныне должна принадлежать Обществу, о чем мы с Асей пишем д-ру Штейнеру письмо, но не решаемся его передать в руки доктору.

Октябрь.

Заканчивается курс Штейнера; из русских на курсе кроме нас лишь Христофорова да Форсман; знакомимся за это время с Седлецкой, председателем польской фракции А.О.; обедаем с д-ром Гёшем и с молодым Митчером. Мы совершенно потрясены курсом: после последней лекции курса к нам подходит д-р Штей-нер и спрашивает нас: "Ну что? Можете вы принять в душу этот курс?" Ответ на этот вопрос у меня в кармане: письмо, в котором мы отдаем Штейнеру нашу жизнь; вместо ответа я отдаю д-ру это письмо. Д-р ласково жмет руки мне и Асе.

После курса мы присутствуем на Е.С. (два собрания) и на публичных лекциях в Христиании.

Далее: мы едем за д-ром в Берген, в одном поезде; во время пути, когда поезд пересекает ледники, к нам с Асей в вагон входит М.Я. Сиверс и между нами происходит разговор, который решает нашу судьбу; мы с доктором поедом в Дорнах. С этого момента до весны я переживаю

неимоверный взлет; события ежедневные приобретают для меня какой-то прообразовательный смысл. В таком озарении проходят дни в Бергене (лекции, публичная лекция, E.S.)(20); из Бергена через Христианию мы попадаем с доктором в Копенгаген(21), где проводим несколько дней (опять лекции, публичные лекции, E.S., на которых теперь присутствует К.П. Христофорова); на одной из лекций ко мне подходит М.Я. Сиверс, очень ласково берет меня за руку и говорит: "Доктор читал ваше письмо; оно очень важно; столь важно, что словами на него доктор вам не ответит: берегите свое здоровье; в будущем вы можете много поработать для антропософии". М.Я. ласково глядит мне в глаза. С той поры я чувствую совсем новое отношение к доктору и к М.Я.: чувствую нечто вроде сыновления; чувствую, что я не только ученик доктора, но что я и *сын* его; М.Я. с той поры становится в моем внутреннем мире чем-то вроде матери: она является мне в снах; в бодрственном состоянии я часто слышу ее в сердце своем; она как бы во мне живет; и наставляет меня.

В таком возбужденном состоянии я еду с Асей в Берлин (в одном поезде с доктором); за обедом, в вагоне-ресторане мы сидим рядом с доктором; М.Я. говорит со мной об Эллисе, о его отпадении, о Поольман-Мой, которая по мнению М.Я. пребывает в духе гордыни.

За норвежскую поездку мы очень сходимся с К.П. Христофоровой, которая зовет нас жить вместе, в пансионе *Begg-Klau* на *Augsburgerstrasse*, куда мы и переезжаем с вокзала и где водворяемся.

Я хожу по Берлину озаренным, не будучи в состоянии придти в себя; наступает день моего рождения 27 октября: мне исполняется 33 года(22); я чувствую: возраст мой - ответственный. В эти дни мне очень много открывается во внутреннем пути; я учусь гармонизировать свои состояния сознания; вдруг: приезжающая из Москвы в Париж О.Н. Анненкова с Е.А. Бальмонт приносят известия, что в Москве, в "*Musagete*" выходит пасквиль на д-ра, написанный Эллисом. Мы бежим к М.Я. Сиверс и спрашиваем совета: что делать? М.Я. пожимает плечами и говорит: "Оставьте". Но мы решаем ехать к Эллису и Поольман-Мой в Штутгарт, чтобы иметь объяснения с Эллисом и потребовать у него обратно циклы доктора и тетрадки его с заметками д-ра на полях. Едем в Штутгарт, отправляемся в Дегерлох; Эллис прячется от нас; мы имеем объяснение с Поольман-Мой, забираем почти насильно тетрадки у Эллиса; я передаю Поольман: "Если Эллис ко мне не выйдет сию минуту, чтоб объясниться, то пусть знает: я с ним на всю жизнь разрываю все..." Он - не вышел: с этого дня я все отношения с Эллисом прекратил. В совершенном расстройстве мы возвращаемся в Берлин; откуда я пишу в К-во "*Musaget*" о своем выходе из издательства и о прекращении всех отношений с Метнером(23).

Ноябрь.

В первых числах ноября в Берлин приезжает Наташа и А.М. Поццо; они устраиваются неподалеку от нас, около *Motzstrasse*(24); мы же в первых числах ноября едем с Асей в Нюрнберг на лекции д-ра, бывшие в ложе, а также публичные(25); были и на E.S.; в Нюрнберге встретились с Трапезниковыми, с графом Лерхенфельд, с которыми установились очень хорошие отношения, и с рядом других членов; граф Лерхенфельд обнаруживает себя поклонником философии Владимира Соловьева; он мечтает о переводах Соловьева на немецкий язык и расспрашивает меня о Е.Н. Трубецком, как философе; оказывается с Трубецким он встречался в прежние годы; Лерхенфельд в эти дни пребывания в Нюрнберге довольно часто бывает у нас; мы встречаемся *en trois*: я, Трапезников, Лерхенфельд.

По возвращению из Нюрнберга я продолжаю усиленно духовную работу; но обнаруживается ряд трудностей; мне приходится сильно бороться с чувственной природой; аскетизм меня давит; и эта борьба накладывает довольно мрачный отпечаток и на состояние моего сознания; однако, с Христианией я продолжаю жить исключительно одним: надвигается II-ое пришествие Христа; ко второму пришествию надо себя готовить; мы вступаем в полосу гигантских кризисов; Европа несется в пропасть; все, что не будет озарено Христовым ведением будет разрушено; люди и не подозревают, какое варварство, одичание нас ждет. Эти мысли - лейтмотив Копенгагенской лекции Штейнера; но эти же ноты и мой лейтмотив; с Христианией зазвучала для меня нота Христова Пришествия; *Христов Импульс стал ведом*; в Бергене у меня были удивительные, необъяснимые переживания, связанные с встречей со Христом; мне объяснились теперь впервые отчетливо и мои юношеские, апокалиптические переживания 1898 года, и впечатление от разговора с Влад. Соловьевым в 1900 году; и узнания лета 1902 года о том, что 2-ое пришествие началось. Я глубоко взволнован: все мистические переживания моей жизни синтезированы теперь; я обрел мистику юношеских лет; но эта мистика во мне теперь уже не мистика, не экстаз, а - верное ведение; и вместе с тем: мне ясно, что А.О. подготавливает в человечестве импульс Христов; мы не просто антропософы; мы - *Христиане*; нас непосредственно ведет Христос к свету; роль д-ра - огромна: он есть тот, кто подготавливает в душах 2-ое пришествие; его связь с Христом - особенная связь; этот новый облик доктора ослепителен; я знаю, что не все члены А.О. видят доктора и понимают его миссию; в обществе есть посвященные во внутреннюю миссию Штейнера: подготовить путь приближающемуся Христу; я чувствую, что принят в тесное ядро посвященных; и я понимаю, что

это принятие не есть принятие словом; д-р Штейнер и М.Я. Сиверс все время особенно учат меня: не словами, а жестами: оба ведут меня по снам, участвуют во всех событиях моей внутренней жизни; я понимаю, что мне нечего искать свидания у доктора, когда я внутренне как бы принят в дом доктора; я живу в странном знании, что мы с Асей *дети* доктора и М.Я., живем в одном духовном доме; и доступ к доктору всегда открыт; стоит мне внутренне о чем-либо спросить д-ра, как я получаю от него непосредственный ответ; мне открываются теперь слова членов о том, что есть ученики, которые непосредственно связаны с д-ром; им нечего видаться даже с ним, ибо он в Духе посещает их, а они его; таким внутренне принятым в *святое-святых* нашего движения я себя ощущаю в этот период; мне открывается значение слов об умении читать оккультные письма; этими письмами являются мои поступки и жесты меня обстающих и посвященных в Христову тайну членов А.О.: мы - братство в братстве; мы - подлинные эзотерики.

М.Я. Сиверс в духовном плане открывается мне во всей ее огромности; она все дни и все часы со мною; она учит меня, посещает меня в снах; и когда я встречаюсь с ней и с доктором на собраниях А.О., то меня охватывает любовь, страх и неловкость, что физический план не соответствует форме наших встреч на плане духовном; я начинаю понимать, что какая-то *тайна* существует между мной, д-ром и М.Я.; и доктор без слов, одним иногда вскользь брошенным взглядом на меня укрепляет меня в этой мысли; мне кажется, что я сам не знаю тайну своего бытия, а доктор прочел ее; и знает: в будущем, в близком со мной произойдет нечто огромное; будет надо мною сошествие Св. Духа, после которого я неимоверно вырасту; и голос Божий зазвучит из меня; я этого не знаю, а д-р это знает; и оттого-то: в духовной действительности я, как Иоанн, - его любимейший ученик: возлежу на его плече; оттого-то так нежно любит меня М.Я. ... Все эти мысли и ощущения невероятно волнуют меня, - тем более, что на физическом плане ничто не соответствует этому; на физическом плане я лишь Herr Bugaeff, "*unser Mitglied*", не более. Вся прошлая жизнь, ставшая мне вполне прозрачной, лишь приготовление к какой-то чрезвычайной миссии.: весь опыт медитаций и оккультных упражнений - преддверие, очищение перед невероятным прояснением сознания и меня ожидающим ясновидением. Д-р и М.Я. от меня ждут совершенного пути ученичества, ибо на нем ждут меня величайшие озарения; бессознательно укореняется во мне мысль, что меня сознательно ведут к посвящению, что я специально для посвящения готовимый ученик; отсюда ужас и боязнь перед огромным страданием, почти распятием, к которому ведут меня; я, как Иоанн (Лазарь) должен сперва умереть, чтобы на третий день воскреснуть; мне начинает казаться, что ко мне подкрадывается какая-то посвятельная болезнь (падучая ли, летаргический сон ли), что скоро я паду на свой одр, буду умирать; и д-р произведет надо мною опасную операцию. Я пытаюсь порой в разговорах с Асей намеками касаться этой темы, мне не ясной; и вижу, что Ася что-то знает обо мне, о миссии, мне назначенной; но об этом словами нельзя говорить; и Ася объявляет мне, чтоб мы не говорили друг с другом на темы наших путей; я ощущаю, что в точке священной Ася покидает меня, отъединяется, ускользает; до сих пор наши окк[ультные] узнания совпадали; с Бергена мы идем порознь: Ася бросает меня; не говорит ничего о себе; и меня просит молчать: я чувствую первую грань, разделяющую наши пути; с этого времени грань росла; и в годах выросла в непереступаемую бездну между нами.

Ноябрь этого года - роковой, жуткий, головокружительный для меня месяц; и вместе мучительный; физическая моя оболочка притянута к земле, а дух мой, как бы выйдя из нее все время парит в сфере, где его обступают огромные, космические, апокалиптические образы (в этот период во мне подымается тема большого "Я", о котором я впоследствии говорю в "Записках Чудака"). В этот месяц я пишу 8-ую главу "*Петербург*" и эпилог; и отсылаю рукопись в "*Сирин*". Чрезвычайно мне говорит книжечка Коллин "*Krone der Liebe*"(26).

В конце месяца мы едем с Асей в Мюнхен на лекции д-ра в А.О.(27); здесь на одной из лекций на тему 5-го Евангелия д-р Штейнер ставит вдруг вопрос членам: "Неужели ни у кого из вас нет ко мне вопроса?" Собрание растеряно; не знают, что спросить; а мне кажется, что я знаю, о каком вопросе говорит д-р; и знаю, что этот вопрос к нему есть вопрос, поставленный мною в моем Христианском письме; ответ на этот мой вопрос - отеческая любовь д-ра ко мне, как бы предызбравшая меня на какой-то мне самому еще неизвестный подвиг; помолчав, д-р строго говорит: "*Хорошо, - так я и запомню, что сегодня здесь никто меня ни о чем не спросил...*" Члены О-ва - недоумевают; и вместе - удручены: о каком вопросе говорил д-р? И - почему он гневается? Мне жутко: мне кажется, что я все знаю; знаю и то, какой должен бы подняться вопрос; и знаю, что вопрос этот был поднят мною в Христиании, полтора месяца назад. Гнев д-ра роковым образом для меня сближает с д-ром. И я внутренне восклицаю: "Какая же связь соединяет нас?"

В Мюнхене присутствую на публичных лекциях д-ра; и на Е.С. Лерхенфельд особенно близок с нами; он приглашает меня и Асю отобедать с ним; почему-то мне кажется, что д-ру не нравится наше общение с Лерхенфельдом; в Мюнхене часто бываю у Трапезниковых: здесь встречаюсь с Белоцветовым, живущим в Мюнхене, с Сидоровым, с Юлэ, с Лерхенфельдом и с Бауэром; с Бауэром мы знакомимся; он производит на меня огромное впечатление.

К началу декабря мы возвращаемся в Берлин и здесь продолжаем слушать д-ра по вторникам, на Geisbergstrasse и по четвергам (раз в две недели) в Architekten haus, где по примеру прошлого года доктор читает sui generis цикл лекций(28).

Часто с Асей мы говорим, что нам очень трудно с Наташей и Поццо, что будто связь с ними порвалась.

Декабрь.

Продолжается все то же; в начале декабря мы едем в Штутгарт на лекции д-ра (в ложе, публичные и E.S.); в Штутгарте проводим дней 5 или 6 (29). Всюду нас сопровождает К.П. Христофорова и Форсман.

Этот месяц проходит в той же тональности; одновременно: мучительные переживания борьбы с своими недостатками и как бы *idee fixe*, что надо лезть на какие-то кручи, ибо мне предстоит какая-то миссия; я усиленно подготавливаю д-ру отчет о медитациях, развертывающийся в дневник эскизов, живописующих жизнь ангельских иерархий на луне, солнце, Сатурне в связи с человеком; этот человек - я, а иерархии - мне звучащие образы (именно "*звучащие*"); я прибегаю к Асе, как художнице; и прошу ее мне помочь; целыми днями раскрашиваю я образы, мной зарисованные (символы моих духовных узнаний); два-три рисунка я показываю Наташе однажды: увидев их, она воскликнула: "Аа!.. Боря, - не-показывай: спрячь это!" Я увидел, что она чем-то потрясена во мне, точно она меня впервые увидела; я понял, что она поняла, что рисунки архангелов не рисунки, а копии с духовно узренного; и я тотчас понял, что она поняла, что я понял... С этого времени странные отношения устанавливаются между мной и Наташей; мне начинает казаться, что она как бы духовно следит за мной, подглядывает; и начинает понимать во мне то, его Ася не видит: мне кажется, что она понимает тайну, связующую меня с д-ром и с М.Я. Я без слов перекликаюсь с Наташей; порой встречаю ее недоумевающий взгляд; то она нежно подходит ко мне с оттенком удивления и восторга перед миром Духа, мне открывающимся; то она как бы начинает бороться со мною.

К.П. Христофорова как будто тоже что-то начинает понимать; и иные из членов О-ва странно покашиваются на меня; мне начинает казаться, что обо мне, о моих отношениях к д-ру и к М.Я. в А.О. начинают циркулировать какие-то слухи, и что во взгляде на меня мнения раскалываются; одни как бы особенно начинают любить нас с Асей и намекать о каких-то нам предназначенных судьбах; другие с завистью и негодованием на нас смотрят, как бы говоря: "Выскачка, карьерист..." Мне даже начинает казаться, что кто-то ропщет и негодует на д-ра и М.Я. за слабость ко мне. Однажды после лекции д-ра в Ложе около меня раздается презрительно-саркастическое: "А! Die heilige Familie". И - ясно: "*святое семейство*". - Доктор, М.Я., Я. Наоборот, близкие к д-ру в берлинской ложе - Валлер, Зейлинг и две Леман - относятся к нам с особенной нежностью.

Приближается Рождество; в обществе готовят старо-германские рождественские мистерии; М.Я. и д-р уезжают на несколько дней в Дорнах, где уже идут работы по возведению фундамента и скелета "*Bau*"; в Берлин приезжает О.Н. Анненкова и как-то странно со мной говорит, как-то странно поглядывает на меня; я думаю: "Знает она или не знает обо мне?" И сам не могу себе ответить, что она должна знать обо мне; это "что" - тайна моей судьбы, связанной с судьбой "*Bau*". И Т.А. Бергенгрюн на меня косится (отношения наши - превосходные).

Перед самым Рождеством переживаю тяжелые минуты недоумения, сомнения; опять низменная чувственность мучит меня и я чувствую, что после событий, со мной бывших, чувственность эта должна бы отпасть от меня; М.Я. Сиверс начинает на меня сердиться: мне кажется, что она отворачивается от меня; мне душно и тяжело; Ася мне говорит: "Боря, - ты и меня измучил: успокойся, смиришь..." Только Наташа продолжает глядеть на меня огромными удивленными глазами и точно хочет намекнуть, что что-то мне предстоит.

Мы готовимся к поездке в Лейпциг на курс д-ра "*Христос и духовные миры*", который должен начаться 28 декабря(30); приезжает из Москвы А.С. Петровский, из Петербурга Е.И. Васильева с мужем; Петровский привозит из Москвы с собой А.Н. Киселеву.

Мы встречаем Рождество в Берлинской Ложе: (лекция д-ра, рождественские мистерии) и 27-го уезжаем в Лейпциг.

В Лейпциге оказывается много русских; все почти останавливаются в одной гостинице и собираются в общем салоне, который становится чем-то вроде русского клуба; помню тут: нас, Наташу, А.М. Поццо, К.П. Христофорову, Н.Н. Белоцветова, Т.Г. Трапезникова, Л.И. Трапезникову, Форсман, Фриду-кину, Петровского, А.Н. Киселеву, О.Н. Анненкову, Е.И. Васильеву, В.Н. Васильева, М.В. Волошину, может быть Б.П. Григорова с женой и др[угих]. С трепетом готовлюсь к Лейпцигскому циклу; почему-то мне кажется, что этот цикл имеет какое-то особое касание меня; все дни провожу в посте, медитациях и молитве; у меня слагается какой-то особый чин; так в известный час я ощущаю потребность разуться и замереть; мне почему-то кажется, что надо, чтобы на лбу у меня кто-то провел ножом крест; во мне оживает тысяча прихотей; я себя ощущаю точно беременной женщиной, которой надлежит родить младенца; я ощущаю, что этот,

рождаемый мною младенец - "Я" большое. К нам начинает захаживать Т.Г. Трапезников и вести какие-то странные разговоры, точно приготавливающие меня к чему-то.

С 28-го начинается Лейпцигский курс; я не могу описать его действие на меня; каждая фраза курса имеет для меня двойное и тройное значение; буквально: я переживаю каждую лекцию не лекцией, а посвящением в тайны; со мной все время что-то делается; все кажется прообразом; так например: на одной лекции ко мне подходит баронесса Галлен; и говорит мне: "Вы понимаете меня: надо уметь произносить вам известные слова, не двигая ни губами, ни языком, ни гортанью; тогда слова опускаются в сердце; и приобретают огромную силу!" Сказав это, бар. Галлен отошла от меня; мне сказалося: Да, да - то смертное действие, которого я жаждал, оно мне открыто; "слова" же относятся к словам о Христе в моей медитации; и все это имеет отношение ко 2-му пришествию; с той поры я знал: когда мне надо было вооружиться Христовой силой, надо было поступать так, как сказала бар. Галлен; я стал непрерывно вооружаться; и *вооружения* эти приводили меня в такое состояние, что я в бодрственном состоянии научился выходить из себя духовно, а не физиологически; с той поры я понял, что такое выходить из себя 2-м, более тонким способом (выходить - не выходя, не впадая в каталепсию); выход из себя первым, более грубым, физиологическим образом стал ведом мне еще в 1912 году (в декабре); теперь, через год: я научился выходу из себя 2-м способом.

30 декабря доктор читал ту лекцию курса, где говорится об Аполлоновом свете; во время слов д-ра о свете со мной произошло странное явление; вдруг в зале перед моими глазами, вернее из моих глаз вспыхнул свет, в свете которого вся зала померкла, исчезла из глаз; мне показалось, что сорвался не то мой череп, не то потолок зала и открылось непосредственно царство Духа: это было, как если бы произошло Сошествие Св. Духа; все было

- свет, только свет; и этот свет - трепетал; скоро проступили из света: свет люстр, мне показавшийся темным, контуры сидящих, доктор, стены; д-р кончил; когда я двинулся с места, я почувствовал как бы продолжение моей головы над своей головою метра на 11/2; и я чуть не упал в эпилепсию: я схватился рукою за Асю; и на несколько секунд замер; когда я вторично двинулся, то явление исчезло; это явление даже не удивило меня; оно было лишь отражение моего приподнятого состояния; я ходил в Духе: был в Духе; и мне казалось: иные из членов О-ва тоже были в Духе. Духовные миры как бы опустелись на нас; и из лекционного зала сопровождали нас в наши комнаты; весь день и всю ночь длились для меня духовные озарения, действие лекций на членов было так сильно, что каждая лекция кончалась обмороками; то и дело кого-нибудь выносили из зала: кто-нибудь падал в обморок; однажды вынесли и Т.Г. Трапезникова.

В один из этих дней 29 или 30-го я видел - не знаю что: сон или продолжение вечерней медитации; я медитировал: и вдруг: внутренне передо мной открылся ряд комнат (не во сне); появился д-р в странном, розово-красном одеянии; и сам он был - розово-красный; он схватил меня и повлек через ряд комнат (это было как бы не во сне); тут наступил перерыв сознания, от которого я очнулся тотчас же; и застал себя как бы перед круглым столом (не то аналоем); на столе-аналое стояла чаша; и я понял, что это

- Грааль; справа от меня сидел д-р, слева М.Я. Доктор отчетливо спросил меня: "Так вы согласны идти на это?" И я застал себя отвечающим: "Да, согласен!" И тут мелькнуло мне, что я отвечаю на какой-то вопрос, связанный с роковою тайною миссии, мне предназначенной: мне показалось, что я отдал свою жизнь делу доктора и что это дело требовало от меня огромной, мучительной жертвы: несосвященного страдания (может быть, реального распятия на кресте); я понял, что я, или мое бодрственное "л" вопрос д-ра проспало, но высшее "Я" дало положительный ответ. Тогда д-р и М.Я. взяли чашу, Грааль и как бы подставили мне под голову; кто-то (кажется д-р) не то ножичком сделал крестообразный какой-то сладкий разрез на моем лбу, не то помазал меня благодатным елеем, отчего не то капля крови со лба, не то капля елея, не то мое "л" капнуло в чашу, в Грааль; но эта чаша была уже не чашей, а моим сердцем, а капля была моим сознанием, канувшим в сердце: в меня сквозь меня; и когда капля коснулась Чаши, то Христос соединился со мной: и из меня, во мне, сквозь меня брызнули струи любви несказанной и Христова Импульса; тут я проснулся: вернее очнулся; и спросил себя: "Что это было? Был ли это сон?" Мне стало ясно: нет, не сон, а подлинное посвящение.

С той поры мне стало казаться: совершилось мое посвящение в какое-то светлое рыцарство, никем не установленное на физическом плане; и вместе с тем: сколько раз потом меня тревожило: "Твое высшее "Я" дало высшему "Я" доктора клятвенный обет: послужить какому-то делу; и перенести вытекающие из этого дела страшные, нечеловеческие страдания, а ты - проспал твою клятву; и не знаешь, чему ты поклоняешься..."

31 декабря перед новым годом лекция д-ра была огромна по содержанию; и опять-таки: она во мне разыгрывалась невероятною силою; я сгорал от невыразимой любви ко Христу, к д-ру, к М.Я. и ко всем братьям и сестрам во Христе в нашем обществе; некоторые из слов д-ра мне прозвучали так: "Ну вот: ты, дикая маслина, привита к Божественному Древу Жизни: помни, что силы света, струящиеся ныне сквозь тебя не тебе принадлежат, а Духу; и да не греши!" Я понял, что посвящение мое в рыцари - духовный факт, и что в сердце моем родился младенец; мне, как

роженнице, надлежит его выносить во чреве ветхого сознания моего; через 9 месяцев "младенец" родится в жизнь. Разумеется, я эти странные, невероятные переживания скрыл от всех; но я вернулся с лекции с сознанием, что Св. Дух зачат в моем ветхом "л"; теперь это ветхое "л" будет распадаться, и меня постигнет какая-то странная, священная болезнь.

Забыл сказать: после лекции М.Я. прочла стихотворения Моргенштерна, которые меня поразили; Моргенштерн, уже больной, сидел в задних рядах; д-р сошел с кафедры, через весь зал прошел к Моргенштерну и расцеловал его. Мне почему-то показалось, что Моргенштерн и я в чем-то связаны друг с другом и с судьбами духовного движения, ведущего к тайнам II-го Пришествия. Через день или два нас представили друг другу: Моргенштерн посмотрел на меня своими невыразимыми глазами, улыбнулся и сказал: "Я так рад". Говорить ему уже было трудно: он - задыхался.

Новый год встретили мы, колония русских в Лейпциге, светло и дружно.

1914 год

Январь.

1-го января, кажется, была лекция Штейнера, в которой он говорит изумительные вещи о Парсифале; опять-таки, как и все лекции этого курса, она пала в сознание мое совершенно особенно; мне показалось, что я, один я, понял самую подоплеку лекции; вообще: я стал замечать в себе странную способность впадать в состояния, во время которых все, что ни происходит вокруг разыгрывалось во мне как шифр; я вычитывал из каждой, случайно слышимой фразы, за ней стоящий духовный смысл; неудивительно, что в лекциях д-ра мне вычитывались смыслы, которые прямо не вынимались из текста. Состояние это сопровождалось особым состоянием физиологическим: в минуту, когда для меня прояснялось все, тело чувствовало напор как бы жаркого, сжигающего света; и - отказывалось служить: мне казалось - вот оборвется сердце; и я - упаду; для того, чтобы притти в себя, я должен был останавливать совершавшийся во мне духовный процесс и не доводить до конца своих духовных узваний; если бы я его довел до конца, то я упал бы в припадке падучей.

В этот день, если память не изменяет мне, к нам в гостиницу заходил Трапезников; и говорил как-то странно: он говорил о том, что в мир идет новый учитель, который узнается по тому, что он будет внятно говорить о 2-ом пришествии, что он как бы уже с нами; но еще не вышел на проповедническую арену; это тот, кто в одном из прошлых воплощений был *Jesus'OM ben Pandira*, начальником иеессейского ордена(31); обращаясь ко мне, Трапезников как-то странно говорил о том, что надо держаться скромнее и тише; а то - возгордиться можно; говорил он еще о возможностях каких-то болезней; и о том, что человечество вступает в громовую полосу жизни; кроме того: он вспоминал, что Гете здесь, в Лейпциге, во время своей болезни получил посвящение. Слова странно сплетались с моим состоянием сознания; мне отдавалось: ну - да; и я, вот, - здесь тоже получил свое духовное посвящение; в том же городе, где и Гете. Трапезников кроме того говорил: "Здесь, под Лейпцигом родина Ницше; и здесь же - могила его; вам надо бы поклониться его могиле". Слова эти опять-таки странно отозвались во мне; мне представилось: паломничество на могилу Ницше есть прощение мое с моим прошлым, прощение со своею историей, в которой Ницше был для меня последним крупным звеном; и - кроме того: весь ноябрь и декабрь ежедневно по вечерам я прочитывал для Ницше (т.е. мысленно подавая Ницше читаемое в духовный мир) "*Christentum als mystische Tatsache*"(32) Штейнера (эту же книгу я читал для отца: приблизительно в это же время). Мы с Асей и Трапезниковым тотчас же решили: на днях отправимся к могиле Ницше...

2-го января вечером д-р Штейнер читал одну из своих лекций (уже не курсовую); я был преисполнен такой силой любви к доктору и ко Христу, что опять наступил момент, когда я чувствовал, что этой силы переживания не выдержит мое тело; и мне хотелось упасть на землю; тут д-р оборвал лекцию (сделал перерыв); вдруг мой сосед - толстый, плотный мужчина камнем грохнулся на меня в эпилепсическом припадке; мы его подхватили с одним мужчиной (длиннобородым, с длинными волосами, напоминающим традиционное изображение Времени с косою; этого мужчину я называл "Время" - он впоследствии играл роль в моей жизни); припадочного мы вынесли в соседнюю комнату: у него изо рта шла пена и он шептал: "Heil, Heil!" Я уложил его на пол, расстегнул воротник, подложил что-то мягкое под голову и стал смачивать виски принесенной водою; "Время" село рядом и сидело молча; а я, стоя на коленях, все возился с припадочным; тут отворилась дверь; и вошел д-р, стал над нами и посмотрев на припадочного, сказал: "Macht nichts!" Он посмотрел на меня как-то особенно пристально; и вышел, - продолжать чтение лекции; и тут мне опять странно отозвался в душе взгляд д-ра: и прояснился смысл моего поступка; передо мной лежал не припадочный, а я сам - мой двойник, мое низшее "я", которое приняло Дух, и которое должно теперь, ломимое духом, так же вот пасть и болеть, как этот передо мной лежащий припадочный.

С этой мыслью о предстоящей мне очень тяжелой болезни, связанной с посвящением, ходил я; и порой мне делалось жутко; казалось: "Вот ты вернешься в Берлин; и - возляжешь на одр".

На следующий день, 3-го, мы отправились (я, Ася, Наташа, Поццо, Петровский, Трапезников) в ту деревушку под Лейпцигом, где родился Ницше, где он провел свое детство (тут был приход его отца, пастора Ницше)(33); с жадностью вглядывался я в маленькие желтые домишки деревушки; мы приблизились к церкви с кладбищем, нашли могилу Ницше и возложили на нее цветы; когда я склонил колени перед могилой его, со мной случилось нечто странное: мне показалось, что конус истории от меня отвалился; я - вышел из истории в надисторическое: время само стало кругом; над этим кругом - купол Духовного Храма; и одновременно: этот Храм - моя голова, "л" мое стало "Я" ("я" большим); из человека я стал Челом Века; и вместе с тем: я почувствовал, что со мною вместе из истории вышла история; история - кончилась; кончились ее понятные времена; мы проросли в непонятное; и стоим у грани колоссальнейших, политических(34) и космических переворотов, долженствующих в 30-х годах завершиться Вторым Пришествием, которое уже началось в индивидуальных сознаниях отдельных людей (и в моем сознании); в ту минуту, когда я стоял перед гробницею Ницше, молниеносно пронесся во мне ряд мыслей, позднее легших в мои четыре кризиса ("*Кризис Жизни*", "*Кризис Мысли*", "*Кризис Культуры*" и "*Кризис Сознания*")(35); я сам в эту минуту был своим собственным кризисом, ибо кончена, разрушена моя былая жизнь, ее прежние интересы; и вот - я не знаю: чем буду завтра. Мне казалось - Трапезников, Ася, Поццо и Наташа понимают, что посещение гробницы Ницше есть *sui generis* обряд в днях моего посвящения: они были как-то неслучайно чутки и осторожны со мной. Не понимал ничего лишь А.С. Петровский.

Так мне казалось в ту минуту, когда я сорвал веточку плюща от могилы Ницше (эта веточка и до сих пор где-то хранится в моих вещах, в Дорнахе). Тут подошел к нам пастор церкви, повел показывать церковь и много рассказывал о пасторе Ницше, который тоже был замечательной личностью. Помнится мне на возвратном пути от могилы огромное, красное, закатывающееся солнце; и опять прозвучало: "Конус истории от тебя отвалился: история кончилась!" В этот вечер была последняя лекция д-ра, который мягко, любовно говорил о Ницше; и меня удивило: "Почему он говорит о Ницше? Точно он знает, что я сегодня был на могиле Ницше..." Перед лекцией, у входа в зал меня вдруг останавливает седой старичок, пастор и член нашего О-ва, которого недавно перед тем мне представили в Берлине, как школьного товарища Ницше (он сидел с Ницше и Дейссоном на одной школьной парте)(36), - останавливает и говорит: "Ich habe jetzt die 'Silberne Taube' gelesen; die ostliche mystik ist schrecklich"... (в эти годы уже был переведен на немецкий язык "*Серебряный голубь*")(37).

В эти же дни, днем были и собрания E. S.

Я подробно так останавливаюсь на днях Лейпцига: они стоят в моих воспоминаниях, как что-то огромное.

Когда мы вернулись в Берлин (числа 5-го), то мне казалось: мы вернулись не из Лейпцига, а из некоего духовного мира, ниспали в берлинские комнаты; мне казалось, что пережитое напряжение теперь отразится болезнью; несколько дней я жил в ожидании: "Когда же я слягу".

Если память не изменяет, - 6-го января д-р читал в ложе лекцию "О Парсифале"(38). В ней указывалось, что в настоящее время возможны новые мистерии: соединение мистерий Озириса и Изиды с мистерией Грааля. Мне казалось, что Петровский должен особенно внятно расслышать голос д-ра; и вот - не расслышал. На этой лекции я попрощался с Петровским, уезжавшим в Москву.

Подготавливалось "*Generalversammlung*", второе по отделению от Теософического О-ва; оно должно было начаться приблизительно января около 20-го (может быть, и несколько ранее)(39). Время между лейпцигским курсом и генеральным собранием было время столь же для меня исключительное, как и лейпцигский курс. Каждый день этого периода был преисполнен для меня все новыми и новыми узнаниями: о духовном мире, о своей исключительной связи с д-ром и с М.Я., о событиях огромной важности, подготовлявшихся во всем мире; и как-то выходило, что моя связь с д-ром, с обществом оказывалась в цепи мировых событий ибо провиденциальность фигуры д-ра в этот период была особенно ярка. Я не стану касаться наиболее интимных событий в моей духовной жизни: их гораздо более трудно обложить словами, чем переживания лейпцигского цикла; скажу только: если события лейпцигского курса развернулись для меня как мистерия посвящения меня в тайны духа, то весь период от 6-го января до генерального собрания стоит в памяти, как бы *sui generis* мистерия моего посвящения в судьбы нашего духовного движения; в этот период также мне казалось, что д-р и окружающие д-ра эсотерики приоткрывают мне тайну моего предыдущего воплощения; и это воплощение, столь головокружительное, становится передо мною, как соблазн; принять его, значит: о себе возомнить; я себя вспоминаю, как бы борющимся с самим д-ром: д-р навязывает мне - поверить в свое воплощение; я же - не принимаю его.* ("*Воплощение Микель-Анджело (!?)*" - Прим. А.Белого, вставлено позднее)

В свою очередь: генеральное собрание, опять-таки, - новая мистерия: мистерия посвящения в страдание, мистерия жертвы, без которой не может быть никакого бескорыстного служения Духу; и

эти три мистерии относятся друг к другу, как 3 акта одной мистерии; вот все, что я могу сказать об этом времени; для того, чтобы конкретно вскрыть суть "*мистерий*", надо бы мне написать толстый том, описать день за днем, встречу за встречей, ибо все, даже мелкие события этого времени, - опрозрачнены: и слагаются в единую цепь событий. Поэтому я отмечу лишь совершенно внешние по отношению к ядру моей жизни факты нашего бытия.

Мне помнится ряд лекций д-ра, между прочим: две публичных (одна из них была посвящена "*Микель Анджело*")(40). Помнится музыкально поэтический вечер, на котором читались немецкие переводы Росетти и исполнялся ряд музыкальных номеров; на этот вечер М.Я. подозвала нас и развернула нам с Асей план будущего Гетеанума и участков земли, которые члены О-ва могут приобрести (из земли, пожертвованной Гросхайнцем). М.Я. показала нам маленький участок, около будущего "*Bau*" и проектируемого домика д-ра и сказала, что этот участок принадлежит к части земли, которую она приобрела в собственность; она сказала: "Этот участок я уступаю вам..." Так в принципе мы еще до появления в Дорнахе оказались в потенции уже дорнахцами; мы разошлись с Асей, что участок этот мы вполне можем приобрести.

В это время разразился инцидент Вольта в О-ве (о нем долго рассказывать);(41) и под знаком этого инцидента мы вступили в генеральное собрание; опять, как и в прошлом году, генеральное собрание длилось более недели; оно было полно докладами, музыкальными вечерами, деловыми инцидентами, заседаниями Ферейна, образованного вокруг "*Bau*" (Johannesbau-Verein); мы стали членами этого ферейна(42). Общее настроение этого времени - какая-то тревога, точно где-то, в глубине общества, стала возникать оппозиция некоторым начинаниям д-ра; и я переживал эту оппозицию необычайно мучительно; мне она казалась выражением другой борьбы: темных оккультных сил вооружившихся против великого Света из грядущего; чувствовались вихри какой-то грандиозной катастрофы, сгущавшейся над целым миром; и в частности: над строящимся "*Bau*". Я переживал какие-то нападения на то светлое, что живо во мне: "*младенцу*", которого я в себе вынашивал с Лейпцига, стала угрожать опасность. Два сна запомнились мне в это время; один сон: я вижу себя в подвале здания, как бы "*Bau*"; я должен себя заживо похоронить в этом подвале, как "*грундштейн*" самого Johannesbau. Мне жутко живому ложиться в могилу; но надо мной стоит д-р; и пальцем указывает на яму: "Ложись!" И я покорно укладываюсь. Другой сон: какое-то шумное собрание, на котором меня заушают, пинают ногами, оплевывают(43); я - подхожу к окну; в окне - восходящее солнце, которое я увидел первый из всех; но это не солнце, а - Христос Грядущий; луч солнца падает мне на лоб, пронизывает голову и опускается в сердце; это - Христов Импульс.

Среди ряда лекций мне почему-то особенно запомнились: лекция одного венского антропософа (забыл фамилию), лекция об Альбрехте Дюрере венского художника Вагнера, лекция директора Зеллинга, лекция д-ра Нолля, автобиография д-ра, им рассказанная; и лекция Михаила Бауэра, который был со мной очень ласков на этом собрании; лекция Бауэра касалась Христов[ой] Любви; во время лекции со мной произошло нечто подобное происшествию во время лекции об Аполлоновом Свете; будто исчез потолок, раскрылся мой череп; сердце - стало чашей; и луч Христова Сошествия пронизал меня.

По вечерам д-р читал свой курс лекций "*О макрокосмическом и микрокосмическом мышлении*"(44); этот курс потряс меня тем, что явился как бы для меня транскрипцией моей "*Эмблематики Смысла*" на антропософский лад.

Все события этого времени мне кажутся невероятными; и самое наше переселение с Асей в Базель, чтобы работать при "*Bau*" казалось нам важной эпохой жизни. Тотчас же после "*Generalversammlung*" д-р уехал с М.Я. в Дорнах, а мы поехали туда же через несколько дней; Наташа и Поццо должны были за нами следовать. Помнится; мы двинулись из Берлина 31-го января. И утром 1-го февраля были в Базеле.

Февраль.

В первый же день приезда в Базель Ася была в Дорнахе, осмотрела строящийся "*Bau*" и вернулась ко мне из Дорнаха с Рихтером, звавшим нас усиленно работать при "*Bau*". Остановились мы в "*Hotel [zum] B?ren*" на Aeschenvorstadt; так как в Дорнахе и в Арлесгейме еще не было для нас подходящих комнат (мы условились, что получим комнаты у Е.А. Ильиной, которая нам комнаты сдаст, но комнат она еще не получала). 3 февраля я первый раз увидел "*Bau*", поехавши в Дорнах; была возведена лишь часть бетонного фундамента, скелет стен (деревянных); начинали еще возводить остова будущего купола; все работы сосредоточились в столярнях, в трех громадных, деревянных сараях, где пилили дерево, спрессовывали его, заготавливая будущие толщи для деревянного ваяния; в те дни столярня "*Bau*" считалась первой столярней в Швейцарии и работало здесь до 300 столяров; художественные работы должны были начаться еще только через 1 1/2 месяца; из антропософов, съехавшихся для работы, была еще только небольшая группа, человек 20; большинство молодежи пока чертили планы для "*Bau*", разрабатывали планы будущих архитравов, или работали при столярне; чертежная помещалась пока в одном из зданий Дорнаха, а контора столярни при "*Bau*"; в первый же день Рихтер устроил

меня при столярне; моя должность заключалась в том, что записывал в книги нанимавшихся на работу столяров, а также высчитывал заработную плату, а Ася пока пристроилась при чертежной; в 12 часов работающие-антропософы сходились у Дубах, Клавдии Александровны, где их кормили обедом (в Арлесгейме); работали от 9 до 4 (с перерывом для обеда); вот кого из антропософов я помню в этой основной группе: Доктор Штейнер, М.Я. Сиверс; архитектор "Bau" Шмидт, инженер Энглерт (потом сменивший Шмидта); заведующий столярами Лихтфогель; наезжающий еженедельно из Штутгарта д-р Унгер, ведавший финансовыми расчетами; Лиссау, заведовавший конторой, Зейфельт, мой непосредственный, так сказать, начальник; далее - чертежники: фон-Гейдебрандт, Кемпер, Дубах, Ася, Фридкина, Лилль; далее распоряжавшийся Рихтер; далее Томас; кроме того: находились в Дорнахе в этой первичной семье антропософов: голландец Ледебур, Ильина, К.А. Дубах, Н.Н. Богоявленская(45), работающая над моделями (гипсовыми) англичанка Мэрион и художник Н.Н. Киселев; вот та группа, которую я застал при приезде в Дорнахе; через 2-3 дня к этой группе присоединилась Наташа и А.М. Поццо, попавшие в чертежную.

Первое время каждый день мы с Асей в 8 часов отправлялись из Базеля с трамом в Дорнах и уже в начале десятого были на работах; в 12 часов - обедали; в 4 возвращались в Базель: в 5 или в 6 были дома; дни текли монотонно; после праздничных, бурных январских дней наступили будни.

Ася и Наташа прочно устроились в чертежной, как художницы, а у меня скоро начались недоразумения с Зейфельтом (по-моему он был не вполне чист по счетной части) и я перестал ездить в Дорнах. Проработал я с Зейфельтом около двух недель.

Весь этот месяц чувствую себя утомленным и как бы несколько разочарованным; все те переживания, которые так бурно налетели на меня в Христиании и росли непрерывно до февраля, не осадились никакими ощутительными последствиями для меня: ни реализации "посвящения", ни "болезни", которую я в себе вообразил; встречаясь в Дорнахе с д-ром и с М.Я., я чувствовал у них ноты некоторой сдержанной отдаленности по отношению ко мне; приходилось часто видаться с д-ром Гросхайнцем и с его женой, жившими в своей вилле около "Bau"; в этой же вилле жил и д-р с М.Я. (уже позднее д-р приобрел себе villa *Hansi* - под холмом, на котором строился "Bau"); особенно тоскливы были мне дни моего сидения в Базеле; Ася с утра уезжала в Дорнах, а я оставался дома; я тоскливо бродил по улицам, заходил в зоологический сад и обедал в убогом вегетарианском ресторанчике. В эти дни я написал стихотворение "Самосознание"; в нем отразилась грусть этих дней(46).

В этот месяц мы с Асей два раза ездили в Берн по делу о гражданском браке (Ася решила со мной в гражданский брак ввиду того, что нам предстояло долго жить в швейцарской деревне; если бы у нас не оказалось бумаг, доказывающих, что мы муж и жена, то крестьяне стали бы на нас коситься: уже обнаружилось подозрительное отношение к антропософам со стороны швейцарцев; в газетах ругали их);(47) раз из Берна мы заехали в Тун; более чем с другими антропософами дружили мы с Рихтером. В конце месяца, после масленицы мы поехали с д-ром на его лекции в Штутгарте, где обнаружилось, что у О-ва нет почти денег на продолжение постройки "Bau"; все очень волновались; наконец кто-то пожертвовал деньги; в Штутгарте было E.S. Из Штутгарта мы поехали в Пфорцгейм (с д-ром же); но в Пфорцгейме Ася простудилась и мы дня на три застряли там; в эти дни скончался поэт Моргенштерн; похороны были под Базелем; здесь сожгли его прах(48).

Март.

Вернулись мы уже не в Базель, а в Дорнах, где сняли комнату в небольшой таверне (временную); в день возвращения попали на первые пробные художественные работы по обработке капителей будущих колонн; 3 дня работал д-р Штейнер сам, вооружившись стамескою, а мы толпой окружали его; он подавал нам советы, как работать; потом разобрали капители колонн и начали их обрабатывать; нам с Асей досталась капитель сатурновой колонны, а Наташе, кажется, досталась Луна; к этому времени начался усиленный съезд антропософов; появились: Митчер, его сестра, Классен, бар. фон-Эккартштейн, Штраус, Вольфюгель, Людвиг Бай, фрейлейн Май; появились Перальтэ, Линде, лимик Шмидель; стали съезжать[ся] художники и резчики из Мюнхена, Скандинавии и Голландии; была уже группа до 70-80 человек. Приехала Катчер, Кучерова, Гюнтер, Хольцлейтер, приехала Форсман, граф. Гамильтон и др. будущие работницы и работники; мы в это время списывались с мамой, которая собиралась приехать к нам из Москвы.

В эти дни, помнится, в Дорнахе оказался В.В. Бородаевский, которому здесь не понравилось; он все жаждал умственных разговоров, дебатов и споров об антропософии, а мы были заняты главным образом вопросами техническими: как держать стамеску, как резать по дереву; помню, что лили дожди, дороги превратились в грязь; в эти дни появился в Дорнахе приват-доцент Самсонов, знакомый Е.А. Ильиной, - часто бывал у нас; держал он себя странно: много пил; и наконец мы просили Ильину, чтобы он к нам [не] появлялся. В эти дни мы съездили с Асей в Берн в тот же день, в который были там Наташа и Поццо; и там, в Берне, обвенчались гражданским браком(49).

Чувствовал я себя все время очень странно: физическая работа, утомительная и непривычная, шла вразрез с моими медитациями; полоса внутренней сосредоточенности кончилась; в душе осталась - боль. Я стал замечать, что Ася все более и более замыкалась в себя, все более и более уходила в работу, и между нами стало образовываться нечто вроде средостения, пока еще почти незаметного; в годах это средостение углубилось; считаю, что причины этого средостения в нежелании Аси войти в чрезвычайно бурные и интенсивные переживания, которые развились во мне с Бергена. Наоборот: с Наташей у меня стали нащупываться очень странные отношения; они начались с декабря 1913 года, прозвучали в Лейпциге; и теперь, в Дорнахе, вновь обнаружилось, но как-то нелепо для меня; мне казалось, что между нами вспыхивать стала искорка эротизма, и что Наташа, в себе осознав эту искорку, стала видимо от меня сторониться; порой в ней мелькало даже что-то враждебное по отношению ко мне. В этот период Наташа и Поццо держались изолированно; мы их сравнительно мало видали; более всего мы общались с Рихтером; он приходил к нам в наш отельчик "*Zum Ochsen*", водил вечером на прогулки, говорил с нами о том, чтобы мы навсегда поселились в Дорнахе при будущем "*Bau*", купив землю и построив на ней домик. Штейнер ему поручил все работы по стеклам; стекла надо было изготовить особенным образом и потом вырезать на них те рисунки, которые Рихтер должен был приготовить по эскизам д-ра; он иногда приносил к нам эскизы, только что данные ему доктором, и предлагал Асе их разработать; вообще он мечтал меня, Асю, Наташу и Поццо взять для работы на стеклах; мастерскую для стекол, целый оборудованный домик, весьма странной формы, предполагали спешно выстроить при "*Bau*"; Рихтер водил нас к возводимому домику; мы часто с ним сидели на стройке; и разговаривали о "*Bau*", о стеклах, о пути; еще мы дружили с голландцем Ледебуром, который тоже должен был сосредоточиться на стеклах. Кажется, - в эти дни Рихтер на несколько дней уезжал в Париж, иметь переговоры с фабрикою, долженствующей заготовить стекла; между тем: в здании возводились купола.

Скоро выяснилось, что комната наша неудобна; мы получили письмо от мамы, извещающей нас, что она едет в Базель; по расчету она должна была приехать через 4 дня; мы стали подыскивать помещения для нее; и остановились на отеле "*Zum L?we*" в Арлесгейме (на площади перед церковью); да и кстати: мы решили временно перебраться [в] "*Zum L?we*" до нашего постоянного водворения на "*Mattweg*" в Арлесгейме (у Ильиной); помню, что я ездил в Базель встречать маму; но она не приехала; на другой день мы отправились в Базель в отель "*Zum B?ren*", чтобы узнать, приехала ли мама; и нашли ее там: произошла путаница; мы переселили маму в Арлесгейм; и тут же обнаружилось ее очень враждебное отношение к Асе; мама приехала меня спасти от моего, якобы, безумия; ей хотелось отвезти меня в Москву; и, как кажется, развести с Асей; разумеется: она наткнулась на сильнейшее сопротивление - мое и Асино; тогда она всю вину моего, якобы, отдаления от нее и от России взвалила на Асю; выяснилось в первые же дни ее приезда в Дорнах, что ей здесь просто нечего делать; кроме того: Дорнахом она тяготилась; с антропософами (с немцами) ей было не о чем говорить; и мы уговорились, что все вместе поедem в Мюнхен на лекции д-ра; оттуда же, к Пасхе, в Вену на курс д-ра.

В дни пребывания мамы в Дорнахе значительно потеплело; зазеленели деревья; проливались теплые ливни; мы водили маму на работу; и она даже взяла стамеску; стала пробовать работать на той капители, на которой работали мы (на Марсе: Сатурн мы уже кончили); ей очень хотелось увидеть д-ра; и желание ее осуществилось; во время работы пришел доктор, стал обходить работающих и подавать советы; подошел к нашей капители; Ася представила доктору маму; он очень внимательно на ее посмотрел и был очень ласков с ней; помнится, что он взял стамеску, и стал работать на смежной капители. Валлер и баронесса фон-Эккартштейн были тоже очень любезны с мамой.

В эти дни впервые открылась вновь отстроенная *кантина*, т.е. столовая для антропософов; она была наскоро построена под "*Bau*", на зеленом лугу среди вишневых деревьев; мы впервые собрались обедать в кантине с мамой; пришли сюда и отобедали с работающими доктор и Мария Яковлевна; доктор был какой-то лучезарный, веселый; он много смеялся за обедом.

Мама стала высказывать желание вступить в члены А.О., ставя нас в затруднительное положение; мы считали ее неготовой; и кроме того: мы считали, что отношение ее к Обществу неотчетливое. И мы старались отговорить ее от этого шага; между тем: и доктор, и М.Я. были согласны принять ее в члены хоть сию же минуту. Тут мы с Асей получили письмо от Асиной матери, С.Н. Кампиони; она тоже собиралась приехать в Дорнах; мы должны были ее встретить в Вене.

Надвигались лекции в Мюнхене: мы поехали в Мюнхен впятером (я, Ася, мама, Наташа, Поццо); в Мюнхене д-р прочел 4 лекции; кроме того: были *E.S.(50)*. Мюнхенское пребывание не отпечатлелось ничем особенным; помнятся наши прогулки по английскому парку да разговор с Трапезниковым, проводившим жену в Россию и теперь собирающимся переселиться в Дорнах; главное впечатление от Мюнхена: ужасная ссора Аси с мамой, в которой Ася была ни в чем не виновата, а мама была вопиюще несправедлива к Асе; в мое отсутствие она ей наговорила таких вещей, что Ася была вынуждена ей указать на дверь; я, конечно, принял сторону Аси и решил в

Вене поселить маму отдельно от нас, чтобы из Вены отправить ее в Москву. Ссора эта произошла как раз в день отъезда в Вену.

В таком, крайне удрученном состоянии мы приехали в Вену, завезли маму в гостиницу и остановились в другой гостинице с мыслью, что будем ее видеть как можно реже.

Оставалось несколько дней до начала курса; в Вене все цвело; была весна; мы общались часто с Форсман; появился В.В. Бородаевский, приехавший на курс. Мы раз с ним отправились в окрестности Вены. Приехали Нейшеллеры (муж и жена), с которыми мы часто виделись; мы с Асей много бродили по Вене; в самом конце марта открылся курс доктора (6 лекций), построенный так, что первые две лекции брали /.../ "Ex Deo nascimur", вторые две - "In Christo morimur", две последние - "Per Spiritum Sanctum reviviscimus"; к 3-ей лекции приехала С.Н. Кампиони и остановилась в той же гостинице, где и мы(51).

Апрель.

Пасха пала на последнюю лекцию д-ра. Пасху мы встретили в Вене; и потом проводили маму в Москву (она примирилась с Асей); перед отъездом мама имела свидание с М.Я. Сиверс; доктор произвел на маму сильнейшее впечатление.

После отъезда мамы мы через день уехали в Прагу (я, Ася, С.Н. Кампиони); по дороге в Прагу мы сошлись ближе с Седлецкой, приехавшей с мужем на венский курс и отсюда ехавшей в Дорнах, чтобы там поселиться; в Праге мы прожили всего два дня и все время держались вместе с Форсман и Седлецкой; в Праге были 2 лекции доктора; и E.S.(52) Из Праги мы отправились обратно в Дорнах, заехавши предварительно в Нюрнберг. Если память не изменяет, доктор поехал опять в Мюнхен, оттуда в Париж; и из Парижа вернулся в Дорнах.

Вернулись мы в нашу новую квартиру в две комнаты; комнаты сдавала нам Е.А. Ильина; поселились мы в Арлесгейме на *Mattweg*, отстоящей от "Дом" довольно далеко ([в] 20 минутах ходьбы)(53); все в Дорнахе и Арлесгейме цвело; цвели яблони; и купол "Bau" возвышался среди белеющего цвета; через несколько домиков от нас поселился Трапезников, у которого я стал часто бывать, а еще через несколько домиков поселились Поццо, у которых остановилась С.Н. Кампиони; Рихтер некоторое время жил под нами, пока кончали ему стекольную мастерскую, где было и художественное его ателье и где были также комнаты, в которых впоследствии он стал жить; к этому времени съехалось очень много антропософской молодежи; съехали и другие антропософы; среди них к этому времени мне запомнились: фон Мутах, братья фон-Май, Седлецкая, Дюбанек, баронесса Фитингоф, фон-Чирская, Мме Райф, появились в Дорнахе Калькрейт и Штинде.

Через несколько дней после нашего возвращения из Праги приехал и д-р. На всех капителях работали, а два огромных сарая уже наполнились огромными архитравными формами; на этих формах еще не работали; руководство над архитравами поручили чешке, fr?ulein Katscher; однажды д-р пришел в капительную и сказал: "Кто хочет работать на архитравах, того прошу следовать за мной". Все работали на капителях; и потому-то за доктором пошла только Ася; он подвел ее к громадной, необработанной глыбе, будущему архитраву между колоннами Марса; и - указал на него; так Ася, можно сказать, завладела Марсом, взяв меня подсоблять ей в работе; скоро к нам присоединились Наташа и Поццо; появилась на несколько дней М.В. Волошина; помогала и С.Н. Кампиони; наша группа была первой группой, работающей на архитравах; в скором времени в архитравном сарае появилось много работающих; первое время мы были поставлены в тупик; как справиться с огромною архитравною формой? Катчер давала туманные указания: "Снесите эту вот плоскость на сколько-то сантиметров..." Мы и сносили: смысла, признаться, не видели мы в нашей работе; но цель работы казалась нам далека; и - потом: ответственность ведь не лежала на нас, а на Катчер; в таком неопределенном состоянии мы работали 2 недели; доктор не появлялся на архитравах; он больше появлялся в мастерской, где отработывали капители; там, в капительной появились уже, так сказать, квалифицированные резчики: Дубах, Митчер, Штраус, Кемпер, Людвиг; мы работали с 9 до 12; в двенадцать шли обедать в канину, обедали под открытым небом за столиками; группа основных резчиков не спускалась с "Bau", а, так сказать, маршировала; это были все крепкие, мускулистые молодые люди; они много шумели за едой, веселились, дурачились; к ним присоединялись антропософские барышни (Хольцлейтер, Гюнтер, Дюбанек, Кучерова); после обеда лежали вытянувшись в траве; в 2 поднимались к работе; опять работали с 2-х до 4-х; в 4 шли пить кофе; около пяти: опять поднимались на работу, в 7 в 8-ом шли с работы домой.

Скоро д-р Штейнер по воскресеньям стал читать лекции в 2-ом сарае для архитравов; мы слушали его, сидя на досках, на деревянных обрубках; появились к концу апреля в Дорнахе: Шолль с двумя подругами, американками (одна - мистрис Гаррис), появился норвежец Фадум, приехала Т.А. Бергенгрюн с племянником Газром, приехал из Парижа инженер Бразоль, приехал норвежец, старик Херр Лёв с двумя дочерьми, приехала мисс Чильс, приехала Киселева, жена художника, посвятившая себя изучению эвритмии; под ее руководством мы стали заниматься по вечерам эвритмией (в нашей группе оказались: д-р Гросхайнц, его жена, фон Мутах); в канине

вместо кухарок работали: графиня Гамильтон, Форсман, фрейляйн Митчер; бар. фон Эккартштейн производила опыты с красками, а также работала на архитравах: Рихтер разрабатывал рисунки для стекол; нам выдали инструменты: огромные стамески и тяжелые колотушки (пятифунтовые); стамески нам оттачивала Эльрам, бывшая начальница какого-то петербургского Института; в ту пору в Дорнах приехала О.Н. Анненкова.

Этот период был очень труден для меня: все продолжающееся отхождение от меня Аси и..., как мне стало казаться, моя влюбленность в Наташу, с которой я все время страшно боролся; нам трудно было с Наташей встречаться; влюбленность в Наташу была для меня настоящим ударом после декабря и января: "Как?" - думал я - "вместо пути посвящения, вместо духовных открытий, - просто самая элементарная влюбленность?" Мне стало казаться, что я пал: пал бесповоротно, в глазах доктора. С доктором мне стало трудно встречаться; я стал избегать его; кроме того: в эти именно числа впервые в душе моей стало закрадываться сомнение в благодати тех путей, которыми ведет доктор; я мысленно окидывал два года, проведенные с ним, и подводил итоги моей духовной работы; и - видел: в первые месяцы моего вхождения в антропософию (май - декабрь 1912 года и январь - октябрь 1913 года) я проделал нечто очень трудное для себя: усумнился во всех прежних путях, смирился до... подчас самоуничтожения, разорвал из-за доктора с рядом друзей (с Метнером, с Эллисом, с СМ. Соловьевым, с Рачинским, с Морозовой и рядом других лиц), бросил Россию, в которой я мог все время действовать в своей сфере, ушел из издательства ("*Мусагета*"), бытие которого считал очень важным культурным делом, вышел фактически из литературы; кроме того: под влиянием работы у доктора Ася перестала быть моей женой, что при моей исключительной жизненности и потребности иметь физические отношения с женщиной - означало: или иметь "*роман*" с другой (это при моей любви к Асе было для меня невозможно), или - прибегать к проституткам, что при моих антропософских воззрениях и при интенсивной духовной работе было тоже невозможным; итак: кроме потери родины, родной среды, литературной деятельности, друзей я должен был лишиться и жизни, т.е. должен был вопреки моему убеждению стать на путь аскетизма; я и стал на этот путь; но этот путь стал мне "*терновым*"; я не ощущал чувственности, пока я был мужем Аси; но когда я стал "*аскетом*" вопреки убеждению, то со всех сторон стали вставать "*искушения Св. Антония*"; образ женщины, как таковой стал преследовать мое воображение (так: прислуга Наташи, Катя, стала мне внушать нечистые помыслы летом 1913 года; в Мюнхене те же помыслы мне внушала горничная; теперь же - Наташа стала меня преследовать в снах); чтобы не "*пасть*" и победить чувственность я должен был ее убивать усиленными упражнениями; но они производили лишь временную анестезию чувственности; плоть я бичевал: она - корчилась под бичом, но не смирялась; я усиливал дозы медитаций; я медитировал ежедневно часами в ряде месяцев; и эти медитации меня довели до экстазов, восторгов и таких странных состояний сознания, что внутри их мне открывались пути посвящения, а когда я выходил из них, то эти состояния стояли передо мной, как состояния болезненные; и я был обречен на все ту же чувственность; кроме того: именно эти экстазы "*посвящения*" отделили от меня Асю (она испугалась их); а между тем, они были порождением ее поступка со мною (отказа быть моей женой); и стало быть: в антропософии я стал терять Асю, самое дорогое мне в мире существо; а вместо Аси стала на всех путях мне подвертываться Наташа; мои чувства к Наташе я переживал злым наваждением; но почему-то закралась мысль, что это "*наваждение*" подстроено доктором; что Наташа - "*Кундри*"(54). И вот в душе отлагалось: "Нет, это - слишком: я весь ограблен антропософией: у меня отнята родина, поэзия, друзья, жизнь, слава, жена, отнято положение в жизни". Вместо всего я болтаюсь здесь, в Дорнахе, на побегушках у Аси, никем не знаемый, большинством считаемый каким-то "*naive Herr Bugaeff*"; мне стало казаться, что при моем литературном имени, при моем возрасте, при всех моих работах могли бы больше мной и интересоваться...

Что получил я взамен отданного? Те внутренние достижения, которые привели меня к странному состоянию посвящения: за плечами были - незабываемые дни Христиании, Бергена, Берлина, Лейпцига, имагинация "*любимого ученика*" доктора; но это была лишь "*имагинация*"; внешне доктор не высказывал мне того отношения ко мне ("*исключительного*"), на которое намекали лишь так мной прочитанные его жесты ("*отцовские*"); внешне доктор был далек, иногда - суров, холоден; и потом: я страшно конфузился его. Но и эта единственная имагинация "*пути посвящения в рыцари*" была сорвана "*наваждением*" с Наташей; делу доктора я отдал всю свою жизнь, отдал самого себя, отдал Асю, и - вот: взамен я получил "*путь посвящения*"; но теперь срывался, и этот "*путь*"; оказывается: я мог идти этим путем лишь в условиях непрерывной "*медитации*", вгонявшей меня в экзальтацию; лишь внутри моей "*экзальтации*" мне открывалась картина моего посвящения; но "*экзальтация*" и утрировка "*упражнений*" приводили меня к болезненному расстройству сердечной деятельности, дыхания и подступу падучей; явно - тело отказывалось \ служить Духу; но - стоило мне ослабить темп духовной работы - нападала "*чувственность*", долго сдерживаемая, - нападала с удесятиренной силой. Здесь же, на воздухе, когда с утра до вечера мы стучали пятифунтовым молотком по стамеске и скалы вали с твердейшего дуба или бука деревянные слои, когда росли мускулы, то - рвалась сеть утонченных

духовных переживаний; и *"тело"* проступало сквозь разорванные упражнения; и - требовало настойчиво себе пищи.

Так я стоял перед собой и говорил себе: *"Куда ни кинь, везде - клин!"* Почему же я не обратился к доктору и [не] попросил у него духовного совета? И тут путь внутренне был для меня отрезан. Когда мы приехали в Мюнхен в июле 1912 года, то доктор нас принимал каждую неделю; он сам поставил меня в положение думать, что усиленно желает заняться мной, как учитель; и - далее: каждый месяц с ноября до марта в период 1912-1913 годов он просматривал мои отчеты) подробно расспрашивал меня о моих достижениях; далее: звал в Гельсингфорсе меня работать духовно около него; я имел все основания думать, что когда в июле 13 года возвращался к нему, что он усиленно займется мной, как учитель; но с тех пор я не был у доктора, как ученик; окружающие доктора стали мне внушать, что доктор занят *"духовными исследованиями"* огромной важности, что ему не надо мешать просьбою отдельных свиданий; что *"эзотерические уроки"* (E.S.), на которых мы были приняты в Гельсингфорсе заменяют свидания, что когда имеешь внутреннюю встречу с доктором, то он учит уже иначе: не внешней беседою, а - духовно; и - да: все жесты доктора по отношению ко мне от Христиании до Дорнаха были именно этой *"учебой"*, где я должен был читать оккультные знаки, которые он чертил передо мной в ряде мной пережитых *"мистерий"*, где открывалось, что я - *"сын возлюбленный"* его; именно в эти месяцы мне звучало: *"Боже тебя сохрани внешне спрашивать доктора о том, что он рисует перед тобою"*; и я знал: пока доктор сам меня не призовет на внешний урок, нельзя добиваться его внешним образом; если станешь добиваться свидания и разговора с доктором, то *"обет молчания"* будет нарушен; и ты не выдержишь испытания. Так я сам себе закупорил путь к объяснению с доктором; и - кроме того: в атмосфере дорнахской жизни явно переместился центр жизни; вместо медитаций, свиданий с доктором выступила всевозможная работа при *"Bau"*. Все дни д-р чертил планы, совещался с архитекторами, художниками, обходил резчиков и т.д. Вся атмосфера жизни не способствовала свиданию с доктором; доктора мы видели каждый день, привыкли к нему; но эти разговоры, встречи не затрагивали личных интимных бесед, а затрагивали интересы постройки *"Bau"*: *"Bau"* должен был по первоначальному плану быть окончен к октябрю 1914 года; доктор работы гнал; между тем работы в процессе работы разрастались; задания - сложились; и уже сомневались, чтобы *"Bau"* был готов до 1915 года.

Мне было не легче от всего этого: физическая работа вывела меня из духовной; образы духовные, меня посещавшие, разбились; разбилась имажинация *"лейпцигского посвящения"*; вместо него выступила Наташа: она стала являться мне в снах, преследовать мои мысли; мне казалось, что она отчаянно кокетничает со мной, распаяя во мне чувственность; и я увидел, что я беззащитен от нее.

Тут-то я усумнился в пути: мне привиделся страшный сон, будто доктор в образе какого-то отвратительного существа разрезал мне грудь и смазал разрез каким-то ядом, отчего загорелось мое сердце; когда я проснулся, то мне этот сон отдался так: доктор сознательно мне привил Люцифера, чтобы искусственно ввести меня в люциферические переживания (с Наташей); и я протестовал: *"Я не кролик для оккультических экспериментов"*. Разумеется с этими переживаниями я старался бороться; но - тщетно.

Тут-то и началась во мне одна странная имажинация: всюду передо мной вырастает баронесса фон Эккартштейн (художница, любимица доктора, про которую говорили, что она - ясновидящая); я ее встречаю на прогулках, в кантине; она работает недалеко от моего архитрава; оборачиваясь на нее, я вижу ослепительный взгляд ее зелено-синих глаз; и мне звучит: *"Она играет роль Люцифера в мистерии моей жизни; и этот Люцифер мне показывает на Наташу, как на Прекрасную Елену, которую я должен похитить..."* Дело в том, что Эккартштейн играла Люцифера в 4-х мистериях Штейнера; ее костюм был - ярко-красный; и - странно: в ярко-красном костюме разгуливала она по Дорнаху, ярко выделяясь на зеленой траве; в нем же работала; и рукоятка ее рабочей стамески была выкрашена в ярко-красный цвет; в описываемое время всюду выростал ее ярко-красный силуэт передо мною; и отовсюду наблюдали меня ее зелено-синие глаза; я безвластно влекся к ней; мы почти не были знакомы, но мне казалось, что она пронизывает меня насквозь. И по мере того, как выростал ее образ во мне, гас и умалчался солнечный образ Марии Яковлевны Сиверс; а на физическом плане М.Я. стала со мной холодна.

Во второй половине апреля (в 20-х числах) д-р Штейнер читал лекцию в Базеле (в базельской ложе)(55); лекция была какая-то грозная: казалось, что д-р предостерегает нас от каких-то внутренних опасностей и тяжестей, на нас навалившихся; порою его голос гремел; и что-то в нас он пытался испепелить с корнем (тогда открылась некрасивая история с одним норвежцем, которого наши дамы объявили ясновидящим и которого пришлось удалить из Общества за некрасивые эротические поступки). Во время лекции в Базеле над Дорнахом пронесся ураган; и сарай над архитравами, где мы работали, был сломан; когда мы вернулись в Дорнах, мы узнали, что сарай с неделю надо чинить; работы над архитравами колонн для большого купола пришлось на неделю прекратить; нас переместили в другой сарай, где д-р читал нам лекции; и мы стали

работать над архитравами малого купола; Наташа все время, как мне казалось, возбуждала нарочно во мне грешные мысли.

Эккартштейн работала в этом сарае над архитравом колонны Марса (малого купола); Катчер не вмешивалась в ее работу, считая Эккартштейн опытной художницей; Эккартштейн однажды подошла ко мне и взяв меня за руку увела на свой архитрав, дала мне в руку стамеску свою (с красною рукояткою); и - сказала: "Работайте со мною!" Три дня мы с ней целыми днями работали; ее красный силуэт вырастал за моей спиной; она выдумала странный метод работы; мы с ней работали одним молотком и одной стамеской; то она держала стамеску, а меня заставляла бить по ней; то наоборот, я держал стамеску, а она била по ней; это похищение меня с Асиного архитрава Эккартштейн отобразилось в моих имагинациях, как факт моего пленения Люцифером, внушавшим мне грешное чувство к Наташе; все поведение Эккартштейн в это время по отношению ко мне мне казалось странным; через три дня Эккартштейн поручила мне ваять огромную форму на ее архитраве, а сама исчезла в свою мастерскую; Катчер не вмешивалась в работу Эккартштейн, а сама Эккартштейн не вмешивалась в мою работу; она лишь изредка приходила любоваться ею; так в эти дни я вообразил себя скульптором; с беззастенчивой отвагой и с лютой какой-то энергией я высекал огромную форму; приезжавшие из Берлина антропософы собирались в кучки и любовались моею работою; так в несколько дней я высек всю форму.

Но моим художническим иллюзиям пришел конец, когда воскресенье была назначена лекция д-ра Штейнера как раз на тему: "Архитравы, деревянная скульптура". Кафедра доктора была поставлена как раз у формы, мной высеченной; и я вообразил, что это - неспроста, что д-р покажет всем: "Вот так надо работать". Каково же было мое разочарование, когда вся лекция д-ра свелась к тому, как не надо работать; ежеминутно он поворачивался к высеченной мной форме и с каким-то гневом указывал на нее: "Вот так *не надо* работать". Тут же выяснилось нам впервые, что формы должны быть сложены из пересечения плоскостей под углами (система гранников), что формы, иссекаемые нами, боятся округлостей; моя же форма была сплошь округлой. Мне казалось: неспроста громит д-р мою работу; он громит весь мой внутренний мир, плененный Люцифером; я сердился на себя, на д-ра, на Эккартштейн, насильственно затащившую меня на этот архитрав и провоцировавшую меня на работу, которую так громил д-р.

В эти дни уехала из Дорнаха С.Н. Кампиони. М.В. Волошина стала сильно дружить с инженером Энглертом, познакомила меня с ним; и с той поры начинаются наши частые встречи и разговоры с Энглертом; он оказался замечательно умным, весьма начитанным человеком: прекрасный математик, талантливый инженер, астроном, астролог и глубокий знаток исторической мистики; он быстро выдвинулся в ряду строителей, отнеснил первоначального архитектора Шмидта и в сущности говоря один руководил всеми инженерными и строительными работами; он разрешил весьма остроумно проблему соединения куполов "*Bau*"; доктор ежедневно являлся в его комнату при "*Bau*" и просиживал с ним часами; беседы с Энглертом мне очень многое дали.

Май.

Антропософская публика продолжает все прибывать в "*Bau*"; появляются англичане Смите, муж и жена; появляется русский египтолог Колпакчи из Лондона и проходится бурей по всем архитравам; его заставляют сшибать лишнее дерево; он сшибает все, что может; впоследствии, годами считались с работою Колпакчи; всюду, где он ни работал, он напортил, срезав лишнее; появляются художники Полляк (муж и жена) из Праги; появляется английский художник (фамилию забыл), расписывавший впоследствии купол; появляется из Парижа писатель Леви, антропософ, впоследствии вышедший из общества; появляется мlle Заурвейн, приезжает 70 летняя старуха Киттель; наконец: приезжает из Москвы сперва А.С. Петровский с годовым отпуском, чтобы работать при "*Bau*"; приезжает М.И. Сизов (тоже - надолго); приезжают очень многие иные антропософы; в Дорнахе собирается не менее 200 антропософов; всем теперь есть место для художественной работы; менее опытные поступают под руководство к "спецам"; Сизов и Петровский пристроиваются при архитравах; Трапезников, перевязанный фартуком, бегаёт по постройке; он все что-то мажет; горячка работы охватывает нас всех настолько, что внутренние переживания отступают перед заботами дня; умолкает мой бунт против д-ра Штейнера (я теперь сознаю, что апрельские переживания, в сущности говоря, были бунтом моим против пути).

Я не помню, почему случилось так, что мы по восстановлению сарая очутились на другом архитраве; но Катчер почему-то решила, что надо пока оставить нам архитрав Марса; она предоставила нам громадный архитрав Сатурна, на котором мы вчетвером и стали работать; архитрав этот был из белого бука, т.е. твердешего дерева; работать на нем было чрезвычайно мучительно; у меня все ладони превратились в незаживающие раны; стамеска ломалась; сколько раз мне казалось, что это не дерево, а кость (дуб казался просто воском по сравнению с белым буком); несколько дней мы упорно работали, отстучали руки (по утрам я не мог разогнуть себе пальцы от боли), а работа - не двигалась.

Эти дни отметились тяжелым инцидентом с Катчер; уже давно среди резчиков стало складываться убеждение, что Катчер, которой доктор поручил архитравы, не сумеет справиться с

ответственным поручением; она все более и более растеривалась, не будучи в состоянии измерить все 24 архитектурных формы, ни тем более конкретно следить, как проводится работа на архитектурах; она давала нам противоречивые указания; вместе с тем не позволяла резчикам взять работу на свою ответственность; кроме того: ее неуравновешенный характер оказался источником многих недоразумений; постоянно выходили ссоры между ней и группами работающих; и наконец: она, как скульпторша, оказалась менее опытной, чем можно было думать. Уже с апреля обнаружилась сильнейшая оппозиция антропософской молодежи; указывали, что подлинные резчики-художники, на деле показавшие себя (отработавшие капители) суть Митчер, Дубах, Штраус, Кемпер, фон Гейдебрандт, Вольфюгель, Людвиг, Хольцлейтер и другие; им и следует поручить организацию резной работы на архитектурах; работающая молодежь выбрала комиссию; комиссия произвела самочинный инспекторский смотр, обнаруживший непродуктивность и бессистемность работ, руководимых Катчер; состоялось собрание, на котором работающие вынесли резолюцию такого характера: д-р Штейнер поручил в сущности не Катчер, а всем нам архитектуры; и следовательно: мы должны быть ответственны за работы; переложить ответственность на одну Катчер несправедливо; это была формула подготовляемой перемены власти; и - формула удаления Катчер; предварительно молодежь снеслась с высшим управлением по постройке "Bau" и с "Johannesbauverein", во главе которого стояли Гросхайнц, Энглерт, архитектор Шмидт, д-р Унгер и прочие; управление ответило, что признает вполне контроль коллегии резчиков над Катчер; и - высказалось, что на бунт против Катчер оно посмотрит нейтрально, предоставляя нам разрешение вопроса о Катчер; тогда молодежь организовала группы работающих на архитектурах; каждая группа должна была взять себе по архитектуру; в каждой группе должен быть "Gruppenführer", т.е. лицо, ответственное за архитектуру; оно должно измерить архитектуру, изучить модель, вымерить по основной модели "Bau", стоящей в Доме Гросхайнцев, вычислить размеры и понять, где сколько надо снять сантиметров дерева; и потом составив план работы, распределить работу между участниками группы; таким образом каждый руководитель группы был вполне ответственен за свой архитектуру; общий руководитель в сущности лишь координировал работу групп, но не входил в детали работы; таким руководителем был избран Митчер, брат Митчер, заведующий кантиной. Катчер страшно обиделась, узнав, что переворот совершился, и что ей следует уйти с архитектур (ей предложили другую работу); за Катчер никто не заступился, кроме Аси и меня; мы почему-то страшно ратовали за нее; по существу, мы соглашались, что новая организация работы рациональнее прежней, что в этой организации - выход из тупика, в который мы попали; но нас возмущала грубость, с которой свергали Катчер Митчер, Дубах и прочие; помнится, по этому поводу я имел очень резкое объяснение с Митчером, после которого я сказал в кantine фреляйн Митчер: "Ваш брат ведет себя не как антропософ, а как прусский капрал..." Тем не менее - факт совершился: появились группы и их руководители; Ася оказалась в числе руководителей; с той поры начинаются ее почти ежедневные путешествия на виллу Гросхайнц вымеривать модель; помню Асю в эти периоды, вечно вычисляющей, с карандашом в руке и с записной книжечкой; наш архитектуру покрылся масштабами, отметками углем: 20, 30, 7, 5, т.е. 20 сантиметров снять, 30 сантиметров снять и т.д. Думаю, что в отместку за мое нападение Митчер выбрал меня руководителем на архитектуре "Венера", дав мне помощниками двух опытных художниц и резниц - Кучерову (чешка) и Гюнтер (немка); мне же сказали, что у меня есть вкус, а это - главное (надо было по малой гипсовой модели, где форма была в округлостях, пред ставить себе эту форму, сложенную гранником т.е. из пересекающихся плоскостей: количество плоскостей и способ их пересечения зависел от моей фантазии); я представил себе форму, изложил свои представления Кучеровой и Гюнтер, а когда дело дошло до измерения архитектуры и точного расчисления в сантиметрах, то я запутался; Кучерова и Гюнтер быстро отобрали у меня карандаш и книжечку и стали производить вычисление без меня; мне особенно бросилась карикатурность моего положения: быть руководителем ответственной работы, не будучи ни художником профессионалом, ни резчиком; и я понял тогда, что выбор меня руководителем есть насмешка надо мной Митчера; тогда я обиделся, отказался от архитектуры "Венеры" и засел у себя дома дней на 10.

Эти десять дней я употребил на подготовку собрания стихотворений для "Сирена", а также: в эти дни я написал несколько стихотворений, между прочим: "Открылось: весть весенняя", "В волнах золотистого хлеба", "Я засыпал..." и др. (56) В эти дни я не показывался ни в "Bau", ни в кantine; с последней я чувствовал себя в ссоре; Ася уходила на работы одна; обедал я главным образом у Трапезникова; или же в "Zum L?we". В эти дни д-р уезжал в Берлин. Во время отъезда М.Я. Сиверс пригласила нас с Асей к себе на чай в новую виллу (villa Hansi), в которой поселились она, доктор и фреляйн Валлер; я читал М.Я. отрывок из перевода "Мистерии" доктора; и новые, мной написанные стихотворения; она мне сказала: "В ваших стихах - отражение антропософии". Я был этим очень польщен.

Приблизительно к середине мая домик Рихтера уже был отстроен; днем открытия домика и как бы его освящением я считаю лекцию вернувшегося из Берлина д-ра Штейнера в этом домике (57); лекция была на тему о живописи; всех лекция сильно задела; во время нее разразилась гроза.

Во второй половине мая я снова появляюсь на архитраве; и застаю Асю, работающей с Наташей и с Поццо вновь на Марсе: сказалось рациональное распределение работы; переложение ответственности с одного руководителя на многих привело к быстрому темпу работы; в сущности ответственны были все работающие; Ася берет меня себе помощником; и задает порции работы; сперва я лишь подсобляю ей; потом веду самостоятельную работу уже вполне сознательно; целыми днями проводим мы на Марсе; работаем на мостках, громоздя на мостки груды ящиков и вскарабкиваясь на них; особенно трудна была порученная мне Асей работа внизу, под архитравом; чтобы работать, я должен был лечь на досчатом полу, накрыться бумагой и сшибать дерево в лежачем положении; помнится, - в эти дни доктор Штейнер лично совершал обход работы раз, а то и два раза в день (обычно, часов около двенадцати, а если второй раз, то около 4 1/2); он останавливался перед формой, обмеривал ее глазами и отмечал лично углем, как надо вести плоскости; иногда он взлезал на мостки, карабкался на ящики, брал в руку стамеску и делал отметки, зарубки и т.д. Более всего он вступал в разговоры с руководителем группы; Асе пришлось много иметь дело с доктором; она привыкла к нему; и иногда, увидевши его в сарае для работающих, подходила и тащила его к нашему архитраву, советуясь с ним о работе. Из Аси вышла отличная руководительница; она прекрасно понимала плоскости, линии, их координацию и прекрасно вычисляла, где сколько надо снять дерева; кроме того: она умело и нас втягивала в работу; эти дни работы на Марсе - прекрасное время; в наш архитрав мы почти влюбились; Наташа оказалась тоже прекрасной работницей; она взяла себе определенный угол архитрава и отработывала его с большой художественностью; я - работал недурно; менее успешно работал Поццо; но все же: мы оказались хорошим, спевшимся в работе коллективом; работа нас так увлекала, что мои отношения с Наташей исправились; мы относились вновь с доверием друг к другу.

Дома мы почти не жили; приходили к 10 часам на работу, в 12 часов обедали, обыкновенно на воздухе; за наш столик, поставленный среди травы, садились русские (Волошина, Анненкова, Сизов, Петровский); с последними двумя мы почти не видались; оба дружили с участниками своих рабочих коллективов; после обеда лежали в траве, а иногда поднимались на "Bau": обходили его; при нас на огромных цепях поднимали огромные части колонн; уже отстраивались порталы; выходили из бетонных форм все новые и новые бетонные части первого этажа; "Bau", бывший, так сказать, скелетом во дни нашего приезда - обрастал формами; внутри его появились бетонные комнаты, переходы, коридоры; купола были выведены; поражала нас линия соединения куполов; но купола не были еще покрыты черепицей; камень для черепицы еще не был привезен из Норвегии: он оказался тем самым камнем, оттенок которого нас с Асей когда-то поразил между Христианией и Бергеном; к 2 часам "Bau" наполнялся множеством рабочих, стукотней молотков, гомоном голосов; работало здесь несколько сот рабочих; рабочие делились на 3 группы; одну группу составляли, гамбургские рабочие; другую группу итальянцы; третьей группой, самой немногочисленной, были местные швейцарцы. Одно время рабочие, не договорившись с конторою, т.е. с Лиссау, с Лихтфогелем и др., устроили забастовку, предъявив администрации "Bau" ряд требований; в администрации голоса разделились: Энглерт повел линию рабочих, настаивая на удовлетворении требований; д-р Гросхайнц настаивал на том, что на требования рабочих согласиться нельзя; с той поры Гросхайнц и Энглерт постоянно вели борьбу друг с другом; была партия Гросхайнца (более буржуазные элементы среди антропософов) и была партия Энглерта (более радикальные элементы; антропософская молодежь); мне кажется, что доктор был в то время более с Энглертом.

В два часа мы поднимались на работы; в 4 шли пить кофе; в 4 1/2 становились опять на работы, а в 7 спускались к кantine в ожидании ужина: ужинали в 7 1/2. Это вечернее время мне особенно памятно: "Bau" был особенно красив в вечернем освещении; в эти часы по лесам мы часто карабкались под купол; существовало в то время отверстие купола; из этого отверстия мы вылезали наружу и стояли на самой вершине купола, смотря на расстилавшиеся под ногами дальние окрестности; были даже смельчаки, которые взлезали на купол снаружи по веревочным лестницам; скоро управление "Bau" строго запретило эти гимнастические упражнения. Часу в девятом лишь мы возвращались с Асей домой; проходя по Арлесгейму, мы закупали к вечернему чаю сластей и придя домой кипятили на спиртовке чай; обыкновенно к этому времени нас так страшно тянуло спать, что мы едва дожидались чаю (сколько раз Ася засыпала, прикурнув на диванчике и я ее не мог никак уже поднять к чаю); укладываясь в постель и раздеваясь, я обнаруживал всюду щепки: щепки оказывались в кармане, за воротом рубашки; дерево было - пахучее, свежее; в 11 часов мы уже погружались в сон, чтобы на другой день вовремя поспеть на работу (вечерние и утренние медитации в эти дни трудно давались).

По праздникам работ не было, но в теле чувствовалась большая разбитость и как бы развинченность (все тело болело); обыкновенно к нам тогда приходили в гости: Рихтер, Ледебур, Поццо, Трапезников или Петровский; иногда мы устраивали прогулки в окрестности Дорнаха, поднимаясь к старым развалинам рыцарских замков (над "Bau" вокруг Дорнаха, в амфитеатре гор сидело 3 замка; и нам казалось, что они враждебно покашливают-ся на "Bau").

В это время я переписывался с некоей *"Надей Штрассер"*, живущей в Мюнхене; *"Надя Штрассер"* предлагала мне перевести *"Петербурга"* на немецкий язык; впоследствии я узнал, что на мысль о переводе ее натолкнула фрау Моргенштерн (вдова поэта)(58).

Июнь.

Все усиливающийся темп работы выдвигает вопрос о сдаче архитравов; оказывается, что инженерные работы по сооружению *"Johannesbau"* требуют, чтобы к известному сроку все архитравы, над которыми мы работали в сараях, были бы подняты под купол и своевременно укреплены между колоннами; поэтому Энглерт и Шмидт объявляют коллегии резчиков, что последний срок сдачи архитравов - такое-то число; выясняется, что впоследствии возведутся леса и окончательная отделка архитравов нами уже будет производиться на лесах, под большим куполом; и все же: нужна минимальная отработка архитравов в сарае; нужно прежде поднятия придать им законченный вид (все это касается архитравов большого купола); среди резчиков поднимается переполох; у большинства групп архитравы оказываются в таком положении, что они не будут готовы к моменту инспекторского осмотра (к такому-то числу); многие руководители групп заранее отказываются привести свои архитравы к полной готовности; мы находимся в таком же положении: работы уйма, а срок - короткий; тем не менее мы даем совершенно безумное обещание: к назначенному сроку привести наш архитрав к полной законченности; я не помню числа, в которое мы должны были сдать архитрав, но помню, что в субботу архитрав должен был быть сдан администрации; обещание сдать его мы даем в среду; следовательно: нам остается лишь два дня; наши соседи по архитраву (тоже по Марсу; все архитравы, кроме Сатурнова архитрава - парные) решительно отказываются закончить архитрав свой к субботе; и - стало быть: он будет поднят к куполу в незаконченном виде; они смеются над нами, утверждая, что мы дали совершенно неосмысленное обещание: все равно его не выполнить, потому что работы еще много на нашем архитраве; в группе наших соседей сильные работники (рубка требует физической силы); нам указывается, что мы все сравнительно слабосильны; не говоря уже о художественной законченности, у нас просто не хватит силы, чтобы физически вынести работу; мы и сами это понимаем, но не отступаем от плана; мы берем себе в подмогу художника Розенберга и с четверга уже с семи часов утра мы на работе; никогда не забуду бешеного темпа работы этих последних двух дней; наш архитрав с семи часов утра до восьми часов вечера буквально трещал под ударами пяти молотков, ударяющих по пяти стамескам; здесь приходилось вырубать непочатые деревянные массы, там приводить к окончательной отработке плоскости; здесь - домеривать; там - выравнивать фон; там - заострять грани; помню, что мне с Розенбергом приходилось выбивать дерево из углов: дерево здесь оказывалось ссохшимся, перетвердевшим, напоминающим кость; вдобавок в дерево здесь были рабочими всажены гвозди (вопреки запрещению); стамеска налетала на гвоздь, кончик ее ломался; и она поступала в точильню к Эльрам; мы запаслись целым ассортиментом стамесок от огромных до малюсеньких, которые мы прозвали *"козьими ножками"*, в одном месте приходилось работать полукруглой стамеской, в другом - плоской (в зависимости от характера работы и внешнего вида, который надо было придать плоскости); к обеду мы сбежали лишь к часу и уже в 11/2 стояли опять за работой; к кофе вовсе не сходили, а работу кончили не к семи, а к восьми, проработав до 12 часов в сутки (а труд был тяжел); порою я впадал просто в какое-то одеревенение; рука отказывалась вовсе служить; то со мной, то с Асей, то с Поццо делались какие-то особые припадки злобной раздражительности совершенно иррациональной (мы потом назвали этот род мускульно-нервной усталости *"архитравною лихорадкой"*: многие болели ей периодически); несколько раз я бросал работу и усаживался на деревянный обрубок в совершенной оцепенелости; и потом, минут через 5, вновь принимался за работу; к концу первого дня выяснилось, что в один день работы все же не окончить; унылые и измученные мы вернулись домой. На другой день, в пятницу, с Шести часов утра мы уже были все на местах; и с тем же бешенством стучали стамесками, хотя руки были так натерты, что при ударах колотушки по стамеске приходилось чуть ли не вскрикивать от боли. Пятницу провели мы в том же бешеном темпе; и к шести часам вечера выяснилось, что мы можем закончить работу при условии, что нам администрация в виде исключения разрешит работать и ночью при свечах (с наступлением сумерек запрещалось внутри места, отведенного постройке, зажигать свет ввиду громадного скопления дерева, стружек, щепок и ввиду сухой погоды: курить мы сбежали за ограду, к кантине); с трудом мы добились разрешения; к нам подходили группы антропософов и обсуждали, успеет ли или не успеет окончить, чуть ли не держали пари на нас; точильщица Эльрам, дама почтенных лет, заявила, что она остается при нас до окончания работы, чтобы точить нам стамески; мы раздобыли себе свечей; и с наступлением сумерек при тусклом свете фонариков в мраке огромного сарая продолжали работу; последние часы мы уже были в полном изнеможении; уже не работали, а с какой-то истерикой стамесками и молотками кидались на огромную архитравную форму; Розенберг оказался хорошим товарищем; он помогал нам, как мог. Наконец в первом часу ночи мы кончили работу: обещание мы сдержали; архитрав был приведен в полную законченность.

На другой день мы проспали часов до трех дня и появились в "Bau" уже к вечеру; мы видели, что архитравы рабочие перевезли в "Bau" и некоторые на цепях были уже приподняты на огромную высоту под купол: нам сказали, что утром в сарае появился доктор Штейнер и прямо направился к нашему архитраву; он долго его разглядывал, отошел от него, сел на деревянный обрубок перед ним; и задумчиво, долго продолжал разглядывать нашу работу (уже впоследствии, характеризуя работу, он выразился о нашем архитраве так: "Это наиболее изящно сработанный архитрав среди всех других". И еще он сказал, что в этом архитраве вполне отразился творческий замысел его).

Так закончился первый крупный этап в резной работе: архитравы большого купола, числом 13 были вырублены; и вчерне готовы; теперь нам предстояла такая же работа относительно архитравов малого купола, числом 10; одиннадцатой была огромная форма синтезирующая все мотивы архитравных форм; она сбегалась к гигантской пентаграмме, которую надлежало вырезать; некоторое время для отдыха мы работали в смежном сарае на так называемых фонах, т.е. на формах, которые соединяли потолок от колонн к округлой стене; работа для нас, уже опытных резчиков после работы на архитравах, была пустяшная; надо было снимать лишь внешний слой дерева; тут важна была не форма, а особая штриховка стамесочных срезов; характер штриховки дал доктор; мы прозвали эту штриховку штриховкой "в ёлочку"; к этому времени кроме основных работников съехалось множество временных гостей антропософов; они приехали на летние месяцы: появились берлинцы, мюнхенцы, штутгартцы, венцы, голландцы, скандинавы, чехи, англичане, швейцарцы; в Дорнахе оказывалось уже до 400 антропософов; доктор Штейнер читал теперь по субботам лекции в сарае; на эти лекции приезжали на день ряд швейцарских антропософов из Берна, Люцерна, Цюриха и из французской Швейцарии; на субботних лекциях присутствовало в сарае до 500 человек. Из России на побывку приехала Т.А. Полиевктова и Григоровы (муж и жена); многие из приехавших рвались к работе; но подпускать их к ответственной архитравной работе было нельзя; вот их и пускали на "фоны"; эта работа на "фонах" считалась нами одним баловством, почти не нужным строителям "Bau" (все равно эта работа впоследствии была заново переработана): а работающим гостям казалось, что они действительно приносят пользу; мы же считали, что работа эта поставлена для утешения "гостей"; было смешно смотреть, с какой важной миной снимали легкие слои дерева старушка Калькрейт, Григорова и другие приезжие.

В этот период д-р Штейнер разительно переменял стиль своих лекций: вместо тем мистических, философских, христологических он брал темы исключительно художественные, имеющие отношение к текущим работам; к этому периоду относится его замечательная лекция об орнаменте(59). Уже отстроилась около "Bau" деревянная контора, где помещалась администрация "Bau", инженерная, чертежная комната и комната моделей; сбоку в пристройке работала мисс Мэрион, лепя модели различных форм, долженствующих украсить "Вау", внизу, в подвальном бетонном помещении располагалась художественная мастерская, где разрабатывались эскизы доктора для расписания купола; здесь были мастерская Эккартштейн, Волошиной, Перальтэ, Линде, супругов Полляк, Валлер и Классен; баронесса фон Эккартштейн должна была приготовить эскиз огромной головы Человека, ведомого к посвящению; она несколько раз приводила меня в свою мастерскую и копировала мои глаза; "глаза" для Посвящаемого она хотела взять у меня; эти сеансы у Эккартштейн скоро превратились для меня в живые и занимательные беседы с ней; мы много говорили о поэзии; она читала мне вслух Уланда; скоро она задружила с М.И. Сизовым; у нее также была своя лабораторийка, где она делала опыты над красками, добываемыми из цветов; краски получались интересные, но нужно было уметь их закреплять; для этого требовался химик-специалист; его она искала; лейб-химик "Bau" был д-р Шмидель; вся лабораторная работа сосредоточилась у него; но Эккартштейн враждовала со Шмиделем; ей непременно нужна была своя лаборатория; поэтому она схватилась за талантливого молодого русского студента, приехавшего из Германии на побывку к сестре, за Н.А. Маликова; он был химик по специальности; на нас, антропософов, он косился; но Эккартштейн почему-то ему импонировала; она забрала его в свою лабораторию и целые дни они возились над изготовлением каких-то веществ, нужных для закрепления красок; через нее Маликов принял антропософию и стал членом О-ва (это было уже месяца три спустя).

В эти дни д-р Штейнер дал нам *E.S.* На *E.S.* впервые были допущены Наташа и А.М. Поццо.

Со второй половины июня была распределены работы над архитравами малого купола; Ася была назначена руководительницей на архитраве Юпитера (клен); опять начался период вымеривания и разметок; потом мы принялись за работу; клен оказался очень твердым и непокладистым деревом; мы привыкли к дубу, и чтобы привыкнуть к клену надо было потратить несколько дней на ознакомление с техникой работы; я деятельно помогал Асе; Наташа и Поццо не работали с нами; Наташа была назначена руководительницей на другом архитраве (кажется, - на Марсе же); кто с нами работал в ту пору на клене - не помню: не то Луна Дрекслер, не то О.Н. Анненкова. Мы начали сверху: работали на лесах, очень высоко над землей; надо было к нам взбираться по шаткой лесенке; ритм дня был все тот же; так же около 12 часов, перед обедом появлялся доктор и осматривал наши работы, давал указания, делал отметки углем; иногда М.Я. Сиверс

сопровождала его; однажды они появились втроем, с писателем Леви: М.Я. подозвала меня и представила Леви; Леви рассыпался в любезностях и сказал, что он много слышал обо мне. Другой раз произошла забавная картина; увидав доктора и М.Я. с своих лесов, я так стремительно высунулся вперед (мне нужно было позвать доктора, чтобы спросить его о какой-то детали работы), что потерял равновесие и со стамеской в руке и с огромною колотушкой в другой руке рухнул с высоких лесов прямо под ноги М.Я. и чуть не сшиб ее с ног; она страшно перепугалась; д-р же не обратил никакого внимания на мое падение.

В это время чаще и чаще стал появляться около нас Рихтер; он стал доказывать, что нам следует работать в его мастерской над стеклами и бросить работу на архитравах; уже заказанные стекла пришли из Парижа; они были вылиты из разноцветного, цельного стекла (одно окно - красное; два - синих; два - розовых; два - зеленых; два - желтых и т.д.); толщиной они были не менее дюйма; каждое окно состояло из трех огромнейших стекол; их надо было вырезать особыми сверлильными аппаратами, соединенными электрическим проводом с бор-машиной; работа должна была производиться на площадках, перемещающихся на рельсах, чтобы стекла не трескались от нагревания во время сверления, они поливались все время холодной струей воды; работать надо было в каучуковых балахонах и в каучуковых перчатках, чтобы не промокнуть. Сперва надо было на пробных кусках стекла учиться технике ведения линий по стеклу, углублению их, срезанию стекольных слоев; надо было учиться держать аппарат; когда он начинал действовать под влиянием электричества, то все тело сотрясалось и резец ежеминутно выскакивал из руки и ударял по стеклу: стекло - разбивалось; надо было сперва научиться твердо держать в руке сверлильный аппарат; разбить цельное стекло - значило: уничтожить 20,000 франков (каждое стекло стоило до 20,000 франков). Мы в этот период иногда заходили к Рихтеру и упражнялись на пробных осколках стекол. Я сразу решил, что эта работа - не для меня, что я никогда не буду умело держать сверлильный прибор; и стало быть: непременно разобью стекло; Рихтер убеждал меня в противном; проба стекол у Аси шла удачней, но и ей не очень хотелось переходить в мастерскую к Рихтеру; работа на архитравах у нее шла блистательно; там она была полезна, а здесь - надо было еще всему заново учиться. Так вопрос о стеклах еще все висел в воздухе; мы решили отложить до осени вопрос о нашей специализации по стекольному делу.

Вместе с тем Рихтер нам стал говорить, что кроме *E.S.* есть еще интимнейшие собрания у доктора для избранных членов, посвятивших себя духовной работе, и что нам следует проситься у М.Я. на эти собрания; мы с Асей отвечали не раз Рихтеру, что проситься мы не хотим, ибо не считаем себя достойными попасть на такие собрания; но Рихтер сказал, что мы проситься обязаны: такова форма; что оттого он нам и говорит об этих собраниях, что мы созрели для того, чтобы быть допущенными на них; тогда Ася отправилась к М.Я. и поставила ей прямо вопрос о допущении нас на собрания; М.Я. сказала, что передаст наши слова доктору; через некоторое время она подходит к нам и говорит: доктор согласен нас допустить на собрания; но они бывают очень редко; в Дорнахе, например, они не предвидятся, но вот в начале июля доктор едет в Швецию и в городе Норчёпине читает шведам курс лекций; там будут и *E.S.* и эти более интимные собрания; если мы хотим попасть на них поскорее, то мы можем поехать в Швецию; мы с Асей решаем, что после усиленной работы трех месяцев нам не мешало бы отдохнуть и освежиться поездкой; мы решаем в начале июля двинуться в Норчёпин; туда же собираются ехать: Форсман, Петровский, Сизов и Григоровы.

В последних числах июня все зацветает розами: Дорнах и Арлесгейм превращаются в какие-то "розовники"; в воздухе стоит пряное благоухание роз; и странно: с расцветанием этим с огромной интенсивною силой пробуждается вновь моя влюбленность в Наташу, с которой я уже не борюсь.

Июль.

В этой влюбленности много теперь переживаю я чистого и непосредственного; но много накручивается вокруг нее и большого; я думаю о том, что судьба точно нарочно отстранила от меня Асю с Бергена; все мои усилия протянуться к Асе и поведать ей мой внутренний мир разбиваются о какую-то кору ледяной холодности, равнодушия; при попытках разбить на ней эту видимость отдаления от меня, доходящего до безучастия, я наталкиваюсь на почти испуг; Ася съезживается; и не то, чтобы у нас не было умных интересных разговоров, и не то, чтобы Ася не заботилась обо мне; она мне оказывает много внимания, - но не там именно, где я таю свои наиболее огненные вопросы, связанные с путем, с ощущением себя в антропософии, ощущением в тайне моего пути с доктором; тут обнаруживается удивительная, я бы сказал, холодность, переходящая в жестокость; и потом: я невольно замечаю, что я во всем завишу от Аси; я не мыслю себе недели, проведенной без нее, а она - как будто вовсе не нуждается во мне; это создает в наших отношениях мою полную зависимость от нее; все наши передвижения, весь стиль нашей жизни, обусловлен ею; не было случая, чтобы она мне уступила в чем-нибудь; это чувство привязанности к ней тем более апеллирует к большой общительности между нами в *последнем*, в *центровом*; но именно тут она молчит, как могила. И в этой-то точке вынужденной отдаленности от нее появляется опять Наташа, и я, не желая, все поворачиваюсь на нее; весной этот поворот на

Наташу переживаю я, как падение и как грех: я все жду, что доктор разгромит меня за эти грешные чувства; но доктор вовсе не обращает внимания на мои сношения с Наташей, а к самой Наташе относится с все большей внимательностью, подчас даже с нежностью; мне начинает казаться, что доктор очень интересуется внутренним миром Наташи; так Рихтер, в мастерскую которого иногда заходит доктор и с ним сидит, однажды прибегает к нам, и выпуская клубы дыма из трубки, говорит: "А у Наташи - четыре крыла..." Я - недоумеваю. Рихтер - поясняет: "Сегодня ко мне приходит доктор и - говорит: "Знаете ли, Рихтер, у Frau Pozzo-то: не два крыла - четыре крыла..." (доктор иногда любит выпаливать гротески, парадоксальные вещи; иногда он ни с того ни с сего скажет такую "дикость", от которой способен на землю грянуться бык); этот разговор Рихтера с доктором о Наташе и другие мелочи отношения доктора к ней повышают мой интерес к Наташе; однажды, когда мы с Наташей шли по лугу и встретили на повороте дорог доктора, он очень пристально, и как мне показалось, с любопытством оглядел меня и потом глазами остановился на Наташе; мне показалось, что он все знает о моих чувствах к Наташе; и зная, - странно не осуждает меня. Это постепенно укореняющееся убеждение в том, что таинственное отдаление от меня Аси именно с момента моего духовного взлета и столь же таинственное появление Наташи в моем внутреннем мире в момент появления меня на земле после духовного странствия - не случаен: в нем - судьба, рок; а тут - расцветают розы; а тут - Наташа странно, невероятно хорошеет и, как мне кажется, в свою очередь влюбляется в меня, борется с своим чувством; но непреодолимая сила начинающейся страсти между нами, вспыхнувшая из внутренней переклички нас, - бросает нас друг к другу; никогда не забуду: розовый вечер; мы сидим на балкончике кафе (я, Ася, Григоровы и Наташа) в Арлесгейме; кругом - сплошные розы; розы - на домах, розы - на лугах, розы - вокруг нас; Наташа вся в белом, с букетом роз в руке; она - невыразимо хороша; и нас - тянет друг к другу; так во мне разыгралось это сидение в кафе; с этого момента - я перестал бороться с своим чувством, но я переживал себя совершенно несчастным и разбитым.

В эти дни обнаружилось, что на Mattweg жить нам всем неудобно: и Е.А. Ильиной, и нам с Асей; Е.А. сняла для нас всех общую квартиру, в Арлесгейме же, но у самой окраины, выходящей на луг, ведущий к "Bau"; в расстоянии 10 минут ходьбы от стройки находился домик, изолированный, весь в зелени, у остановки трамвая, ведущего в Базель; в будущей нашей квартире (о пяти комнатах, с кухней) - 2 комнаты брали мы, а 3 - Е.А. с братом, Н.А. Маликовым, остающимся в Дорнахе) - в будущей нашей квартире была дверь, ведущая на плоскую крышу; мы спешно перебрались с Mattweg: Е.А., кажется, временно перебралась к сестре, к К.А. Дубах, а мы перебрались пока в единственную чердачную комнатку, в каком-то домике, пока нам отделявали квартиру; квартира должна была быть готова к первому августу; ввиду нашего скорого отъезда в Норчепин мы не слишком тяготились нашей единственной чердачной комнаткой; Ася целыми днями пропадала на "Bau", а я с июля принялся за сокращение "*Петербургга*" для немецкого издания; через мою переводчицу мы договорились с издателем, Георгом Мюллером.

Никогда не забуду эти предотъездные дни, когда мы собирались в Норчепин; я сидел дома, или заходил в Арлесгеймское кафе и усиленно правил текст "*Петербургга*", иногда бросая работу и отдаваясь мыслям о Наташе; на наш отъезд я смотрел с надеждою, как на последнюю попытку забыть Наташу (о, как был бы я счастлив, если бы она не жила здесь, при "Bau"). Дни стояли бессолнечные, душные, грозные; на "Bau" обнаружилась тяжелая история: архитектор Шмидт произвел какие-то неверные "вычисления, в результате которых огромные формы, заготовленные для ваяния, надо было сызнова сделать; и кроме того: обнаружилось какие-то злоупотребления с поставкой дерева; в счета ставилось дерево первого сорта, а оказалось, что для многих, изготавливаемых деревянных форм для ваяния ставилось дерево второго сорта; при работе наталкивались на гнилые участки дерева, которые надо было вырезать из уже приготовленных форм и заменять новыми, соответственными частями, что отнимало много времени; во всем винили архитектора Шмидта, оказавшегося кроме того малодетельным, ненаходчивым; наоборот: Энглерт своим талантом, умением, вкусом и математическими способностями все более и более выдвигался в среде дорнахских антропософов. Таким образом, все складывалось к тому, что надо было по возможности мягко отстранить Шмидта от руководства постройками и отдать это руководство Энглерту; этот процесс смены правления мучительно переживался участниками работы.

Уже отстраивались три громадных портала; и стены "Bau" обкладывались гигантскими, заготовленными формами из сплошного американского дуба (разрезанного на тонкие пласты, спрессованные друг с другом, вследствие чего достигалась деревянная толща каких угодно размеров); вокруг полукруга, образованного будущим зрительным залом, увенчанным большим куполом, уже была отстроена бетонная веранда, с которой открывался дивный вид на окрестности: в ясную погоду оттуда ясно был виден Эльзас: торчали гребни Вогез; а несколько правее всегда виделись холмы Бадена; и казалось, что их - рукой подать; "Bau", обложенный еще не отработанными глыбами, казался чудовищным животным, забронированным порталами и оконными формами; резную работу на внешних стенах и порталах мы как-то упустили из виду; и вот теперь обнаружилось: нам же придется изваивать эти деревянные горы глыб.

К началу июля начали обкладывать купола норвежским камнем, пришедшим к концу июня; и теперь уже целый участок одного из куполов лазурел в пространство.

В эти дни из Италии приехал к Е.А. Ильиной ее хороший знакомый и друг, социалист-революционер, некогда сосланный на каторгу, оттуда бежавший и живший эти последние годы в Италии репетитором у детей Амфитеатрова - хороший знакомый Виктора Чернова, Савинкова и прочих революционеров; ему надоела успокоенная жизнь в Италии; он слышал о Дорнахе; и приехал посмотреть, как живут и работают антропософы; этот приезжий был Константин Андреевич Лигский; он всем нам очень понравился; понравился его приезд сюда, неизвестно зачем, на велосипеде, без гроша денег, без легальных документов; надо было его как-нибудь устроить; Энглерт стал хлопотать за него перед швейцарскими властями, поручился за него; и - даже: внес залог; но Лигскому надо было достать работу; он стал проситься работать на "Bau"; но было положено твердое правило: художественные работы могли вести только антропософы; Лигский стал просить себе черной работы; и даже: согласился гнуть железо (были такие работы, где надо было согнуть множество железных полос); с той поры Лигский стал простым работником при "Bau". Кроме того: к Н.А. Богоявленской (тоже нелегальной революционерке, ставшей антропософкой) приехал ее гражданский муж, Мордовин; и тоже помышлял вступить в Общество и работать по дереву; к этому времени русских в Дорнахе набралась целая группа; вот кого помню из русских: мы с Асей, Наташа, Поццо, Н.А. Богоявленская, Эльрам (русская немка), Пясковская (не то Лутковская, - фамилию не помню), Е.А. Ильина, К.А. Дубах, ее муж Дубах (полурусский, полушвейцарец - швейцарский подданный), Кемпер, баронесса Фитингоф, Мордовин, Лигский, Н.А. Маликов, Б.П. Григоров, Н.А. Григорова, Т.А. Бергенгрюн, Т.В. Киселева, М.В. Волошина, О.Н. Анненкова, Т.А. Полиевктова, Бразоль, А.С. Петровский, М.И. Сизов, Форсман, О.П. Костычева, Фридкина, Т.Г. Трапезников; к Ильиной иногда приезжал в гости социалист-революционер Руднев.

Наконец мы с Асей отправились в Нордчёпин; вместе с нами поехали: Григоровы, Форсман, Петровский, Сизов и Волошина.

Я не помню деталей пути; помню лишь, что проездом через Берлин нас поразила ужасная атмосфера города; стояла страшная жара; на лицах у людей была какая-то гримаса томления и бреда; едва вынесли мы берлинский день; и вздохнули свободно лишь тогда, когда оказались на Stettiner Bahnhof с билетом в кармане; помню прекрасный переезд по морю от Штральзунда до Мальме; потом мы помчались берегом Швеции; Григоровы, кажется, попутно заехали в Стокгольм; в дороге выяснилось, что в сентябре доктор читает курс в 12 лекций в Мюнхене; и мы, разумеется, мечтали на этот курс. В Нордчёпине мы остановились с Григоровыми в одном отеле; помнится, дружили с ними очень в эти дни; мы обратили внимание на то, что шведская полиция всюду вырастает перед нами; оказывается: шведы боялись русских шпионов; и появление нас, русских, в маленьком, весьма не посещаемом городке, встревожило шведских городских; но мы, признаться, не обращали никакого внимания на это; мы обратили внимание лишь на сообщения газет о покушении на Распутина.

Более всего были охвачены мы переживаниями Нордчёпийского курса, устроенного при участии графини Гамильтон, тетки нашей дорнахской Гамильтон; я не помню точного заглавия этого курса(60); но его основная идея: закон кармы в христианском взятии в связи с идеей искупления Христом; доктор удивительно показал, что идеи кармы, перевоплощения и ответственности не только не противоречат идее искупления, но прямо вытекают из нее, если эту идею углубить и выпрямить из неправильных исторических и житейских искривлений ее; опять в волнах курса переживал я как бы омытие от всего грешного и земного, чем я оброс в Дорнахе; Наташа не стояла на моем горизонте в эти дни; с Асей чувствовал я примирение; и мы гармонически переживали курс; никогда я не любил доктора такой сыновней и благодарной любовью, как в эти дни; никогда не было у меня такой благодарности к Обществу, включившему нас в свою жизнь; вообще курс связался для меня с переживанием тепла благодарности, подлинного смирения и любви; эта любовь как бы заливала все мое существо, переполняла меня; и я заставлял себя - счастливо рыдающим, неизвестно почему.

Наше повышенное настроение, вероятно, объяснялось тем, что мы были приняты на интимнейшие собрания доктором, происходившие за городом, в доме старого шведского помещика, окруженного парком (в его имении); помнится, что Форсман, которая тоже добивалась принятия на эти собрания, - принята, однако, не была; мы с Асей чувствовали неловкость перед Сизовым и Петровским, которых мы видели каждый день и которые еще приняты не были. Были в Нордчёпине еще и Е.С. И, кажется, была публичная лекция. На курс из Москвы приехала и К.П. Христофорова, чтобы тотчас же после курса уехать обратно в Россию; мы говорили с ней о том, что вероятно увидимся скоро в Дорнахе (она собиралась надолго туда приехать); увы, мы не подозревали, что события мира, скоро ворвавшиеся в жизнь каждого из нас, нас разделят; больше я К.П. Христофоровой не видел (прошло уже десять лет). После курса мы двинулись с М.В. обратно с мыслью провести день-два в Сасснице, на берегу моря, и разобраться в уединении в впечатлениях курса и интимных собраний; с нами до Мальме ехали Григоровы, хотевшие провести несколько дней под Копенгагеном, чтобы потом вернуться в Москву; помнится мне длинный

разговор с Григоровым в поезде, весьма меня утомивший; я думал: "Чего это он силится меня вразумлять: у меня иные учителя, иные руководители; непрошеного вмешательства в мой внутренний мир я не потерплю ни от кого..." Мы простились с Григоровыми несколько суше, чем следовало.

Не забуду ночного переезда из Мальме в Штральзунд; море было великолепно; взошла луна: мы сидели втроем (с Волошиной) на корме и тихо говорили о тайнах мистерий; не понравилось лишь одно: какой-то человек с неприятным иезуитским лицом все подсаживался рядом; и старался расслышать наши слова.

Весь следующий день мы провели в Сасснице; окна наших комнат выходили на море; море было невыразимого, фиалкового цвета; в небе - ни единого облачка; мы сидели на балкончике и тихо говорили о тайнах жизни; стояла невыразимая, какая-то неестественная тишина, нарушаемая только глухим рокотом орудий; это вдали происходили маневры германского флота; рокот орудий нам не понравился; что-то угрожающее слышалось в нем... Знали ли мы?..

На следующий день мы поехали на маленьком пароходике на Рюген; и посетили Аркону, место древнего славянского поселка; по словам д-ра здесь был некогда центр славянских мистерий, - а ныне - здесь стоят огромные столбы для радио-депеш; Аркона висит на громадных, белых гололобых скалах; под ней отвесно почва обрывается; это место образует мыс; кругом - зелень; граница древнего поселка отмечена зеленым, явственным валом; за ним - засеянные поля; мы забралась на самый высокий выступ над морем, сели в траву; и - как-то странно замолчали; точно далекое прошлое обступило нас; и тут передо мною отчетливо развернулся ряд ярких и совершенно невероятных образов, неизвестно откуда появившихся; - мне казалось, что образы встали из земли; вот что мне привиделось: мне показалось, что странные, могучие силы вырываются из недр земли; и эти силы принадлежат когда-то здесь жившим арконцам, истребленным норманнами; они, арконцы, - ушли под землю; и ныне, там, под землей, заваленные наслоениями позднейшей германской культуры, они продолжают развивать свои страшные подземные, вулканические силы, рвущиеся наружу, чтобы опрокинуть все, смести работу веков, отмстить за свою гибель и лавой разлиться по Европе; я подслушал как бы голоса: "Мы еще - придем; мы - вернемся; мы - уже возвращаемся: отмстить за нашу гибель!" И тут какая-то дикая сила, исходящая из недр земли, охватила меня, вошла в меня; и - я как бы внутренне сказал то, что по существу не принадлежало к миру моего сознания; я - сказал себе: "*Карта Европы изменится: все перевернется вверх дном*". И тут мне мелькнуло место будущих страшных боев, где на одной стороне сражались выходцы из недр земли, вновь воплощенные в жизнь, а на другой - представители древней, норманнской и тевтонской культуры, как бы перевоплощенные рыцари; местом боя представилась - Польша, Литва (знал ли я, что бои тут закипят уже через месяц?); и эти слова: "*Все перевернется вверх дном*" - соединились для меня с Польшей, Литвой, и с образами выпирающих из-под земли древних, некогда загубленных арконцев; тогда я попытался сознанием понять обуявшие меня предчувствия; и я сказал себе: "Это будет вероятно в далеком будущем: через сто, двести лет". Далее: я увидел, что подземные силы вырвавшихся теней прошлого из будущего грозят Европе мощным нашествием, в котором погибнет теперешний европейский мир; и тут встал передо мной совершенно отчетливо странный, как бы калмыцкий образ; это был старик, с острыми, прищуренными глазами, с большими скулами, с седенькою бородкою, сутулый, с несколько приподнятыми плечами; он был в какой-то восточной шляпе и кутался в пестрый бухарский халат; он вперял в меня свои пронзительные глаза и как бы говорил: "*Я - из прошлого: но я еще приду*". И я тут понял, что образ этого мстителя за прошлое скоро воплотится, что он, этот образ, в новом своем воплощении поведет на Европу подземные силы, ныне затиснутые под землю европейским миром; он будет виновником того, что "*карта Европы изменится*"; я прикинул головой к траве; мне послышался как бы гул подземного города, я увидел как бы площадь; и множество народу кричащего и бьющего в барабаны; на ложе лежал зарезанный некогда славянский, чернобородый витязь; теперь он очнулся, чтобы повести из-под земли на бой эти толпы диких теней и отмстить за свое прошлое поругание; и раздался крик: "Приведите белого коня..." И - привели коня; и зарезанный витязь сел на коня и повел полки против всего запада с востока России; тут я ощутил, что утес, на котором мы сидим, как бы весь разлетается под напором сил, пронизывающих его; невольно я поднял из травы голову, едва понимая где я и что со мною; мы все так же сидели на выступе; под нами был отвесный, крутой обрыв; с трех сторон бежало фиалковое море; Ася и М.В. Волошина сидели рядом со мной в полном оцепенении; и, казалось, переживали что-то. - "Как странно, как невероятно" - вырвалось у М.В. Волошиной. - "Да" - подтвердила Ася. Тогда я попытался передать им мне непонятные образы: древнего города, калмыка, витязя, белого коня; и слов: "Все перевернется вверх дном..." - "Не спроста: это - место древних славянских посвящений" - сказала М.В. - "Хорошо бы здесь, на утесе, провести ночь" - предложил я. - "Хорошо" - согласилась М.В.; но потом мы решили, что, пожалуй, лучше всего уехать, потому что невесть что может привидеться здесь(61).

Мы - уехали обратно в Сассниц; и в тот же вечер выехали в Берлин; стояла невероятная духота; Берлин казался еще чудовищней; все лица были точно оскалены, а когда мы приехали на

следующий день в Базель и вернулись в Дорнах, то нашли кантину в страшном волнении; все кричали, спорили, выхватывали из рук друг у друга вечерние выпуски газет; мы узнали об ультиматуме Австрии, предъявленном Сербии.

Так неожиданно в нашей дорнахской жизни встал призрак мировой войны; он казался столь невероятным, что мы ему отказывались верить: войны, конечно, не будет; Европа не допустит войны; так мы утешали друг друга: русские - немцев, немцы - русских.

Эти последние дни июля мне запомнились двумя событиями: переездом нас на новую квартиру к Ильиной; хозяин Шмидт (однофамилец архитектора) казался и приличен, и вежлив; к Ильиной переселился и К.А. Лигский, снискавший средства к жизни в это время своим тяжелым трудом: он гнул железо; второе событие: все резчики стали работать над оконными формами; работа была сложна и трудна; эти формы были по размеру раза в полтора больше архитектурных форм; они кончались соединением с куполом; мы составили новую группу, которой руководителем оказался баварец Штраус, весьма милый, сердечный и умный человек; кроме Штрауса на нашей форме мне помнится белокурая шведка (забыл фамилию), Кемпер и еще кто-то; мы с Асей получили левую сторону надоконной формы; работали мы на боковой стороне, на втором от начала окне; были построены высокие леса над боковой верандой; на лесах уже начинались подмости; с лесов открывался вид на кантину, на леса и горы; сбоку виделись пространства полей; в иные дни, когда воздух был ясен, оттуда проступали лиловые гребни Вогез; дни стояли жаркие и безоблачные; мы оказывались на работе уже с 9 часов утра и работали до восьмого часа; перерывом служил лишь обед, кофе, ужин.

Август.

Первые числа этого месяца протекали в бешеной работе; с такой интенсивностью еще никогда не работали, точно понимали, что скоро лучшие рабочие силы от нас отберутся; в рабочее настроение стали врывать отовсюду тревожные разговоры; на лесах появлялись листки газет; все бросались к ним: "Что нового?" Международное положение омрачалось со дня на день; за обедом работающие собирались группами; поднимались бесконечные споры о том, будет или не будет война; доктор ходил какой-то растерянный, сумрачный; иногда он подходил и мне казалось как-то беспомощно спрашивал: "Ну что вы думаете? Что ответит ваше правительство?" Раз он спросил нас: "Как вы думаете, - в случае объявления войны, будет или не будет в России революция?" Чтобы спастись от этого многоголосого антропософского гула о войне мы с Асей с какой-то удвоенной энергией рубили нашу форму. Но положение становилось все более угрожающим; была объявлена в Базеле лекция д-ра (в Базельской ложе) и вскоре после нее интимное собрание того типа, на которое мы попали в Швеции; лекции доктора не забуду; она прозвучала нам, как удар грома, потому что в ней проскользнули такие мысли(62): по-видимому, война - неотвратна; нашему движению следует запастись всеми силами и всем мужеством, чтобы с достоинством выйти из тяжелейших испытаний, в которые нас ставит судьба; через день было интимное собрание (кажется, - последнее этого типа в жизни Общества).

Мы все еще не верили, что война будет: с бешенством продолжали нашу работу; не прошло и десяти дней с начала нашей работы над оконной формой, а уже форма была сильно продвинута; с особенной яростью рубились Штраус и Кемпер; шведка тоже не отставала. И вот: помню золотеющий вечер, склоняющееся к горизонту солнце; мы после кофе с особым самозабвением работали; вдруг на лесах произошло волнение; кто-то к нам подбежал с газетным листком; Штраус протянулся за ним; прочел и, обернувшись, сказал нам: "Все - кончено: война объявлена!" Мы опустили молотки и молча поглядели друг на друга; потом Штраус с грустной улыбкой на меня посмотрел и сказал: "Ну, *Herr Bugaeff*, вот мы с вами и стали врагами..." Я вместо ответа протянул ему руку, которую он крепко пожал; к ужину мы спустились в кантину; там царило лихорадочное возбуждение, но ни одной фальшивой ноты империализма и шовинизма я не мог подметить (шовинизм вспыхнул позже); первое известие о войне, наоборот, вызвало в нас всех желание схватиться еще крепче за "*Vau*", за доктора, друг за друга. В таком состоянии мы разошлись домой; вставал вопрос, что нам делать: оставаться ли в Дорнахе, или уезжать в Россию; этот вопрос мы в тот же вечер обсуждали с Наташей и Поццо; но - куда уедешь: Германия - отрезана; остается обходный путь: либо через Англию, либо через Грецию; думалось: удачно Полиевктова за несколько дней до объявления войны успела проскочить в Россию через Германию; вместе с тем нас все уверяли: война не может продлиться более шести недель; Европа не выдержит напряжения; через шесть недель все будет кончено; стало быть: лучше это время переждать в Дорнахе.

В день объявления войны, до него, или днем позднее (не помню) какую-то бурю появился в Дорнахе Макс Волошин, заявивший, что он едва успел проскочить в Швейцарию через Австрию и теперь является последним нечистым животным, которое в дни европейского потопа должно быть принято в ковчег "*Vau*"; так он зажил в нашей дорнахской группе; скоро его можно было видеть вооруженным молотком и идущим на работу: он стал членом О-ва.

В первые же дни после объявления войны мы заметили во всем перемену; хозяин наш, Шмидт, оказавшийся немцем, стал возмутительно относиться к нам; в Арлесгейме и в Дорнахе, находящихся на границе Эльзаса и Бадена началась паника; границы швейцарские не укреплены; войско - не мобилизовано; нарушение бельгийского нейтралитета поразило, как громом, швейцарцев; говорилось, что неминуемо: либо французы, либо немцы перейдут границу Швейцарии, чтобы обходным движением прорваться: первые - в Баден; вторые - к Бельфору; дорога тех и других проходит прямо через нас; если сюда ворвутся французы, то вся местность эта будет обстреляна из Бадена тяжелыми орудиями, при этом показывали на цепь Баденских высот, отстоящих от нас в нескольких километрах; и - говорили: вся эта гряда - в пушках; от Дорнаха и Арлесгейма не останется и следов; все будет смято орудиями; мы несколько не думали о том, насколько наш дом находится под обстрелом баденских пушек; но мы думали о *"Bau"*: уцелеет ли *"Bau"*! Жители деревушек распространяли невероятную панику; они спешно закупали припасы, утверждая, что скоро будет голод, что Швейцария отрезана от продуктов и что на все время войны надо запастись провиантом; тяжелую картину представляла собой мобилизация; четверть населения Базеля и окрестностей Базеля - немецкие подданные; мужья множества семейств шли в первую очередь на войну; они ехали мобилизоваться в прибазельский поселок Лоррах, стоявший на границе Швейцарии (в Бадене), возвращались оттуда грустные: они шли на войну; еще более грустную картину представляла собой стройка, оттуда все немецкие рабочие шли немедленно на войну; и наши лучшие силы, наши резчики - Вольфюгель, Гайер, Митчер, Штраус забирались тоже; многие старались бодриться, с веселыми шутками прощались они с нами; но под этими шутками чувствовалась грусть; брали и Шмиделя; Штрауса брали братом милосердия и он спешно записывал у нас русские слова на случай, если бы его отправили на восточный фронт и ему пришлось иметь дело с русскими ранеными; из русских пока никто не был взят; под угрозой был один Бразоль, через 2 месяца забранный и отправившийся отбывать военную службу во Францию.

У всех отправляющихся на войну я подметил одну черту: глубокую грусть, повторяю: о шовинизме не было и помину в эти дни.

Несмотря на суету первых дней войны мы удвоили с Асей нашу работу на оконных формах; и это чувство повышенной работы охватило всех присутствующих; мы сознавали: лучшие рабочие силы уходили от нас; и в будущем предстоял отлив мужчин и барышень; поэтому мы, немногие мужчины, особенно старались рубиться на оконных формах; Петровский и Сизов работали с невероятной интенсивностью; появился со стамескою в руке на лесах и Трапезников; с того времени он стал заправским рубакой до своего отъезда в Россию (в 1917 году); Наташа в эти дни специализировалась у Рихтера на цветном стекле; кажется, она работала на красном стекле; его разбила и ходила совершенно подавленная и удрученная (а, может быть, это случилось и позднее). В те дни в Дорнахе вырастает как-то фигура покойной Штинде; всюду она оказывается распорядительницей, всех поддерживает и умно вмешивается во все внутренние дела *"Bau"*.

Через несколько дней после объявления войны, - помню, мы окончили работу ранее срока (часа в 4); и спускались со стройки, прислушиваясь к странному явлению: к грому (короткому и глухому) без туч; звуки исходили со стороны Эльзаса, там даль казалась в легкой темной дымке; под собою мы увидели стоящего на дороге доктора; он - тоже прислушивался к грому; что-то осенило нас, мы поглядели друг на друга и ничего не сказали друг другу; доктор нас остановил: "H?ern sie?" - спросил он нас. - "Ja, Herr Doctor". - "Das ist Kanonendonner" - сказал он; и мы втроем стояли и смотрели в даль, по направлению к Эльзасу; теперь оказывалось, что, может быть, легкая, темная дымка у горизонта - орудийный дым. Это вторжение звуков войны в нашу мирную долину показалось мне безумием; до этого момента мне думалось: "Война - где-то там". А она - придвинулась к нам; казалось, - мы охвачены ею. Всю дорогу до дому мы прислушивались к усиливающейся канонаде; Арлесгейм был охвачен паникою; на улицах стояли кучки и возбужденно обсуждали положение вещей; дома мы узнали, что французы ворвались в Эльзас и взяли Мюльгаузен; бой теперь происходил у Дюнкирха, отстоящего от нас весьма недалеко.

На следующий день Арлесгейм, Дорнах и даже стройка были охвачены настоящею паникою; выяснилось военное положение; французский корпус, занявший Дюнкирх, был выбит из него, отрезан от армии и приперт к самому Базелю; он окружен со всех сторон немецкими войсками; французов видели в прибазельском поселке S.Louis; и - явствовало, что этому-етрезанному корпусу остается или сложить оружие, или перейти швейцарскую границу, совершенно неукрепленную и без войск, заняты Базель и итти нашей дорогою (Базель-Арлесгейм-Дорнах), чтобы западнее пройти к Бельфору; в газетах стояли заголовки: *"Бой под Базелем"*; канонада гремела; власти известили население, что в случае нарушения нейтралитета все трамвайное и железнодорожное сообщение прекращается; железные дороги и трамваи должны были эвакуировать казенное имущество; жителям же предлагалось спасаться в горы, обступавшие Дорнах и Арлесгейм, через высоты Гемпена, нависавшие над *"Bau"*; говорили, что на Гемпене появилась тяжелая артиллерия швейцарцев; отсюда начнется швейцарское сопротивление; вся же территория до Гемпена (Дорнах, Арлесгейм, Эш) должна быть эвакуирована при первых звуках

набата; мы узнали, что Энглерт, как инженер, был спешно вызван минировать швейцарскую границу; Дубах, как швейцарский подданный, был спешно мобилизован; Швейцария объявила мобилизацию.

Весь этот день казался нам просто бредом; на улицах голосили швейцарки и немки; из сараев выкатывались тележки, на них складывалось имущество, чтобы все это тащить в горы в случае необходимости; помню, что я был по какому-то делу в этот день в Обер-Дорнахе; и помню, что какая-то костлявая женщина совершенно бессмысленно вопила: "Французы - травят колодцы с водой" (очевидно эти слухи распускались немцами); в кантине господствовала та же сутолока; туда сбежались все старые антропософские тетки, растревоженные своими хозяевами; стоял гвалт; передавался миф об отравленных колодцах; наконец, среди этой возбужденной толпы появился Гросхайнц; и почти прикрикнул на теток словами: "Вы находитесь на швейцарской территории и находитесь под законами этой территории: читали ли вы о том, что кто сеет панику, тот подвергается суровой ответственности?" Окрик Гросхайнца несколько смирил теток; скоро среди нас появился доктор; он расхаживал среди столиков и успокаивал теток, но был грустен; а канонада гремела; положение оставалось невыясненным; никто в этот день не работал на стройке; к вечеру нам объявили, чтобы мы на ночь приготовили дорожные сумочки, приготовили документы, деньги и самое необходимое в дорогу; если ночью будет набат, то мы должны были все собраться в кантону и оттуда вместе с доктором двинуться в горы; вечером мы стояли на нашей крыше и прислушивались к все усиливающейся канонаде; стекла дребезжали в окнах; одна сторона неба была подернута отчетливой дымкою: говорилось, что это - пушечный дым; мы пили чай на плоской крыше; кажется, в гостях у нас была Анненкова.

Спали же не раздеваясь в ту ночь.

На следующий день население несколько успокоилось; появились в окрестности первые отряды швейцарских войск; они расположились в полях; в Арлесгейме солдаты заняли здание детской школы; появились всюду лошади; солдаты их чистили скребницами; забил барабан; со всех сторон Швейцарии гнали в наш угол войска; канонада к вечеру стихла.

А на другое утро узнали мы, что непосредственная опасность прошла; французский корпус, прижатый немцами к Базелю, прорвался и соединился с французскими войсками; пушечный гром глухо гудел уже в глубине горизонта; появился с границы Энглерт и сказал, что граница минирована и что опасность нарушения нейтралитета прошла. Мы уже знали, что от нас непосредственно граница Эльзаса находится в 15-ти километрах.

В ближайшие дни мы опять появились на лесах и с прежней энергией принялись за работу; мне досталось выравнять слегка выгнутую плоскость, соединяющую оконную форму с куполом, а потом перейти к низу оконной формы и производить то же равнение; на соседней форме работала О.Н. Анненкова; и к вечеру мы, сидя на досках и озирая окрестности, мирно разговаривали о событиях нашей жизни; погода стояла прекрасная; вечера были прозрачны; иногда лишь глухую угрозой врывалась в тишину отдаленная канонада; взойдя выше "*Bau*" на высоты, ведущие к Гемпену, говорят, по вечерам можно было видеть шрапнельные огоньки; и базельская публика приезжала вечером на них смотреть; со всех сторон нагнали войска; войска стояли на постое и в Арлесгейме, и в Дорнахе; порою по улицам Арлесгейма и по дороге мимо "*Bau*" проходили нескончаемые вереницы швейцарской пехоты; на лугах за Дорнахом по направлению к Эльзасской границе были расставлены пушки; всюду можно было видеть отряды швейцарских кавалеристов с высокими, белыми султанами; в долине между "*Bau*" и Арлесгеймом несколько месяцев были расставлены повозки и фуры военно-телеграфного парка; всюду летали солдаты велосипедисты, развозя приказы; а над "*Bau*", на гребнистых высотах Гемпена, в расстоянии получасового подъема в горы, была расставлена тяжелая артиллерия; и оттуда, с гор, опускаясь к Дорнаху по вечерам, валили толпы солдат-артиллеристов, - мимо кантины, где мы собирались к ужину; вечерами на улицах Арлесгейма разгуливали толпы солдат, задевая прохожих девушек; словом, - мы оказались в самом центре военной полосы; в эти дни в присутствии доктора наши докторши (Фридкина, Костычева и другие) учили всех желающих делать перевязки; мы сперва косились на солдат с удивлением озирающих "*Bau*" и толпящихся у загородок пространства, отведенного постройкам; здесь были груды щепок и легкого, воспламеняющегося материала; солдаты же всюду разбрасывали окурки; от одной искры при такой суши мог вспыхнуть пожар; поэтому, - мужчины-резчики, мы собрались на специальное собрание в кантину и обсуждали меры к охранению "*Bau*" на случай пожара, и для предотвращения всех возможных хулиганских выходов; помнится, что очень много ораторствовал и кипятился старик Вегелин; на собрании было решено: не удовлетворяться сторожем, охраняющим "*Bau*", но разделить все мужское население антропософское на соответствующие смены, человек по 10 для охраны "*Buu*" по ночам, а также выставить дневную антропософскую охрану к двум входам на постройке (около виллы Гросхайнца), а также со стороны кантины. Был выбран комендант (я забыл, кто именно); "*Bau*" был осмотрен со стратегической точки зрения, в случае нападения на него ночью хулиганов; установились вахты; каждую ночь известное количество мужчин ночевали в "*Bau*" (ежедневно список "*вахтеров*" был вывешен в кантине); в 8 часов партия вахтеров являлась на "*Bau*" и

дежурила там до 6 часов утра, - час, в который появлялись рабочие; в партии вахтеров имелось несколько револьверов; начальник партии пребывал в конторе, около телефона; партия же разбивалась на две смены; пока одна смена спала, другая смена рассыпалась по разным сторонам пространства, занимаемого строениями; один сторож ходил по веранде "Bau", озирая окрестности; другой, с фонарем обходил бесконечно большие пространства "Bau" внутри т.е. лабиринт комнат подвального этажа, где помещались художественные мастерские; переходы, коридоры и комнаты первого этажа, будущие кулисы, где стояли декорации к 4-м мистериям доктора, шкафы с костюмами, бутафорией и инструментами, обходил второй этаж, т.е. сцену и зрительный зал, комнаты боковых порталов, поднимался на леса к большому и малому куполу; третий вахтер обходил пространства сараев, мастерских, где хранился ряд машин и деревянных форм; четвертый вахтер сторожил ту часть отгороженного пространства, которое начиналось от дома Гросхайнца, шло мимо домика Рихтера и приводило к правому, северному portalу; пятый вахтер пребывал на большом отгороженном пространстве за сараями, где были свалены громадные пирамиды деревянных щепок, которыми впоследствии мы отапливали всю зиму наши печурки; у вахтеров были свистки; каждый день выбирали свой пароль и лозунг; антропософская молодежь вносила в эти вахты нечто вроде игры в солдаты; не забуду первой вахты: в ней было так много фантастического; я сидел на громадной горе щепок в пространстве за сараями; передо мной луной лазурели и фосфорели два громадных купола (я забыл сказать, что купола уже к тому времени были обложены камнем, отражающим цвет атмосферы: солнечным днем они были лазурно-зелеными, в туманные дни - темно-свинцовыми; на луне - фосфорическими); была чудная летняя ночь; спать было невозможно; и когда наша партия отдежурила, то, разумеется, мы не пошли спать, а всю ночь, собравшись кучкой, проговорили, не давая покоя ни Гросхайнцам, ни Рихтеру; ночи были мирны; вахтеры производили шум на всю окрестность; поэтому количество их стали быстро сокращать: с десяти до пяти; с пяти до двух; двух вахтеров из антропософов при третьем, т.е. при постоянном стороже, оказалось вполне достаточно для охраны "Bau"; дневные вахты, особенно по праздникам, казались более целесообразными, потому что наплыв солдат и их праздная циркуляция была непрерывна около "Bau"; постоянно подходили кучи солдат и просили, чтобы им показали стройку; раз чуть было не произошел инцидент на этой почве, который мне пришлось случайно предотвратить; я только что был в кантине, где после работ роилась антропософская публика; сюда пришел доктор (со времени объявления войны он часто стал появляться в кантине) и с кем-то разговаривал; зачем-то я пошел на стройку и у входа застал следующую картину: толпа солдат, человек до ста, настойчиво просила показать "Bau", а Гейдебрандт, стоявший на вахте у входа, категорически отказывал и как мне казалось в резкой форме; солдаты же требовали впуска и уже начали напирать на загородку; количество их все прибывало, и я подумал, что если не принять тотчас же меры к ликвидации инцидента, вызванного бестактностью Гейдебрандта, то толпа насильно ворвется; поэтому я весьма решительно отстранил Гейдебрандта и распахнув калитку перед солдатами, сказал им: "Пожалуйста, - только подождите минутку: я позову человека, который вас проведет по стройке". Я увидел, что Гейдебрандт возмущился моим самочинством и стал перечить, но - поздно: толпа уже врвалась в пространство стройки; я еще раз крикнул ей: "Ein Moment", а сам со всех ног бросился вниз, - по дороге в канину, к доктору; доктор, увидев меня, бегущего со всех ног, быстро пошел ко мне навстречу со словами: "Was ist geschehen?" Я, запыхавшись, объяснил ему быстро, что надо немедленно послать кого-нибудь сопровождать солдат, кто бы был с ними любезнее, а то может произойти инцидент, могущий в будущем привести к печальным последствиям; д-р сразу понял, в чем дело, и, поблагодарив меня за "самоуправство", быстро пошел сам к толпе солдат, ласково заговорил с ними и повел их показывать все детали постройки; он долго водил их, водил по лесам, объяснял формы; мы с Гейдебрандтом сопровождали его; солдаты, которые сперва были возбуждены упорством Гейдебрандта, скоро просияли, вели себя подчеркнуто осторожно, не курили, восхищались "Bau"; было что-то детское в этой толпе, с разинутыми ртами смотрящей на гигантские колонны и отовсюду протягивающей головы к доктору; они ушли довольные; тогда решили, что 2 раза в неделю в определенные часы все желающие могут осматривать "Bau" под руководством антропософов; в эти часы собирались кучи солдат и их водили; неоднократно водил я; "Bau" производил сильнейшее впечатление на солдатскую публику; и эта публика держала себя с большим тактом. Так с квартирующими в окрестностях войсками установились прекраснейшие отношения. Антропософы хвалили меня за мое "самоуправство", в первую минуту столь раздражившее Гейдебрандта.

Когда первое возбуждение, вызванное войной, улеглось в нашем дорнахском быте и стали доходить известия с фронта о действиях немцев в Бельгии, о разрушении жилищ, обстреле соборов, то начали разгораться страсти в нашей дорнахской группе; русские возмущались поступками немцев, а немцы, опьяненные своей прессой, находили этим поступкам оправдание; на этой почве происходили непрерывные все крепнущие споры, начавшие уже переходить в ссоры; немцы точно сбесились; особенно - женщины; нам, русским, они начали доказывать, что для нас, русских, выгоднее, чтобы победила Германия, что корень войны - Англия; нас, как

русских, конечно такие речи глубоко возмущали и мы выдвигали против немцев тот аргумент, что они, представители "*Ich-Bewusstsein*", должны бы восстать против ужасов войны, а они их оправдывают; на это следовали ответы, что "*Not hatt keine gebot*"; это особенно возмущало меня, и я начинал указывать, что не антропософам оправдывать насильственный захват Бельгии; присутствующие при спорах этих поляки, Седлецкая, ее муж, художник, приехавший недавно в Дорнах, поддерживали меня; тогда немцы стали меня уверять, что во мне действует самый элементарный биологический шовинизм, что вся Россия отравлена славянофильством и учением Данилевского; я доходил до белого каления и кричал, что это неверно, что это - досужий вымысел; но немцы были убеждены, что Herr Bugaeff поддался грубому шовинизму; меня же более всего бесило то обстоятельство, что немцы видя "*сучок*" шовинизма во мне, не видят "*бревна*" своего собственного атавизма. Маликов, Волошин, Анненкова, Поццо принимали участие в этих спорах; Ася же с поразительной для меня холодностью относилась к словам немцев, меня столь возмущавшим; уже в кантине явственно отметились национальные столики; немцы держались вместе, поляки - вместе, русские - вместе, англичане - вместе; прежде не было этого разделения на нации в кантине; теперь оно началось; и оно - углублялось.

Три инцидента, свидетельствующие о немецкой бестактности, совершенно взбесили меня; один заключался в том, что почтенная кроткая в обычное время старушка-немка, которую я любил всей душой и которая прежде отличалась антропософской выдержкой, однажды пробегая мимо меня, с радостной доверчивостью мне бросила, забыв, что я русский: "Наши цеппелины летали над Парижем", на что я, свирепо нахмурившись, ей отрезал: "Жалею, что в варварстве войны погибнет Notre-Dame!" Она покраснела и сказала мне: "Ах, простите Herr Bugaeff; я забыла, что вы - русский". Я ей ничего не ответил, подумав: "В данном случае я говорю не как русский, а как, хотя бы, немецкий пассивист". В другой раз я пришел в совершенное бешенство, узнавши, что при Волошиной один из наших, тупой и грубый малый, бросил такую фразу: "*Пойду на войну убивать этих русских свиней*". Я огласил этот факт в кантине и кричал публично: "Покажите-ка мне эту грубую свинью: я покажу ему, как оскорблять русских дам". "*Свинья*" действительно испугалась меня; и обходила при встречах; третий инцидент заключался в следующем: в кантине стали продавать в пользу красного креста какую-то немецкую шовинистическую брошюру; меня возмутило, что в нейтральном месте, где встречались русские, французы, англичане, поляки, австрийцы и немцы, продаются брошюры, пропагандирующие немецкую военщину; я подошел к столику, взял брошюру, прочел ее заглавие и швырнул ее обратно австрийскому антропософу с словами: "Удивляюсь, что здесь, в нейтральном месте, в А.О., ведется немецкая агитация". Австриец злобно покосился на меня; но брошюра была немедленно убрана.

Я действовал так сознательно, ибо я хотел добиться одного: чтобы о войне или вовсе не говорилось, или говорилось в духе подлинного пассивизма; мой пассивизм был налицо - в факте моей ежедневной работы вместе с немцами-резчиками; я продолжал отрабатывать нашу оконную форму, поступившую в безответственное распоряжение Аси после отъезда Штрауса на войну; с немцами я охранял "*Bau*", с немцами принимал участие в выработке деталей жизни при "*Bau*"; я мог требовать от них братской деликатности по отношению к нам, русским, во имя доктора, "*Bau*" и антропософии; мы, русские, были оторваны в этот миг от России, а они находились на границе Германии; и могли каждую минуту по желанию вернуться на родину; меня удивляло, что этого Ася не понимает: мое поведение - просто элементарное поддержание чувства собственного достоинства, не позволяющего, чтобы тебе наступали на ноги; Ася упрекала меня в шовинизме, не уважала во мне русского и, как мне казалось, унижалась до согласия с немецкими бреднями; в эти дни я сильно страдал от сознания, что Ася душевно и духовно предала Россию прусскому милитаризму; это было не так, конечно; но выходило, что - так, раз она откровенно желала России поражения.

Доктор в эти дни уехал в Германию(63); М.Я. Сиверс нас приглашала на чай; и за чаем высказывалась за Германию; мне это свидание оставило горький след; я увидел, что и она заразилась прусским милитаризмом (доктор держался по отношению к всем нациям с безукоризненной корректностью, но я подозревал, что и он в глубине души задет общим угаром). Мое положение в Дорнахе становилось нестерпимо-мучительным: я тосковал по России, ненавидел не самих немцев, а отвратительный налет шовинизма на них; я страдал, что меня так не понимают, считают шовинистом; страдал за Асю и от Аси; к этому мучительному состоянию присоединялись странные поступки Наташи (до сих пор не знаю, прав ли я, или это все пригрезилось: Наташа впоследствии уверяла, что пригрезилось; но я сильно сомневаюсь, чтобы это было так); Наташа буквально нападала на меня в те дни со своим очень низменным кокетством, умело, рассчитанно растрavляющим мою чувственность, которая под влиянием этого нападения вдруг снова вспыхнула во мне; я боролся с нею, как мог, а она точно нарочно: появлялась у нас каждый вечер и отчаянно кокетничала со мной; я спрашивал себя: "Неужели Ася не видит происходящего? Не может быть: видит, но - равнодушна. Ей нет дела до моих переживаний; она - бросила меня на произвол судьбы". И я впадал в мрачную угрюмость и в замкнутость.

Вечерами, вернувшись после работы, я чувствовал холод и одиночество; Ася замыкалась в себя, а я выходил в общую кухню (нашу и Ильиной) и присутствовал при сборище русских; за ужином у Ильиной собирались: Н.А. Маликов, К.А. Лигский (живший с нами), К.А. Дубах; часто забегали: Фридкина, Мордовин, Фитингоф, Богоявленская и Костычева, и поднимались нескончаемые разговоры; я громил шовинизм антропософов; во время этих разговоров я близко сошелся с К.А. Лигским.

Иногда на нашу половину с Асей заходили: Петровский, Сизов иль Трапезников; стали заходить Седлецкие; часто бывали: О.Н. Анненкова и Волошин, приносящий свои эскизы; чаще всего бывали Поццо. И это было источником моих мучений; я не выносил Асю и Наташу вместе; мне казалось, что обе они, завладевши каждая половиной моей души, измучивали душу.

Так мрачно окончился август.

Сентябрь.

Продолжается та же странная жизнь. Мы начинаем привыкать к быту военного времени; я с Асей работаю на внешних стенах (около входа в правый портал); но в общем я мало бываю в "Bau"; более сижу дома; концентрируются мои странные отношения с Наташей; я часто бываю у нее; и между нами крепнет дружба; стоят теплые золотые дни; -д-р уезжает в Германию; Мария Яковлевна по субботам читает нам курс: "Миссия отдельных народов". По-прежнему хожу на вахты; очень много занимаюсь схемами и раскраской их; ко мне часто приходит Максимилиан Волошин, знакомится с моими схемами и учит растирать краски; появляется в Дорнахе фрау Поольман-Мой, бывает у нас; обнаруживается наше несогласие во взгляде на д-ра Штейнера; оказывается, что она с Эллизом поселилась где-то под Базелем; оба они уехали из Германии; к концу месяца мне особенно тягостно, неуютно; я начинаю писать дневник, из которого впоследствии вышел материал моих кризисов.

Начинает выясняться мое положение материальное: "Сирин" находит возможность несмотря на войну посылать мне деньги за предположенное издание моих сочинений.

Погода портится; наступает туманная и дождливая осень; на сердце грустно; страсть к Наташе усиливается: я проклиная свое чувство к Наташе, мучаюсь угрызением совести; со мною происходит страшный сердечный припадок; я думаю, что это - ангина; меня начинает лечить Фридкина; выясняется, что это сердечный невроз.

Октябрь.

Первая половина октября проходит под знаком все повторяющихся сердечно-нервных припадков, мучительных переживаний, связанных с Наташей, разговоров о войне и впечатления от лекций вернувшегося из Германии д-ра Штейнера, который прочитывает нам о культурах Франции, Италии, Англии, Германии, России(64); он старается говорить положительно о каждой из культур; и эти лекции вносят значительное умиротворение в настроение различно национальных групп, соединенных вокруг "Bau". Шовинистическая лихорадка в нашей среде начинает ослабевать; я снова выползаю на "Bau"; Ася усиленно начинает работу на стеклах в рихтеровском домике, продолжая свою работу на дереве; она покидает меня на целые дни; целыми днями я работаю у себя: пишу схемы, готовлю отчеты д-ру и разрабатываю тему "*Кризиса жизни*" вчерне. По вечерам очень часто у нас бывают Седлецкие (муж и жена); они сильно настроены против немцев; особенно он; у нас бывают: Сизов, Петровский, Волошин, Поццо, Фридкина, О.Н. Анненкова и другие; вечерами в кухне нашей собираются все обитатели нашей квартиры (я, Ася, Е.А. Ильина, Н.А. Маликов, К.А. Лигский) и происходят длиннейшие разговоры о войне, России и Германии, об антропософии, о докторе; к нам в кухню очень часто заходят: К.А. Дубах, Н.Н. Богоявленская, Фридкина, бар. Фитингоф, Петровский, Костычева, присоединяясь к разговору; образуется своего рода клуб; Асю утомляют эти "клубные" разговоры; она удаляется к себе; между нею и Е.А. Ильиной намечается некоторое охлаждение.

После напряженнейшей летней и осенней работы при "Bau" наступает некоторое затишье в работе (у работающих оказывается переутомление); внутри отстраиваемого зала воздвигают леса; перед этим леса были сняты; и мы увидели архитравы, над которыми мы работали летом - под куполом; д-р нас, резчиков, собрал и дал характеристику каждой архитравной формы, указав на дефекты работы; нами отработанный архитрав (Марса) он хвалил; когда леса были поставлены, мы должны были приняться вновь за работу: отделявать *начисто* архитравы под куполом. Эта работа и началась с ноября. В октябре О.Н. Анненкова внезапно уехала в Россию.

В течение октября месяца мы дважды были у доктора, на его Villa "*Hansi*"; он принял меня и Лею, как учеников; я пришел к нему с целой папкою раскрашенных схем, которые готовил ему в течение всей зимы 13-14 года и осени; д-р очень хвалил меня за схемы, вообще был невероятно кроток и добр, подбодрял меня, улыбался и говорил про мое сердце, что оно - совершенно здорово; что мои сердечные припадки есть показатель не органической болезни, а внутреннего развития; другой раз нас с Асей позвали к д-ру и М.Я. пить чай и ужинать; доктор и на этот раз был крайне

любезен со мною; мы просидели у него целый вечер; я рассказывал о России, о Мережковских; д-р принес к столу гравюры Кунрата и объяснял некоторые из них(65).

В этот месяц случилось несчастье: воз с кладью, направлявшийся в "Bau", опрокинулся, задавив ребенка, сына одной антропософки, в тот самый момент, когда д-р читал нам лекцию.

Между тем: среди нас стали появляться фигуры в черных платьях; это были матери, сестры и жены уже убитых на войне; появилась вся в черном жена огородника (антропософы развели на склоне "Bau" свой собственный огород); появилась вся в черном Freulein von Heidebrandt (впоследствии учительница Вальдорфской школы); война бесшумно шныряла среди нас; то и дело мобилизацией вырывались работники при "Bau": тот ехал в Германию, этот - во Францию; уехал Лихтфогель, стал исчезать д-р Унгер, работавший в Штутгарте по мобилизации промышленности; взяли инженера Бразоля (на французский фронт); война напоминала о себе пушечными перекатами, глухо раздававшимися с горизонта. Я с жадностью зачитывался газетами: начавшиеся успехи русских, взятие Львова, меня крайне возбуждали; и я удивлялся равнодушию Аси к войне; вообще: равнодушие, холодность Аси меня угнетали; расхождение наше с ней, столь углубившееся в годах и приведшее к разрыву, сильно подчеркнул ось в ту именно осень.

Иногда, совершенно удрученный, я отправлялся в Базель; и начинал там сиротливо бродить по улицам, в холодном осеннем тумане, бесцельно забирался в "Кино". И тупо созерцал мелодрамы и фильмы с фронта; какое-то гнетущее чувство преследования охватывало меня; мне казалось: за мною кто-то следит; однажды подойдя к окну у себя дома и рассеянно вглядываясь в заоконный туман, я увидел человека с седой бородой, остановившегося перед нашим окном; он заметил меня за оконным стеклом, ехидно улыбнулся и подмигивая поклонился; потом он, не оборачиваясь, пошел в туман; в его улыбке, в кивке было что-то нехорошее; точно он подмигивал мне на мои душевные сомнения; это появление неизвестного человека воспринял я, как знак какого-то надвигавшегося на меня несчастья.

Ноябрь.

В первых числах ноября Наташа Поццо получила неожиданно письмо от Метнера; он оказался в Цюрихе; война застигла его в Германии; не знаю, каким путем он выкарабкался из Германии; в Россию он не захотел вернуться и выбрал местом жительства нейтральную Швейцарию; с Метнером соединяли нас всех старинные отношения; меня особенно соединяла дружба 1901-1911 годов, совместная работа в "Musaеete" и - встреча с Минцловой; разъединяла ссора с "Musaеетом" (по поводу эллисовской брошюры "Vigilemus"); лично я разорвал с ним все с осени 1913 года. Наташа, получив письмо Метнера, отозвалась горячо на это письмо; она сказала: "Еду в Цюрих к Эмилию Карловичу". Вернулась она из Цюриха возбужденная и радостная от встречи с Метнером; она стала между мною и ним, как примирительница; скоро Метнер приехал к Поццо (в конце концов - ко всем нам); я, Сизов, Петровский, Ася - встретились дружелюбно с ним; он казался очень милым, хотя и сконфуженным, признаваясь, что им написана книга против доктора, именно: против освещения Штейнером Гетеанства(66). Я заявил, что мы не фанатики и что если понадобится, мы ответим печатно же на его книгу и эта наша идеологическая полемика не помешает нашим личным отношениям. Весь ноябрь и декабрь окрашен частыми появлениями из Цюриха Метнера; мы встречались миролюбиво и весело; много спорили о докторе, вспоминали прошлые годы, общих друзей: Метнер много нам рассказывал об Эллизе и Frau Поольман, живших под Базелем (с Эллизом я не встречался); и мы удивлялись, что волей судьбы в час мировой войны мы, три бывших соредатора "Musaеета" оказались в одном пункте почти (Цюрих от Базеля в расстоянии двух часов езды)(67)жду тем: из Москвы нам прислали книгу Метнера и я принялся старательно ее изучать; меня потряс тон книги: желчный, злой, нападательный; я видел, что первая книга в России о докторе Штейнере рисует доктора в ужасном, искаженном виде; и я понял, что оставлять такую книгу без ответа нельзя; я поставил это на вид Сизову, Петровскому, Волошиной; говорил, что я был бы счастлив не писать ответа Метнеру, если бы кто-нибудь (например - Сизов) взялся за ответ; но никто не взялся; и я понял, что ответ придется писать мне; я посоветовался с Марией Яковлевной (помню, что был на Villa "Hansi" по этому поводу); М.Я. советовала мне взяться за ответ; но взяться за ответ было особенно трудно: я никогда не штудировал естественно-научных сочинений у Гёте; вообще не был гётистом (Метнер же был старинный гётист); кроме того: я не читал книг доктора о Гёте, ни - вводительных статей к Гётеву тексту. С ноября я раздобываю все, написанное доктором о Гёте, раздобываю томы Кюршнеровского издания "Naturwissenschaftliche Schriften" Гёте(68)инимаюсь изучать Гётев текст, примечания доктора, вводительные статьи и его книги, посвященные Гёте(69)ду тем, Метнер надо мною посмеивается: "Пишите, пишите: вы можете со мной полемизировать в смысле опровержения моих антропософских экскурсов, но лучше не касайтесь моего понимания Гёте; предупреждаю вас, - вам не справиться". Между тем по мере моего углубления в текст Гёте и все примечания доктора, по мере сличения этого материала с высказыванием Метнера; мне выясняется, что Метнер при критике штейнеровского гётеанства не использовал более 3/4 материала, написанного доктором о Гёте; легкомысленность книги Метнера меня начинает просто

потрясать. Вместе с тем передо мною развертывается впервые грандиозная картина миром еще не понятого Гётева естествознания; и еще более меня потрясает углубленное взятие Гёте доктором; я начинаю впервые понимать гетеанские корни антропософии и упираюсь в проблемы "Философии Антропософии". Весь ноябрь и декабрь проходят в глубоком познавательном восторге перед новой, развертывающейся передо мною картиною: гносеологической правоты позиции Штейнера; моя мысль напряженно, усиленно работает: я перечитываю книги доктора: "*Rötsel der Philosophie*", "*Philosophie der Freiheit*", "*Wahrheit und Wissenschaft*", "*Grundlinien der Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung*", и другие(70) Временно книга Метнера отступает на второй план; я усиленно разрабатываю свой собственный подход к философии антропософии, к гетеанству, к гетеанству Штейнера и передо мною начинает вырисовываться связанная картина воззрений; но я знаю, что эту картину воззрений я поверну на Метнера, как таран.

При встречах с Метнером я чувствую некоторую неловкость, ибо я знаю, что я оттачиваю сильное оружие против него; о моей будущей книге мы с ним посмеиваемся; он шутит: "Пишите, пишите!" Но в этом тоне взаимной шутливости чувствуется напряжение и отсутствие взаимного доверия; отношения наши остаются лишь внешне дружескими; я ощущаю, что наша дружба с ним подорвана и что не хватает лишь внешнего повода к тому, чтобы она рухнула окончательно. Между тем: Метнер как-то протянут к антропософам в этот период; он удивляется нашему правильному отношению к войне (неприятю ее) и к "*союзникам*"; мы ведем с ним долгие, философские разговоры, водим на "*Bau*", собираемся даже его познакомить с Штейнером.

Я вновь начинаю работать при "*Bau*", под куполом, на архитравах; мы "*начисто*" отработываем формы, отработанные летом (наш "*Марс*"); кажется, в этот месяц заканчиваются вчерне три огромных деревянных формы над тремя порталами; на главном портале работает главным образом группа немцев; на правом портале работает Сизов; на левом группа, состоящая из Петровского, Трапезникова, Гюнтер, Хольцлейтер и Кучеровой. Ася много уделяет времени работе на стеклах; и прилежно занимается эвритмией под руководством Киселевой, ставшей теперь учительницей эвритмии в Дорнахе; в ее группе мне помнятся, кроме Аси: Наташа, Богоявленская, Гроосс, Айзецтрей, две барышни Лёв и другие. С Асей продолжается мое расхождение. С Наташей у меня стиль влюбленной дружбы.

Этот месяц мне гораздо легче: работа на архитраве и серьезные познавательные переживания (изучение Гёте и философии Штейнера) оттягивают мое внимание от многого] тяжелого, что живет в моей душе.

Мордови уезжает в Россию; Волошин начинает тяготиться Дорнахом, его тянет в Париж; он разрабатывает проект будущей занавеси, долженствующей отделять стену от зрительного зала при "*Bau*".

Декабрь.

В декабре начинает как будто крепнуть стиль дорнахской жизни военного времени; люди приспособляются к войне; мы уже вполне привыкаем к расквартированным войскам в Дорнахе и Арлесгейме, привыкаем к ежедневной канонаде, слышной с границы; жители Арлесгейма и Дорнаха успокаиваются: нейтралитет Швейцарии не будет нарушен; мобилизованные швейцарцы, наши члены, появляются среди нас опять; антропософки начинают развивать свою деятельность; поднимается интенсивность работ; начинаются репетиции эвритмической группы, собирающейся к Рождеству поставить в одном из лесопильных сараев, освобожденном от машин (столярные работы закончены) и превращенном в постоянную аудиторию, - эвритмические номера; в сарае строится подиум, появляются скамьи для зрителей и занавес; русские в свою очередь готовят д-ру рождественский номер: прославление звезды; хор и эвритмические фигуры, живописующие рождественское: "Христос рождается"; готовится огромная бумажная форма звезды (изнутри зажженная), на большой палке; происходят спевки хора и репетиции эвритмисток; вся группа участников - русские; в хоре приняли участие между прочим Трапезников, Маликов, Лигский, Сизов, Кемпер, Поццо; в эвритмической группе: Ася, Наташа, Богоявленская, Фридкина, Киселева, Волошина; мы с Асей задолго до рождества добываем елочку; я привожу из Базеля разнообразные елочные украшения (шары и серебряную канитель); задолго до рождества наша комната прибрана и украшена елкой.

Я продолжаю упорнейше заниматься Гёте и комментариями к Гёте докторами все более удивляюсь тому, что вся книга Метнера построена на разнос книги Штейнера "*Goethes Weltanschauung*", являющейся лишь внешней экспозицией его взгляда, внутренне обоснованного огромным количеством детальнейших комментариев, длиннейшими вводительными статьями (вводительная статья к Гётевой биологии одна - превышает размерами все "*Goethes Weltanschauung*"; я выдвигаю Метнеру вопрос, как он мог не

ознакомиться с таким пенным материалом; Метнер отвечает легкомысленно, что он это сделал сознательно; во мне крепнет решение не пощадить его в своей книге - тем более, что я наткнулась в его книге на ряд грубейших промахов и относительно понимания Гёте; так, он превратно толкует идею у Гёте, грубейше смешивает учение о прототипе с учением о протофеномене; все это я

решаю отметить в своей книге, т.е. решаю не только оборонять гётизм Штейнера от его наскоков, но и уничтожить метнерово понимание Гёте; знаю, что этого Метнер мне не простит никогда; тем труднее мне с ним дружески встречаться; точно предчувствуя мои намерения, Метнер мне неоднократно говорит: *"Если вы в книге затронете мое гетеанство, то имейте в виду, что выступит в Москве на мою защиту Иван Александрович Ильин"* (впоследствии профессор); он много мне говорит о своей дружбе с Ильиным; и как будто даже угрожает Ильиным; все это лишь разжигает во мне пафос к атаке основных мировоззрительных твердынь Метнера.

Между тем: мы в Метнере замечаем явное подобие; и даже ноты досады на себя за то, что он преждевременно выпустил в свет свою книгу; в его тоне мелькают сочувственные ноты по отношению к доктору; мы выхлопываем разрешение ему посетить одну из лекций доктора; после лекции я подвожу его к доктору и знакомлю с ним; доктор, который знает, что Метнер выпустил книгу против него, тем не менее очень любезен с Метнером; помнится, они обмениваются какой-то фразой о Бергсоне; Метнер во время этого краткого разговора мне кажется растерянным и смущенным, как провинившийся школьник.

Метнер чаще всего бывает у Наташи Поццо и М.В. Волошиной (Сабашниковой); с Наташей он явно дружит; и во мне поднимается смутная ревность к Метнеру (много лет спустя, уже в Берлине, в 1923 году, Наташа, отрицая свою вину, т.е. кокетство со мной, мне призналась, что в ту пору она любила Метнера, - стало быть: моя ревность имела почву); ближе вглядываясь в Манера, я вижу, что он разительно изменился: постарел, стал внутренне угрюм; искристый блеск его речей покрылся каким-то угрюмым налетом; он неоднократно заявлял, что становится завзятым поклонником теорий Фрейда и Юнга, что *"психоанализ"* в него прямо вписан; этот *"фрейдизм"* отталкивает решительно от меня Метнера; я воспринимаю эти увлечения Метнера враждебно. Вместе с тем, я удивляюсь некоторым *"внутренним знаниям"* Метнера, соответствующим моим *"узнанши"*, полученным из опыта медитаций, который я развил в себе за 1912, 1913 и 1914 годы; Метнер мне намекает, что и у него есть нечто, вполне соответствующее медитации; я полагаю, что это старые медитации Минцловой, данные нам еще в 1909 году. Впоследствии, кто-то мне сказал, что Метнер в то время был близок с представителями какой-то линии персидского оккультизма; члены одного оккультного общества (название забыл), проводящие в жизнь эту линию, были в Цюрихе; наверное, Метнер с ними общался; кроме того: он в то время был близок с Эллисом и с Frau Поольман-Мой, около которой витала всегда *"оккультная"* атмосфера. Как бы то ни было, Метнер в эту эпоху мне кажется каким-то *"подглядывателем"* быта нашей жизни; и у меня откладывается некоторое опасение, как бы я в *"дружеских"* разговорах с ним не сказал бы чего-нибудь лишнего; это отношение к Метнеру во мне укрепляется, М.В. Волошина, в прежние годы весьма дружившая с Метнером (в ту пору она дружила с Энглертом, фактически строителем *"Bau"*, и ТХ. Трапезников, с которым с конца 1914 года у меня начали складываться очень тесные отношения; одновременно: я стал все более и более заходить к Татьяне Алексеевне Бергенгрюн, переселившейся из Берлина в Дорнах; Т.А. видела мое все растущее одиночество и чуткой душой понимала, как мне тяжело в Дорнахе; она говорила мне, что ценит мою скромность" что видит, как я задыхаюсь среди внешних и внутренних *"немцев"*; она намекала мне, что видит, как Ася отходит от меня, бросая меня в одиночество; говорила, что не сочувствует Асе; мне казалось, - она понимает, что я вступил в полосу тягчайших испытаний души; это же мне говорил и Трапезников. Так в беседах с Трапезников]ым и с Т.А. Бергенгрюн черпал я некоторую моральную силу; и кроме того: в этих беседах я выходил из той густой атмосферы *"тургеневщины"*, в которую погружали меня по-разному сестры *"Тургеневы"*, т.е. Наташа и Ася, каждая по-своему; Трапезников как бы мне говорил: *"Будьте свободны и независимы: не висите душевно на Анне Алексеевне: она - человек холодный и сдержанный; вы разобьетесь о ее холод"*. А у Т.А. Бергенгрюн прорывались ноты чисто женского раздражения на Наташу и Асю; она как бы говорила мне: *"Безобразия, - вами вертят *"девчонки"*, которые умственно и морально стоят гораздо ниже вас: ведь вы - писатель, незаурядная личность; а вас ваша *"Ася"* хочет держать под башмаком"*. У нее прорывались ноты явной досады на А.М. Поццо; она говорила: *"Александр Михайлович с своим культом *"Наташи"*, - просто смешон; умный, интересный человек, а выглядит какую-то *"фитюлькою"*; эта *"Наташа"* им вертит как хочет..."*

В ту пору беседы с Трапезниковым и с Бергенгрюн давали мне многое; в этих беседах впервые наметилась на меня моя будущая эмансипация от *"Наташи"* и *"Аси"*, кончившаяся свержением навсегда *"татарского ига"* моей души (род Тургеневых - татарского происхождения).

Наряду с этим в это время осуществляется мой отрыв от другого *"Ига"*, от ига М.Я. Сиверс, ставшей "д-р Штейнер"; это *"иго"* длилось год; вся огромность Марии Яковлевны открылась мне с Бергена, т.е. с октября 1913 года; с этого времени я почувствовал, что между нами возникла особая, непередаваемая связь; М.Я. стала являться в моих снах, в моих медитациях; она всегда стояла в центре моей души; я спрашивал советов у образа ее, возникавшего из моих медитаций; и этот образ показывал мне ослепительные духовные горизонты, тяготенье к которым подстегивало мою духовную работу; она постоянно стояла в центре моей души и как бы указывала мне на возможные достижения; и я бросался на эти твердыни духа; но чувствуя, что мне их не одолеть, я

удваивал, учетверял, удесятил духовные упражнения, чтобы, так сказать, подвинтить свои (астральное, эфирное и физическое) тела до гармонии их с миром духа; период от октября 1913 года до появления в Дорнахе был для меня периодом сплошной медитации; я духовно видел то, что лежало выше меня; я чувствовал себя приподнятым над самим собою; и я знал, что эта приподнятость есть "окультиная" помощь, посылаемая мне Марией Яковлевной, которую я боготворил; она стала для меня одно время всем: сестрой, матерью, другом и символом Софии; ее лейтмотив в душе вызывал во мне звук, оплотняемый словами:

"Сияй же, указывай путь,
Веди к недоступному счастью
Того, кто надежды не знал.
И сердце утонет в восторге
При виде тебя..."(71)

Разумеется в этом мне непонятном обоготворении М.Я. не звучали ноты "влюбленности"; и все же: образ ее был для меня символом Софии; иногда этот образ мне говорил: "Вот теперь я тебя оставляю: опирайся на окультиную помощь, которую я тебе дала и уже без меня держись на духовной высоте..." И образ меня покидал; и я в моих переживаниях духовной высоты чувствовал себя точно выброшенным с аэроплана; я немедленно падал, разбиваясь об условия жизни в чувственном теле; я начинал бичевать это тело, бороться с собой, а тело, как конь без узды, влекло меня туда, где на меня нападали люциферические и ариманические искусы; я - падал; и тогда образ духовный М.Я. глядел на меня с укоризною, а на физическом плане Мария Яковлевна становилась по отношению ко мне неприятной, враждебной; так на физическом плане между нами начинались размолвки и споры без слов; потом - наступало примирение: М.Я., я чувствовал, опять давала мне свою помощь; и на крыльях этой помощи я вновь чувствовал себя вознесенным в "*мир духа*" до ... следующего падения.

В этих "*ссорах*" и "*примирениях*", "*взлетах*" и "*падениях*" протекла для меня вся зима и весна 1913-1914 годов. Я себя почувствовал к осени 1914 года совершенно физически измученным, хотя и чувствовал, что духовно за этот период я узнал столь много истин, что с этими "истинами" я бы мог прожить не одно, а много воплощений. Каждый взлет после падения был высшим взлетом; но каждое следующее падение было еще более ужасным; прямая линия развития стала зигзагообразной *ΛV* ; в результате роста диапазона падений и взлетов в душе стало оживать все большее раздвоение; с лета 1914 года, когда я влюбился в Наташу, во мне произошел внутренне как бы разрыв "*Я*" на два "*Я*"; жизнь высшего "*Я*" во мне убивала мое физическое здоровье; требования итога здоровья как бы вычеркивали из меня жизнь духа во мне. Наконец, последний конфликт двух борющихся "*Я*" во мне окончился моим сильнейшим сердечным припадком, во время которого я чувствовал чисто физиологически, что "нечто" вырвалось из моего сердца, физически разбив его; и - унеслось, покинув меня, в духовную высоту; я переживал этот вырыв высшего "*Я*" из меня, как свою духовную смерть; жизнь медитативная затормозилась во мне: медитация во мне, когда я ее напрягал до прежней силы, вызывала лишь сердечный припадок, во время которого меня охватывал страх смерти; и этот страх диктовал мне замедление всего ритма душевной работы; замедление же ритма взрывало во мне рост чисто физических потребностей; чувственность с непобедимой силой вставала во мне; а кокетство Наташи притягивало эту чувственность к ней. До сердечных припадков я с нею боролся; но мысль, что самая эта борьба вызвала сердечные припадки, выдернула из-под ног самую почву борьбы; и я, упавший в свое тело, внешне брошенный Асей, всю силу душевного эротизма как бы прилепился к Наташе; и самую грешность подобного "*прилепления*" я приподнял, как нечто нормальное; на М.Я. я посматривал с озорством "бунта"; "*ссора*" с нею вела меня не к "*примирению*", как прежде, а к внутреннему наступлению на нее: отношение к ней выразилось во мне своеобразным чувством, которое я нес в своей душе, как "*озорство*". Да, я стал по отношению к М.Я. "*озорником*" и "*бунтарем*"; она сперва сердилась на меня, потом как бы махнула на меня рукой; я знал, что где-то отношение ее ко мне осталось неизменным, что она верит, что затянувшийся во мне конфликт света с тьмой окончится победой света, но что на время этой перепутанности раздвоенных половинок души моей она внутренне покидает меня; как в верхних сферах сознания моего в предыдущий период жила М.Я., так после октября в низших сферах сознания моего зажил образ "*Наташи*". Иногда я вспоминал с тоскою о духовных сферах, меня покинувших; и тяжелое недоумение над "*крахом*" своим жило во мне; я удивлялся, что сердечную болезнь мою (продукт борьбы Софии с Наташей) доктор называл шагом вперед; самый ласковый, сердечный тон доктора по отношению ко мне (а он в этот период сильно ко мне подобрел), вызывал во мне грустное недоумение; я себе говорил: "Или доктор не понимает, что происходит во мне? Почему же он называет "*Vorschrift*"ом то, что я в себе несу, как падение?" Словом: чувствовал себя лишенным почвы, физически ослабевшим, духовно угасшим, потерявшим критерии между злом и добром; а условия военной жизни и грохот мировой войны, слышимый с границы Эльзаса, был внешним выражением катастрофы, пережитой мною: катастрофой пути. Словом: если 1913 год в сознании оживает стремительным, изумительным взлетом вверх, несоответствующим моим

духовным усилиям и приписанным мною действию Божией благодати и молитвенной помощи доктора и Марии Яковлевны, то линия моей жизни от февраля 1914 года до октября (1914-го же) есть линия стремительного падения; в октябре толчок падения этого выразился сердечной болезнью; в декабре я как бы начинаю свыкаться с своей участью: с безблагодатной, слепой и глухой, погрязшей в соблазны жизнью моей; и даже: по отношению ко всей прежней линии, линии Марии Яковлевны, я ощущал своего рода бунт; и странно: все антропософы, внутренне связанные с М.Я., в моем сознании встают передо мной, как враги; я ощущаю круг людей, которыми дирижирует М.Я.; этот круг людей воспринимаю я, как "двор" М.Я.; в Антр. О-ве впервые меня тяготит мной ощущаемая "придворная атмосфера", которой я объявляю войну; я говорю себе: "Э, да это - Байрейт". Мое положение при этом дворе я ощущаю, как положение Ницше при Вагнере; доктора я не приравниваю к Вагнеру, но М.Я. я приравниваю к "Байрейту"; многие из ее проявлений мне кажутся фальшиво-приподнятыми; я начинаю ее критиковать, перечитываю сочинение Ницше "Вагнер в Байрейте" и обращаю аргументы Ницше против Вагнера в аргументы против Марии Яковлевны(72); я чувствую, что лица, которыми руководит М.Я. (Рихтер, Валлер, Митчер, Классеи и ряд других) поворачиваются ко мне враждебно; я с удивлением вижу, что Наташа и Ася (особенно <<Ася") тоже внутренне как бы приняты в этот придворный штат; и в этом смысле находятся в другой линии антропософии, которую я называю "антропософией догматической"; во мне происходит крах всей "антропософской догмы"; и впервые слагается новый очерк "антропософии", как путь свободы и критицизма; мои усиленные занятия Гёте и гётизмом доктора укрепляют во мне эту новую концепцию антропософии; если до сей поры я шел под знаком мироощущения "окультизма", то теперь я стою под знаком мироощущения чистого "логизма"; я ощущаю в себе новое познавательное восприятие антропософии, как переход из средневековья в эпоху возрождения; мне впервые становится близким "ренессанс" и вся эпоха итальянского возрождения; и на этой почве у нас возникают оживленные беседы с Т.Г. Трапезниковым, знатоком эпохи "ренессанса"; он укрепляет во мне интерес к "ренессансу" и на этой почве крепнет наше общение с ним. Все это в себе я называю "свержением ига М.Я.", т.е. свержением средневекового, окультически-догматического ига антропософии, возглавляемого М.Я., и рождением в душе свободной, гетеански оформленной антропософии; занятия усиленные гетеанством и философией антропософии оплодотворили во мне впервые познавательный подход к антропософской доктрине; я как бы переживаю упадок в себе "окультурного" пути, т.е. антропософии, как пути жизни; и одновременно: переживаю ренессанс в себе антропософской философии; и часто спрашиваю: "Если я мировоззрительно окреп, то - какою ценою? Ценою падения своего..." Так на рубеже нового 1915 года я стою в тяжком кризисе.

Приблизительно в это время в жизни доктора произошло событие: он обвенчался гражданским браком с Марией Яковлевной(73); еще летом 1914 года М.Я., отведя однажды нас с Асей в сторону, спрашивала, что мы предприняли для гражданского брака (наш гражданский брак произошел в Берне, в марте 1914-го го да); оказывается, ей нужны были эти сведения для брака с доктором; этот брак, конечно, был чисто духовный; М.Я., многолетний секретарь доктора, обитала в квартире доктора; в Берлине это не вызывало нареканий; но совместная жизнь доктора с М.Я. на вилле "Hansi" в Дорнахе вызывала нарекания со стороны швейцарских мещан. Чтобы заткнуть глотку этим мещанам, доктор и М.Я. обвенчались; тем не менее, этот "брак", мотивы которого ясны для всех мало-мальски сознательных антропософов, вызвал негодование в целой части Общества, по преимуществу в среде того карикатурного и "quasi"-окультурного элемента, который мы называли "тетками"; "окультурные тетки", не любившие М.Я., зашипели на этот брак; с той поры в Дорнахе стали гнездиться всякие сплетни по адресу М.Я., распространяемые тетками; разумеется к этим "шипам" мы относились с негодованием; и "бунтуя" внутренне против М.Я., внешне я всегда придерживался "партии М.Я.", - против "теток", ее ненавидевших за близость ее к доктору; причина ненависти, как обнаружилось это позднее, - нездоровая, "мистическая влюбленность" в доктора энного количества "теток", устроивших осенью 1915 года настоящий бунт против нее; М.Я. со смехом называла этот бунт "бунтом ведьм"; к впоследствии обнаруженным ведьмам, начавшим развивать атмосферу сплетен в Дорнахе уже с конца 1914 года, следует отнести: Madame Райф (из Вены), Штраус (из Мюнхена), Шпренгель, мадам фон Чирскую и ряд других теток; Штраус, фон Чирская со скандалом вылетели из Общества в конце 1915 года во время того периода, который я называю "великой чисткою авгиевых конюшен".

Все последнее время перед Рождеством Ася усиленно занималась работой над стеклами под руководством Рихтера; работа эта была очень тяжелой; громадные стекла надо было вырезать особым сверлильным аппаратом, очень тяжелым, и соединенным с бор-машиной; аппарат, под действием электрического тока начинал вертеться; и надо было с силой держать его в руках, чтобы он не вырвался и не разбил стекла, стоившего баснословных денег; кроме того: стекло, поставленное перпендикулярно, находилось под потоком холодной воды, охлаждавшей накал стекла; вода разбрызгивалась во все стороны; работавшие надевали гуттаперчевую одежду и гуттаперчевые перчатки, чтобы не промокнуть; ледяная вода холодила руки, скрежетание сверлильного аппарата по стеклу раздражало нервы; физически-тяжелая, ответственная,

раздражающая нервы работа! Перед самым Рождеством Ася промокла однажды насквозь во время этой работы; и вместо того, чтобы посушиться, она мокрой же отправилась на репетицию эвритмии в холодное каменное помещение "Bau"; последние дни перед Рождеством она уже ходила простуженной.

Встреча Рождества произошла в сарае, приспособленном для лекций и эвритмии; съехалось множество народу; все дамы были в белых платьях; приехал и Метнер, которому мы выхлопотали разрешение присутствовать на нашем празднике; сначала состоялась лекция доктора, очень мрачная (он говорил о событиях войны); потом зажгли елку; антропософский хор исполнял рождественские песни; после прошла эвритмия; прославление "звезды" (хор и эвритмия), исполненное русской группой, имело огромный успех среди немцев и очень понравилось доктору. Ася и Наташа в белых платьях были очень хороши; старые чувствительные немки называли их: "Zwei Dngelein". Это прозвище с той поры укоренилось за ними. М.В. Волошина тоже была недурна в эвритмии. Киселева исполнила номер соло - стихотворение доктора: "Die Sonneschau Um Mitterndchtige Stunde"(74). Метнер был - мягкий, умиротворенный, даже как бы побежденный доктором.

Но когда мы вернулись домой, обнаружилось, что у Аси жар до 40 градусов; печально зажгли мы рождественскую елку; на следующий день свалился в сильнейшем бронхите и я; беспомощно пролежали мы с Асей в постелях все праздники; через день обнаружилось, что и Наташа, и Поццо - тоже лежат в бронхитах (в Дорнахе открылась сильнейшая эпидемия бронхитов); ряд рождественских собраний и лекций доктора в Дориахе и в Базеле мы пропустили; Метнер был на некоторых из этих лекций; после он уехал к себе в Цюрих.

Так внутренний разгром, которым отметился этот тяжелый год, окончился и внешним разгромом: мы четверо - я, Ася, Наташа и А.М. Поццо - связанные тяжелейшими личными отношениями весь 1915 год, встретили этот год на одре болезни. Нас лечила Фридкина (доктор медицины), антропософским методом, который она применяла к своим пациентам (она в своей практике постоянно советовалась с доктором); лечение это заключалось в изгнании болезни искусственным вызыванием испарины; нас окутывали мокрыми, горячими простынями, закутывали одеялами; и заставляли лежать так до 1 1/2 часа. Я уже к новому году справился с болезнью; но болезнь Аси затянулась надолго; еще в феврале она едва ходила; а приподнятая температура длилась у нее до самого лета.

1915 год

Январь.

Весь январь переживаю я крайне подавленное настроение; затянувшаяся болезнь Аси внушает мне серьезное опасение; у нее - страшная слабость и ежедневно к вечеру - жар; тем не менее: на лекциях доктора она бывает; иногда для этого приходится выписывать из Базеля экипаж (по телефону); Наташа тоже очень ослаблена бронхитом; Наташа и Поццо теперь оказываются в Дорнахе, в неудобном помещении; Фридкина рекомендует Асе усиленное питание; за разнообразными пищевыми продуктами я 2 раза в неделю отправляюсь в Базель; январь стоит холодный и снежный; обнаруживается, что в наших комнатах всюду - холодный сквозняк; сколько не топи комнаты, они - выстуживаются; помещение оказывается в высшей степени неудобным; надо думать о приискании другого обиталища; отношение к нам Е.А. Ильиной портится; она заявляет, что наши комнаты ей нужны; между нею и Асей устанавливаются плохие отношения; мне приходится приискать другое помещение; в Арлесгейме и в Д[орна]хе обнаруживается мало комнат; наконец мне указывают помещение, которое должно освободиться к первому февралю; это - домик, стоящий на перекрестке дорог, ведущих из Арлесгейма в Обер-Дорнах и из Нижнего Дорнаха к "Bau"; прежде, идя к "Bau", я не замечал вовсе этого домика; он прятался в яблоневых деревьях; этот домик - изолирован; его окружает зелень; он стоит как раз против Villa "Hansi", принадлежащей доктору (окна в окна); второй этаж домика сдается; в нем 3 комнаты, коридор и чистая удобная кухня с террасой, открывающей вид на зелень, домик доктора, холм и "Bau"; владелица домика милая старушка, Frau Thomann, отдает его нам за сравнительно дешевую цену; у нее для нас оказывается приходящая прислуга, которая с 9 до 12-ти должна нам убирать комнаты, мыть посуду и заготавливать что-нибудь для ужина; с обедом мы устраиваемся с кантиной; нам берутся доставлять обед из кантины, находящейся в расстоянии 7-минутной ходьбы до домика; "Bau" оказывается от нас в расстоянии ходьбы не более 3-4-5 минут, т.е. - рядом; меня смущает лишь то, что домик может оказаться сырым и холодным; но Frau Thomann указывает, что в 3-х комнатах имеются две теплых печки; и что можно всегда иметь запасы брикетов. Все это успокаивает меня. Я снимаю помещение; и с нетерпением ожидаю момент, когда можно покинуть неудобное помещение Ильиной; в это время появляется в Дорнахе семейство Ван-дер-Паальса из Берлина; с Ван-дер-Паальсом мы уже встречались в Берлине; теперь это знакомство возобновляется; и переходит скоро в дружбу; Ван-дер-Паальс начинает часто бывать у нас; появляется к этому времени в Д[орна]хе и Михаил Бауэр" ближайший ученик доктора, очень

замечательный антропософ, один из 3-х глав нашего Общества; он болен туберкулезом; за ним ухаживает Frau Morgenstern, вдова покойного поэта; она поселяется с Бауэром в одной квартире; Бауэр сперва снимает верхний этаж дома, в котором живет Трапезников; с этой поры устанавливается частое посещение Бауэра Трапезниковым; у Трапезникова поселяется А.С. Петровский; он тоже видится с Бауэром; с Бауэром близка и М.В. Сабашникова; так Бауэр в Д[орна]хе очень скоро становится естественным патроном русских; с Бауэром устанавливаются у меня с января месяца очень хорошие отношения; и странно: чем более я внутренне отдаляюсь от М.Я. Штейнер, тем более для меня вырастает значение Бауэра, как своего рода духовного руководителя, естественно вырастающего вслед за доктором(75). Приблизительно в это же время в Дорнах приезжает д-р Гёш, молодой философ и архитектор, мечтающий написать книгу по философии антропософии; это очень культурный человек; он начинает часто заходить ко мне; мы с ним гуляем по окрестностям и рассуждаем о проблемах гетеанства. Я теперь пристально разбираю книгу Метнера и готовлю эскизы для первых глав моей ответной книги. Появлением Вандер-Паальса, д-ра Гёша и Бауэра, ростом дружбы с Трапезниковым и Т.А. Бергенгрюн отмечено для меня начало 1915 года.

К этому времени в Париж уезжает Максимилиан Волошин; К.А. Лигский знакомится с доктором и готов вступить в А.О. Мои хорошие отношения с последним - укореняются. Метнер исчезает с нашего горизонта; он сидит в Цюрихе; и не показывается в Д[орна]хе.

Февраль.

Первого февраля мы перебираемся с Асей в новое помещение, к Frau Thomann и чувствуем себя здесь внешне недурно; комнаты оказываются уютными и теплыми; на зиму мы сосредоточиваемся в двух комнатах, отделенных коридором от третьей; эту третью сдаем мы американке, мисс Чильс - на время(76); здесь, в этих

двух комнатах, как-то по-новому концентрируется наша жизнь с Асей, которая медленно начинает поправляться; я погружен с утра и до вечера в мою работу: пишу книгу против Метнера, составляю регистр по различным вопросам методологии и теории знания из комментариев к Гётеву тексту доктора и из всех его высказываний о Гёте; у меня уже имеется огромный материал против Метнера; связывая различные высказывания доктора воедино, я вынимаю из этих высказываний оригинальнейшие мысли; такой же регистр я составляю к книге Метнера; вооруженный этими регистрами, я начинаю писать; так пишется вводительная глава; пишется последняя глава, которую я впоследствии назвал *"приложение к книге"*, но которая по первоначальному заданию должна была стать ядром книги; пишется глава, разбирающая методологию и теорию знания у Метнера и Штейнера(77); одновременно: я усиленно работаю над усвоением световой теории Гёте и изучаю ретушь к ней Штейнера; работаю я без усталости - буквально с утра до ночи; работаю до двух часов ночи; и после не могу заснуть; постепенно я заболеваю бессонницей, которая длится весь февраль, март, апрель и которая страшно измучивает мои нервы. Во время этой работы я механически накаливаю печь; температура в наших комнатах взлетает до 20 градусов. Иногда, измученный бессонницей и мозговым переутомлением я уезжаю в Базель; и печально брожу по сырým и печальным улицам Базеля; однажды я был в Базеле с Асей; когда мы с ней возвращались в Дорнах в трамвае, то я заметил, что рядом со мной сидела костлявая, страшно безобразная и кривоногая женщина с фосфорически горящими, безумными глазами и с красным шрамом на шее; она сидела со мной рядом; и мне казалось, что она с особым вниманием поглядывала на меня; что-то было отчаянно-жуткое в ее черном, тощем, кривоногом силуэте; мне стало не по себе, но я поборол себя, ничего не сказав Асе. Отмечаю этот факт, потому что *"черная женщина"* появилась впоследствии передо мною опять в гораздо более страшной и жуткой атмосфере.

В этот же месяц, во время мучительной бессонницы, вызванной переутомлением, меня стали посещать эротические кошмары: я чувствовал, как невидимо ко мне появляется Наташа и зовет меня за собой на какие-то страшные шабаши; сладострастие во мне разыгрывалось до крайности; совершенно обезумев, я стал серьезно мечтать об обладании Наташей и стремился в моем грешном чувстве признаться Асе; но Фридкина, лечившая Асю, постоянно предупреждала меня: "Не говорите с Анной Алексеевной ни о чем серьезном: это может отразиться на ходе ее болезни". И я молчал о своих переживаниях Наташи, ожидая выздоровления Аси; затянувшаяся болезнь Аси меня крайне удручала; ведь я любил ее всюю глубиной своей души; и признавался себе, что страсть к Наташе, принимающая формы совершенно чудовищного чувственного влечения, есть злая болезнь; и тем не менее: я чувствовал, - болезнь слишком запущена; я не могу уже вырваться; эта болезнь, осложнившаяся ночными невидимыми появлениями Наташи около меня, приняла столь серьезные формы, что я стал порою воображать, будто Наташа - суккуб, посещающий меня; и тем не менее, - я влекся к Наташе, я все хотел остаться с нею с глазу на глаз; но - Наташа, искавшая со мною общения и *tete a tete* эту осень, тут нарочно стала ускользать от всякого объяснения; я не мог найти повода остаться с нею с глазу на глаз; мы с нею встречались или в кантине, или на *"Vau"*, или при Асе, или при А.М. Поццо; иногда она, как бы за

спиной их, кокетничала со мною жестами; и - никогда не кокетничала словами; в словах она стала, наоборот, очень сдержанна со мной; очень часто бывало: она уходила от нас вечером, и тогда ночью она появлялась около моего изголовья, как суккуб; и звала меня на жуткие, страшные шабаши; самый образ Наташи явился для меня олицетворением "*черной, демонической женщины*".

Я жил в странном, тревожном настроении, ежедневно ожидая каких-то несчастий; однажды, забывшись под утро, я проснулся как бы от некоего электрического удара и почувствовал, что сижу на постели и хриплю на всю комнату; это был припадок удушья; но мне казалось, что какая-то "*черная женщина*", невидимо прильнувши ко мне, выпивает, как вампир, мою кровь; я соскочил с постели и побежал будить Асю; но объяснить ей мои переживания страха не сумел,

В это время к нам стала часто забегать Т.А. Бергенгрюн, вся какая-то встревоженная; в ее словах раздавались невнятные намеки на то, что нам всем угрожают сильнее оккультные нападения, что мы здесь, около "*Bau*", как бы в своего рода траншеях, обстреливаемые астральными снарядами, посылаемыми всеми черными оккультистами; лейтмотив ее слов как бы говорил мне и Асе: "Держитесь, сильнее темные нападения на вас имеют место". Иногда в ее словах звучали намеки на то, что ее слова о *нападениях* на нас *черных магов* не ее лишь субъективное мнение, но что эти слова исходят из опыта подлинно внутренних антропософов, обитающих в Дорнахе; и слова эти совпадали со странным, весьма тревожным состоянием моей души.

Однажды Ася видела сон, который ее странно поразил и взволновал: она видела, что она проникла во сне в какое-то запретное место, где гнездятся враги, нападающие на нас и насылающие на нас душевный морок; враги оказались несколькими страшными женщинами, с которыми она вступила в оккультный бой; во время этого боя с ней рядом появился Трапезников; и сражался против темных женщин; сон этот меня поразил; он совпадал с моим настроением; ведь Наташа, или оборотень, принявший вид Наташи, напал своей страшной чувственностью на меня по ночам. В этот же день, или на другой день вечером, к нам пришел Трапезников; и рассказал свой сон; и этот сон совпал со сном Аси. Он - тоже во сне боролся с темными женщинами. "Да, - сказал он, отряхивая пепел папирсы, - было уже несколько случаев здесь в Дорнахе, когда в астрале видели этих женщин; по-видимому, где-то они есть; но дело не них: а в каком-то толстом, страшном мужчине, который руководит ими". Не знаю, о каком мужчине говорил Трапезников: видел ли он его во сне, или что-либо о нем слышал от других, производивших духовное исследование; больше мы с Асей ничего от него не могли добиться; но* впечатление вставало: мы окружены кольцом тайных сил, нападающих в астрале на нас; самое жуткое было то, что на физическом плане нельзя было защититься от этих астральных нападений; так создавалось во мне представление о том, что и моя абракадабра с Наташей - результат порчи нас, чуть ли не глаза; этот *черный глаз* объясняли Бергенгрюн и Трапезников навождением темных оккультистов, работающих над тем, чтобы внутренне деморализовать строителей "*Bau*"; не даром еще прежде, в бытность нашу в Мюнхене, Штинде предупреждала, что в Дорнахе будет очень трудно; теперь эти трудности объяснялись оккультными нападениями;

передавали, что что-то в этом роде говорил недавно и доктор. Мне думалось: "Что же доктор не защищает нас? Что же он молчит?" И доктор Гёш, такой радостный в первые дни своего пребывания в Дорнахе, появлялся в нашем домике хмурый и словно отягченный какою-то думой; иногда и он заводил разговоры с нами о каких-то навождениях; но говорил он намеками: чувствовалось, - он что-то скрывает от нас. Установился обычай, что доктор читал нам лекции по субботам (вечером) и по воскресеньям (утром от 10 до 12-ти); однажды после лекции доктора, когда я проходил мимо негр, он незаметно подошел ко мне, потрепал меня по плечу и сказал с лаской: "Nun, Herr Bugaeff, man muss doch mut haben: es macht nichts..." Я подумал: "О чем говорит доктор? Стало быть, - действительно есть причина для страха..."

Эта странная тревога, внутренне сотрясавшая меня, усиливалась моими упорными многочасовыми умственными занятиями, одолевавшей бессоницей, всей обстановкой затягивающейся войны; по ночам я с тоскою прислушивался к гроыхавшим орудиям на западном фронте; погода стояла унылая, непереносная; после снега делалась слякоть и сырость; туман нависал беспросветной, свинцовой пеленой; нам становилось душно и тесно в двух комнатках; и мы решили не сдавать на следующий месяц нашу третью комнату мисс Чильс.

Однажды в феврале появился у нас Э.К. Метнер, приехавший из Цюриха; я ему читал отрывки из вводительной главы, написанной против него; он хохотал над моими юмористическими выпадами и сказал: "Да, да, - написано весьма талантливо и хлестко; но - посмотрим, что вы напишете против меня по существу". Я подумал: "Ладно, ладно, - написанное только цветочки; как-то ты будешь смеяться, когда дело дойдет до ягодок". А этих "*ягодок*" в виде неопровержимых аргументов, свидетельствующих о его легкомыслии, было у меня в рабочем портфеле сколько угодно; они лишь еще не поступили в окончательную обработку.

Ася весь этот месяц вследствие слабости не ходила на работу; я же - был погружен в писание моей книги; мы почти не бывали на "*Bau*"; связь с "*Bau*" поддерживалась только на лекциях доктора; нас посещали Трапезников, Рихтер, Седлецкие, Петровский, Сизов. Жили мы этот месяц

уединенно и замкнуто; иногда на меня нападала такая тоска по России, что я признавался Асе, что меня сильно тянет уехать. Ася на это отвечала с огромным раздражением: "Ну что ж, уезжай, но я останусь здесь..." Я, конечно, не мог добровольно бросить Асю; и покорялся ей; но я думал с тревогою: "Когда же кончится это наше отсиживание и до чего оно нас доведет?"...

Март.

Здесь подхожу к описанию страннейших событий, разрезавших точно молния и без того неприглядную жизнь того времени; впрочем эпитет "*страннейший*", "*страннейшая*", "*страннейшее*" должен собой испестрить все страницы записываемого хода жизни эпохи 1912-1916 годов; все здесь - "страннейшее"; самая моя жизнь того времени - удивительный парадокс, богатейшая пища для общества психических исследований; вот ведь теперь не скажу, чтоб моя жизнь доставляла мне материал разных "*странностей*"; с 1917 и до 1924 года так мало мне жизнь доставляет поводов к склонению прилагательного "*странный*" во всех падежах; моя жизнь настоящего времени - трудная, напряженная, полная всевозможных забот, интересов; но события этой жизни нисколько не странны; между тем период от 1912 года до 1917-го *очень странен*; стоит предо мною он, как *жизнь в жизни*; и эта *жизнь в жизни* имела свое рождение, рост и смерть; теперь, озираясь, себя я могу вопрошать: принадлежала ли эта жизнь моей жизни? Или кто-то, во мне поселившись, изжил себя и меня безвозвратно покинул? Если бы я проследил рождение этого "*некто*", который просунувшись в мои органы восприятия ими воспользовался, поглядел на действительность, в ней увидел все в "*странном*" свете, оставил в душе свои "*странные*" записи и излетел из меня, - если б я проследил рождение во мне этого "*некто*", то, пожалуй, не мог бы я фиксировать 1912 год, как год начала "*странных*" происшествий в моей жизни; "*странности*" этого года пожалуй лишь разразились в "*престранности*"; "*странности*" начались со мной раньше; пожалуй эпоха их открывается с 1909-го года, а не с 1912-го. И тогда период остраннения длится дольше: он захватывает эпоху с 1909 года до 1917-го; но тогда эпоха эта совпадает с годами встречи с Асей Тургеневой; не в жизни ли с ней "*остраннения*"! Так я одно время и склонен был думать. Действительно: Ася человек "*странный*" во всех отношениях до антропософии подверженный всяким медиумическим влияниям (так, вступление в жизнь с ней для меня ознаменовывалось всевозможными явлениями - вплоть до спиритических стуков); но вглядываясь еще пристальнее, я устанавливаю, что самое появление в моей жизни этой "*странной*" женщины подготовилось "*остраннением*" моей судьбы и моими переживаниями на рубеже меж 1908 и 1909 годами; в ту пору я значительно "*постраннел*"; и результатом "*странностей*" моих уже явление передо мной "*странной*" Аси. Собственно говоря, "*странный*" период открылся сближением с Анной Рудольфовной Минцловой, меня заразившей своими розенкрейцерскими мечтаниями; я бы назвал этот период погружением в "*окультизм*". В самом деле: 1909 год открывается для меня: сближением с Минцловой, чтением оккультических книг, занятиями астрологией; и из всего этого, как из тумана заря, проступает Ася; наш путь с Асей начинается исканием "*внутреннего пути*", томлением среди просто "*литературной среды*"; углубляется событиями в Брюсселе 1912 года, встречей с Штейнером, поездками вслед за ним; и появлением в Дорнахе; кстати сказать: лекции Штейнера эпохи 1912-1916 годов главным образом лекции на оккультные темы и темы эзотерические. Позднее самое расширение антропософии связано с переменою круга тем лекций Штейнера: вступают темы педагогические, общественные, философские; сама антропософия теряет свой концентрированный, оккультический привкус.

Итак, понятно, что эпитет "*странный*", "*странная*", "*странное*" пестрит эти воспоминания, как значок определенной тональности, открывающий нотную строчку; вся тональность годин была "*странная*" для меня. Последующие революционные годы протекали под знаком другой тональности в этой [слово неразб. - Публ.] тональности воспоминания о предыдущих годинах, о "*странных*" годинах являлись музыкальным фоном революционной действительности; в ней оккультная "*действительность*" растворилась; и звучала, как музыка; в этот последующий период моей душе стал особенно внятн Шуман; мой вопрос о годах "*странной*" жизни моей, не получая ответа, как бы растворился в глубиннейшем изживании музыки Шумана. Соната, посвященная Кларе Вик, "*Крейслериана*", "*Фантазия*", "*In der Nacht*" и другие произведения Шумана(78) стали для меня любимейшими, *моими* в полном смысле слова; от всех "*странных*" лет во мне осталась, доселе живет недоуменная *меланхолия*.

Итак, после этого разъяснения, возвращаюсь к краткому описанию жизни моей того времени: март месяц весь был повит для меня флёром жуткой тоски и недоумения, связанных с переживанием моих отношений к Наташе и к Асе, к доктору Штейнеру, к антропософии даже; мисс Чильс от нас переехала; освободилась третья комната, в которой мы устроили одновременно: и мою приемную, и кабинет; в ту пору я усиленно занимался разработкою своей книги; писалась глава: "*Световая теория Гёте*"; она давалась мне особенно трудно; нужно было пропустить через себя оба тома Гёте; том теории и том "*Geschichte der Farbenlehre*"; далее надо было свести к единству сложнейший комментарий доктора; и внятно изложить книгу доктора "*Goethes Weltanschauung*" сквозь призму составшегося представления; "*Световая теория в свете*

антропософии". Помнится, что у меня вставал ряд сомнений по поводу многих вопросов, связанных с гетизмом; сомнения свои я высказывал доктору Гёшу; и он посылно мне отвечал на мои вопросы; но меня далеко не все удовлетворяло; и я стал спрашивать, с кем из гетистов-антропософов мне можно было бы встретиться; мне указали на Шолль, как на хорошую гетистку; она жила в Арлесгейме с двумя подругами американками (Шолль когда-то встретила нас при вступлении нашем в А.О.; она занималась с Наташей и Асей немецким языком); помню, как я отправился к Шолль, приготовив ей ворох вопросов; но после двух-трех вопросов, поставленных ей, я вполне убедился, что она некомпетентна, и на философские проблемы мои она не ответит мне никогда; она только хорошая начетчица по вводительным статьям Штейнера к Гётеву тексту. Она откровенно сказала мне: "Поговорите с д-ром Штейнером". Не помню, как я искал свидания с Штейнером, но вскоре же оно состоялось; и было длительно; д-р весьма внимательно выслушал мою концепцию световой теории, входил в детали, отвечал на мои вопросы, связанные с Декартом и Ньютоном; мы говорили о новой теории строения материи; д-р рекомендовал мне сочинения физика Планка; и совершенно поразил своею осведомленностью в ходе развития естественнонаучных вопросов последнего времени; между прочим: он мне сказал, что общая линия моей позиции взята верно: *"Я прежде, - заметил он, - хотел дать философское обоснование антропософии, а потом отвлекся в другую сторону; философией антропософии мало кто интересовался; разумеется всем проблемам, затрагиваемым на курсах моих, можно было бы дать философское обоснование..."*

Беседа с доктором познавателью удовлетворила меня весьма; обо мне и о странных состояниях сознания моего мы не говорили; а мне было скверно: умственное переутомление сказывалось бессонницей; сердечный невроз сказался удушьем; иногда я почти не мог говорить; боязнь о здоровье Аси обострялась (вечерами продолжалась повышенная температура у ней); отношения к Наташе, принявшие форму болезненного эротизма, меня удручали (примешивались припадки ревности к Метнеру); отношения с Поццо приняли натянутый характер; я старался отвлечься от Наташи, и тогда страсть моя к ней раздражалась *припадками чувственности* вообще; я стал испытывать чувственность к *женщине* вообще; в это время многие женщины, попадавшие мне, возбуждали во мне чувственность; и я испытывал чувство *стыда*, что я, антропософ, не умею побороть в себе этой чувственности. Эти припадки чувственности сопровождалась ощущением гонения и навож-дения; мне начинало казаться, что кто-то образом женщины (то образом Наташи, то первой встречной) преследует меня. Подготавливалось нечто вроде мании преследования. Очень помнятся мне мои путешествия в Базель; и бесцельные, одинокие блуждания по улицам, в сыром тумане; по-прежнему я забирался в кинематограф; и сонно просиживал перед развернутой панорамой картин. Эти поездки в Базель оставляли в душе какой-то мутный след; мне почему-то делалось в Базеле жутко; и все-таки: я стал часто уезжать в Базель, чтобы хотя на день оторваться от сидячей жизни.

Помнится, что символом моей судьбы стал мне образ дюреровской гравюры: *"Рыцарь и Смерть"*; эта гравюра висела над моим рабочим креслом; я подолгу вглядывался в гравюру; она казалась мне вещей: я как бы говорил себе: "Это ты мрачный рыцарь, поехавший в смерть". Иногда возникал в сознании моем образ роковой черной женщины; и я порою сближал ее с образом Наташи; чаще же мне казалось, что Наташа лишь проводник этой женщины; что *какая-то черная женщина* есть - это мне чаще и чаще казалось: и она-то губит меня, возбуждая во мне чувственность к женщине вообще.

В это время под холмом, на котором стоял *"Bau"*, было отстроено бетонное отопление весьма странной формы; оно напоминало дикое существо с рогатой головой; рога - разветвлялись; это были - трубы; отопление соединялось с *"Bau"* подземным коридором; было жутко на вахтах спускаться в это отопление подземным ходом; отопление бывало заперто; выйти из него - значило: пройти коридором; охватывало чувство: вдруг этим коридором пройдет кто-нибудь.

Уже стояла весна: мы выставили окна; гром орудий слышался сильнее; и как-то особенно мучил меня. Как-то у нас состоялось мое чтение одной из глав книги против Метнера; присутствовали: Наташа, А.М. Поццо, Петровский, Сизов, Трапезников. Сизов был смущен резкостью моего тона; скоро он поехал в Цюрих; и должно быть рассказал Метнеру о моих напаках на него, потому что в Дорнахе появился Метнер, какой-то раздраженный и злой; он пришел ко мне с Сизовым и с первых же слов начал явно придирается ко мне; речь зашла о нашей былой деятельности в *"Мусагете"*. Я сказал, что в инциденте со мной *"Мусагет"* был неправ; он - вспылал; тогда Ася спокойно повторила мои слова: "Да, все-таки *"Мусагет"* был неправ". В ответ на это со стороны Метнера последовал взрыв дикого крика; он выскочил из нашего дома, не простившись; Сизов побежал за ним; впоследствии Метнер сказал Поццо: "Конечно, я погорячился: мне очень грустно, что я не извинился перед Анной Алексеевной". Несколько дней я ждал, что он пришлет извинительное письмо Асе; он его не прислал; тогда я послал ему короткую, спокойную записку, в которой просил его не бывать у нас и не адресоваться ко мне письмами, пока он находится в состоянии, не могущем нас гарантировать от подобных вспышек.

Так оборвались навсегда мои отношения с Метнером, бывшие некогда столь близкими (с 1902 года до 1911-го).

В это же время я очень тяжело воспринял одну из лекций д-ра Штейнера, в которой он говорил против "символизма", причем под "символизмом" д-р разумел "аллегоризм"; мне показалось, что выпад этот был выпадом против моей книги "Символизм", которую я когда-то поднес Марии Яковлевне; по окончании лекции я вскочил и громко сказал (чуть ли не вскричал): "Мы, символисты, года твердили, что между символом и аллегорией дистанция громадных размеров: под символизмом мы разумеем нечто другое..." И я демонстративно убежал с лекции; мою вспышку заметили Мария Яковлевна и графиня Калькрейт, сидевшая за моей спиной; когда я убежал, она сказала Асе: "Это - ничего: это барометр падает; когда падает барометр, со мной бывают такие же вспышки..." А Мария Яковлевна, встретившись со мной через несколько дней, улыбаясь, сказала: "Я слышала, что вы сердились на доктора за его слова о символизме; так ведь он говорил не о символизме в вашем смысле, а о том символизме, который имел место в Германии".

Вообще я ощущаю себя крайне нервным в этот период; и испытываю огромную тоску по России; однажды Сизов мне говорит (это было на портале): "Знаешь, Боря, Дорнах - не для нас, русских: сюда можно будет впоследствии приехать на курс и провести несколько праздничных дней; но жить всегда - нет и нет!" В это время Сизов и Петровский стали задумываться о том, что пора им двигаться в Россию; Сизов уехал в начале мая, с Форс-ман (петербуржанкою); Петровского я провожал в июне.

Дорнахская атмосфера становилась мне порой поперечь горла; дух догматизма и глупого педантизма множества "теток", расселившихся в Арлесгейме, меня раздражал; особенно раздражали сплетни, распространяемые "тетками"; я говорил себе, что вот уже 3 года как я вращаюсь среди антропософов; и в конце концов я "не узнал"; мои моральные устремления, мои литературные труды абсолютно никого не интересуют, а сложнейшие душевные переживания мои - "нуль"; как был я для всей этой массы "unser lieber naive Herr Bugai'eff", так и остался; кроме того: я стал замечать, что некоторые из наших членов точно косятся на меня; между мною и ими будто пробегает "черная кошка"; так, Энглерт, прежде такой внимательный ко мне, стал явно меня сторониться; охладели мои отношения с Рихтером; Седлецкие тоже неприязненно оглядывали меня; Валлер и Митчер выказывали холодность; Классен и Эккартштейн - тоже; холодок в отношении к себе я подмечал и у Шолль. Кто особенно меня не любил, так это - Вольфрам (председательница Лейпцигского отделения, в то время жившая в Дорнахе: ее дочь занималась усердно эвритмией); чаще я виделся с д-ром Гёщем, относившимся к нам с большою симпатией; ближе сходились мы с мужем и женою Полляк (оба занимались живописью); Полляк был интересен между прочим тем, что еще до антропософии годы шел мистическим путем и имел "стигматы". В это время появились в Дорнахе муж и жена Стракош (из Вены); она была художница, а он - инженер, интересовавшийся естествознанием (впоследствии Стракош стал преподавателем Вальдорфской школы). Оба у нас бывали.

Более сближались мы с Ван-дер-Паальсом, который появлялся у нас чаще и чаще. И вычертился русский кружок, с которым встречались мы почти постоянно: Ильина, Дубах, Фридкина, Н.А. Маликов, К.А. Лигский, ставший антропософом и усердно работавший над стеклами в мастерской Рихтера. (Т.А. Бергенгрюн и Т.Г. Трапезников были моими особенными личными друзьями в то время.) Кажется, в то самое время к Трапезникову начал наезжать Мих. Петр. Кристи из Лозанны, где он жил вместе с Луначарскими; он с интересом расспрашивал о постройке "Bau" и брал от Трапезникова книги доктора (которые, кажется, ему переводил Луначарский); к Ильиной стал из Берна приезжать Гавронский (философ-когезианец и социал-революционер); Ильина познакомила его со мной; он однажды явился ко мне и попросил меня рассказать ему основы теории знания Штейнера; его водили на "Bau" и хотели испросить разрешение на лекцию доктора. Но впуск посторонних был очень строг; Гавронского не пустили; он очень обиделся; и, кажется, перестал появляться в Дорнахе. Наташа в это время усиленно занималась у Рихтера в мастерской на стеклах; ей поручили красное стекло, на котором должна была быть вырезана огромная голова "посвящаемого", сделанная с наброска д-ра Эккартштейн (помнится, когда Эккартштейн работала над рисунком своим, она рисовала "глаза" с меня); в группе резчиков по стеклу, сгруппированных в домике Рихтера, помню: братьев фон-Май, Седлецких, Лигского, Ледебура (с которым мы мало стали видаться); скоро к этой группе присоединилась молоденькая художница фон-Орт, ставшая в 16-м году невестою Ледебура, а потом вышедшая замуж за Лигского (уже после моего отъезда). В это время начались интенсивные работы художников по подготовке к раскраске куполов "Bau", М.В. Сабашникова работала над картиной "Египетского Посвящения"; Перальтэ разрабатывала один из мотивов большого купола; Линде и Полляки (муж и жена) работали над эскизами малого купола; Асе поручил Рихтер разработать один из мотивов для стекла. К тому времени д-р вылепил голову Христа, а англичанка Мэрион с этой модели разрабатывала огромную статую Христа (из пластилина); статуя впоследствии должна была быть вырезана из дерева.

Апрель.

Приближалась Пасха; начались усиленные репетиции эврит-мических номеров, долженствующих фигурировать на пасхальном празднестве: Ася и Наташа принимали деятельное участие в репетициях; страстную неделю я просто задыхался от тоски, от мутности, от какой-то загрязненности атмосферы вокруг; в довершение всего меня волновал и мучил обозначившийся прорыв западного фронта; я, как пасифист, хотел бы, чтобы война вовсе окончилась; и окончилась вничью; я готов был даже на то, чтоб стать на точку зрения пораженчества, при условии, что окружающие нас немцы-антропософы станут на такую же точку зрения; но видеть довольство этих немцев тем, что наши солдаты гибнут, чувствовать самоуверенное потирание рук у тебя за спиной, - нет: на это я был несогласен.

Кроме того: атмосфера, сгустившаяся над нашей колонией, была просто ужасна; впоследствии Энглерт признавался М.В. Са-башниковой, вспоминая об этом времени: "Тогда, действительно, в Дорнахе пахло каким-то козлом". (Разумел он козла шабаша.) Чему приписать эту странную атмосферу, не знаю. Помню лишь, что пасхальная лекция д-ра была печальна; я вернулся с лекции и встретил отчаянием пасхальную ночь(79).

Скоро доктор и Мария Яковлевна уехали в Германию, - недели на две(80); в домике доктора проживала одна Валлер.

Вот тут-то и произошел со мною незабываемый по странности (опять это слово!) случай; я внутренне в последний раз разорвал все с Наташей; и тотчас почувствовал около себя чье-то жуткое присутствие; состоянье сознания моего, истощенного уже двухмесячной с лишним бессонницей, было ужасно: днем я спал наяву (события жизни протекали в каком-то сплошном тумане); а ночью не мог сомкнуть глаз до зари, забываясь слегка на рассвете.

И вот (помнится, это было в четверг, на Фоминой неделе) однажды, находясь в таком сонном состоянии, я взял бумагу и пером стал царапать какие-то закорючки; из закорючек сложилось до ужаса жуткое, женское лицо; в лице была печать сатанизма; я показал Асе это лицо; и она отстранила его от себя, сказав: "Фу, какая гадость!" А ночью произошло со мной следующее: я, по обыкновению, не спал; и томился; Ася спала; свет в моей комнате был зажжен; вдруг, плотно притворенная дверь, ведущая в коридорчик, сама собой растворилась; в обычных условиях она не могла раствориться; я вскочил с постели и притворил ее; но едва я лег, как дверь опять растворилась; я чувствовал, что что-то не--видимое (верней, кто-то *невидимая*) наполнило комнату; я почувствовал, - кто-то страшный стоит у моего изголовья; верней, - кто-то *страшная*, потому что было явно, что это - *страшная женщина*; я вскочил с постели, разбудил Асю, рассказал ей о явлении с дверью; Ася не обратила на это внимания; и заснула. Я, по обыкновению, провел ночь в бессоннице.

На следующее утро меня охватила тяжелая тоска; и точно невидимая сила вытянула из дому; совершенно безвольно я стал бродить по окрестностям, не помню, как очутился у трамвайной остановки в Нижнем Дорнахе; не знаю почему неожиданно для себя сел в трамвай' и увидел, что еду в Базель: "Зачем?" - подумалось мне; в Арлесгейме в трамвай села одна из американок; Шолль ее провожала на станции; мне показалось, что Шолль посмотрела на меня особенно значительно. Очутившись в Базеле, я бесцельно забродил по улицам; остановился у домика Эразма, пошел обратно, забрел в какой-то неуютный и мрачный кинематограф; почему-то мне показалось, что ряда за два за мной сидит фрау Поольман-Мой; но я не взгляделся: я даже не знаю, почему мне это показалось: видел ли я ее, или приснилось, что видел, - не знаю; я был точно в трансе; помнится, около меня были свободные места; что показывали на экране, не видел; вдруг, во время представления, раздвинулась черная занавеска и женское существо, все в черном, странной, шмыгающей походкою прямо направилось ко мне, село рядом со мной, хотя почти весь ряд был пустой; существо прижалось ко мне; я не знаю, почему я не отодвинулся: руки и ноги мои оцепенели, а черная женщина продолжала ко мне прижиматься, отчего мне делалось жутко; ужас меня охватил, а я не мог двинуться; так сидели мы в пустом почти ряду, странно прижатые друг к другу; в антракте вспыхнул свет; я сделал попытку взглянуть в лицо странной соседки, но она как-то гадко повернулась ко мне спиной; я мельком увидел неприятно-странные черты ее лица и как будто красный шрам на худой тонкой шее; свет погас и черная женщина опять прижалась ко мне; меня охватило отвращение; преодолевая тяжесть, сковавшую руки и ноги, я поднялся с места, взглянув в лицо своей соседки; во тьме неясно я увидал безобразные черты ее; она опять повернула от меня лицо; я бросился прочь из "*Кино*"; в страхе, наполненный точно туманом, я сел в трамвай, уносясь в Дорнах; как во сне по дороге запомнились лица мне нескольких из наших; помнится, что когда я бежал из Нижнего Дорнаха к нам, на холме, мне казалось, меня кто-то преследует; я чувствовал внутренний запрет говорить с Асей о непонятном для меня происшествии в "*кинематографе*". Едва я пришел домой (Аси не было дома) - стук в дверь: "Herein..." Входит Шолль; я удивился ее появлению; обычно она никогда не бывала у нас; лицо Шолль меня поразило опять, как и на станции в Арлесгейме; она смотрела на меня с напряженным вниманием; и точно взглядом испытывала; она спросила, прищуриив глаза, точно она знала об охватившей меня лихорадке, - последствии встречи в кинематографе: "Ну, как вы себя

чувствуете?.." Я принужденно ответил: "Да ничего..." Шолль с недоверием на меня посмотрела; и с неопределенным выражением сказала: "Ну, вот и/хорошо". Она вернула мне взятый у меня томик Гёте. Мне показалось, что ее появление у нас только предлог - посмотреть на меня; я подумал: "Для чего ей надо знать мое самочувствие?.." Помнится, - с тяжелой грустью, под вечер, я вышел на луг перед нашим домиком; встретил Наташу; у нее были в руках цветы; у меня вырвалось что-то горькое; я сказал: "Ну вот, начинается весна, а я тут, точно скот бессловесный..." Почему я это сказал, не знаю. Помнится, как в тумане: встретил Ильину с приехавшим к ней Гавронским.

На другой день, в субботу, меня охватила тревога, переходящая в страх перед чем-то неумолимым, что должно стрястись со мной; с утра Ася отправилась в домик Рихтера работать на стеклах; я остался один в трех пустых комнатах; и меня опять охватил страх; я вышел на балкончик и бросил взгляд на дорогу, проходившую мимо домика доктора; дорога вела в кantine; я увидел баронессу Фитингоф, быстро шедшую к кantine; эту Фитингоф я не любил; она казалась мне странно болезненной, медиумичной, порой даже подозрительной; были моменты, когда мне казалось, что она - "*шпионка*" из темных оккультических обществ, подосланная к нам; однажды эта Фитингоф говорила со мной о каком-то оккультическом обществе "*маздаистов*", участников которого она знала; эти "*маздаисты*" действовали внутренним насилием над волей человека; и вот мне показалось, что сама она "*мазда-истка*" и что она мне чем-то угрожает; что она трется среди нас, рассеивая дурную атмосферу вокруг. Итак: я увидел шедшую Фитингоф (ее звали "*стрижкой*" в русском кружке); с ней рядом хромало отвратительнейшее жуткое существо в черном: это была кривобокая, страшная, худая женщина; я не видел ясно лица этой женщины; но в походке и в жестах ее было что-то угрожающее, сатанинское; и будто ведомое мне из кошмаров; точно существо из мира Гойи и Брейгеля воплотилось в этот солнечный день; одно мгновение мне показалось, что "*черная женщина*", ковылявшая за Фитингоф и что-то ей отвратительно рассказывавшая, была моя вчерашняя соседка по кинематографу; и тут, неизвестно почему, мой страх превратился в панический ужас; но я сказал себе: "Вздор, надо быть трезвым: это - случайное совпадение..." Тем не менее, - мне стало не по себе; я почувствовал, что не могу спокойно оставаться в комнатах; я взял томик Гёте и отправился гулять; не знаю почему, меня с неудержимой силою потянуло в домик Рихтера; Рихтер встретил меня как-то особенно; он взглянул на меня с какою-то вещью, испытующею улыбкой и очень сердечно потрепал по плечу: "Ничего, не надо бояться: надо быть мужественным!" Я - вздрогнул: мне показалось, что в тоне Рихтера есть что-то приготавливающее меня к потрясению, которое должно вот-вот надо мной разразиться; Рихтер говорил со мной так, как говорит оператор с тем, кого он собирается оперировать; к нам присоединилась Ася; Рихтер сказал нам очень властно: "Ну теперь пойдемте за мной; я вам - покажу кое-что..." Взял меня за руку и так же властно вывел из домика; с нами шла Ася; я все время соображал, случайна или не случайна странная интонация Рихтера; но я привык по прежним встречам с Рихтером видеть в нем какое-то двойное существо; то это был простой, веселый балагур, то - будто ведающий что-то, посвященный во что-то; так - в дни моей внутренней мистерии на берлинском генеральном собрании 1914 года он точно знал события внутренней жизни моей; в моих имажинациях он всегда играл очень странную роль: вводящего меня в какие-то внутренние обряды моей души; в его интонации, в жестах его проявлялось тогда нечто ритуальное; и нельзя было решить, сознает ли он то, что его жесты выглядят ритуальными жестами, или это совершенно произвольно в нем. Ту же ноту двойственного отношения к действительности я подметил в нем в моменте, когда он, взяв меня за руку, повел из своего домика к отоплению; помещение отопления, имеющее вид странного рогатого существа, называли мы, антропософы, условно "*Ари-маном*", потому что в общей концепции плана "*Bau*" отопление было именно ариманическим началом в "*Bau*"; Ася шла за нами; Рихтер привел нас во внутреннее помещение отопления; спустился с нами вниз; и сказал тем же странным обрядовым голосом: "Мы теперь - в недрах Аримана: вот как может человек пасть!" Я стал внутренне прислушиваться к словам Рихтера. Он же, снова взяв меня за руку, повел подземным коридором, соединяющим "*Аримана*" с Гетеанумом; это шествие нас троих вверх к Гетеануму по подземному коридору напоминало мне какой-то обряд; попав внутрь Гетеанума, мы стали подниматься по лесам - вверх, к куполу; Рихтер продолжал держать меня за руку; став под куполом, он сказал: "Так после падения может человек вверх подняться..."

Я был охвачен внутренним волнением; мне казалось, что Рихтер говорит о событиях моей внутренней жизни... Мы трое постояли под куполом. Рихтер опять мне сказал: "Не надо бояться..." И повел вниз; я спокойно ждал, что будет дальше; Рихтер вывел нас на веранду, окружавшую Гетеанум; внизу, под верандой, увидел я семидесятилетнюю старушку Киттель, разговаривающую с семидесятилетним старичком Вагнером, нашим членом, приехавшим только что из Германии; я его еще не видел и обрадовался ему; и Киттель, и Вагнера я любил; они стояли у ограды Гетеанума, откуда спускалась дорога в кantine, разговаривали, поглядывали на Гетеанум; и точно поджидали кого-то; Рихтер повел нас к ним; увидев, что мы идем, они пошли вниз, нам предшествуя. Рихтер значительно на меня посмотрел; и мне показалось под действием его взгляда, что меня ведут вниз, точно под конвоем, состоящим из Рихтера и двух самых старых и

очень чтимых членов Общества. "Что это значит" - молнией мелькнуло во мне; у конторы, мимо которой мы прошли, стояло несколько членов Общества, относившихся, кажется, ко мне неприязненно; когда мы проходили мимо них, мне показалось, что они крикнули что-то неприязненное по моему адресу; все это прошло, как во сне. В кучке стояла Зонненклар.

Спускаясь к кantine, я видел, что на пустой лавочке сидит Валлер; и точно поджидает нас; увидев нас, она со всех ног бросилась к кantine, точно предупреждая кого-то, находящегося внутри кантины о нашем появлении. "Куда она?" - мелькнуло во мне. Каква мне помню, что мы с Асей заняли место за пустым столиком снаружи (был час кофе); с нами сел, кажется, Кемпер; Ася принесла кофе себе и мне; не помню, куда девался Рихтер; когда я уже кончал кофе, я увидел фрейлейн Митчер, всю в черном; она подходила к нам какими-то торжественными шагами; за ней шла та самая ужасная, кривобокая женщина в черном прихрамывающею походкою; ее лицо было мертвенно бледно, огромные губы расплывались в цинично-мерзкой улыбке в то время как злые, ослепительно фосфорические глаза пронизывали меня, как электричеством; Митчер подвела ко мне *ужасное* существо и, встав между нею и мною в ритуальной (как показалось мне) позе, значительно поглядывала то на меня, то на женщину в черном и спросила: "Не знаете ли вы, где баронесса Фитингоф: вот эта дама ее ищет". И тут мне стало ясно, что хромая *женщина в черном* с ужасным лицом, отвратительно улыбающаяся мне, была тем самым существом, которую я видел час назад, идущей с баронессой Фитингоф к кantine; я привстал и ответил, что не знаю где Фитингоф. Митчер бросила: "Как жалко". И пронзительно посмотрела на меня; а кривобокая *женщина в черном* повернула свое лицо; и тут на тощей шее ее я увидел кровавый шрам, - тот самый кровавый шрам, который я увидел в "*Кино*"; это была ужасная вчерашняя моя соседка по "*Кино*"; тут меня охватила "дрожь, страх, недоумение, почти ужас; а Митчер, значительно улыбнувшись мне, отошла; черное "*существо*" село на лавочку, наискось от нас, отвратительно улыбаясь и ослепительно блистая на меня своими зелеными, фосфорическими, не то безумными, не то сатанинскими глазами; я не знаю, что во мне поднялось; тут я увидел бегущую ко мне с холма Наташу; Наташа тоже была вся в черном; мне показалось, что черная женщина могла бы быть *противообразом Наташи*; если бы Наташа была уродлива до последних пределов, если бы она стала ведьмой и участвовала бы в черных шабашах, то лицо ее могло бы приобрести этот отвратительный отпечаток... Я встал и не слыша под собой ног пошел вверх от кантины: Наташа твердо сказала: "Я пойду с тобой". И в словах ее мне почудилось опять что-то ритуальное. Точно она в минуту моей брошенности и смертельного ужаса оказалась рядом со мною; Ася же ничего не видела, ничего не понимала, что происходит. Пока мы поднимались кверху, Наташа мне говорила невнятное о том, что около Гетеанума видели каких-то сомнительных людей, что готовится оккультное нападение на всех нас, что кто-то у входа в Гетеанум видел змею, что все чем-то встревожены и перепуганы и что к входам, ведущим на стройку, с сегодняшнего дня приставлена стража, что у всех без исключения членов при входе в Гетеанум будут спрашивать членские билеты; я едва слушал Наташу, потрясенный появлением передо мной образа черной женщины; погода хмурилась; поднялся ветер: он свистал и подывал, крутя пылью; в моем же сознание вертелось: "Где я прежде видел это страшное лицо и красный шрам на шее?.." И вдруг - вспомнилось: в феврале мы с Асей возвращались в трамвае из Базеля в Дорнах; рядом со мною сидела эта костлявая, безобразная, бледная как мертвец, кривобокая женщина с красным шрамом на шее; и сумасшедшими, фосфорическими глазами покаши-валась на меня; а когда я пришел домой, то мне бросилось в глаза произвольно нарисованное страшное женское лицо, накануне встречи в *кинematографе*; это лицо глядело на меня с клочка бумаги и странно напоминало лицо черной женщины; вспомнил и происшествие с дверью: дверь отворилась сама собой и в комнату мою вошло женское, невидимое существо, наполняя душу страхом. Тут я чуть не вскричал от ужаса. Как? Мой кошмар воплотился? Ужасная Недотыкомка получила плоть и кровь, стала преследующим меня двуногим существом? Сперва я ощутил невидимое присутствие какой-то *черной женщины*, *суккуба*, в моих переживаниях принимавшего иной раз вид Наташи; потом Ася и Трапезников стали в снах бороться с какими-то черными женщинами; потом заговорили о невидимых оккультных врагах, нападавших на нас; наконец я в некоем трансe воплотил на бумаге сатанинскую женщину; она, невидимая, вошла ко мне ночью, отворив дверь; наконец она, инкогнито, под села ко мне в кинematографе, ко мне прижималась; и наконец появилась в кantine, как бы представленная мне Митчер.

Когда все это встало предо мной, меня охватил такой ужас, что я, помнится, вскрикнул вслух. Что это значило? Существо астрального мира встало передо мною? Кто оно? Есть ли это мой двойник? Или - Наташин двойник? Или - страж порога? Если последнее, то значит встреча со Стражем Порога происходит на физическом плане? Нет, этого не бывает! Это слишком ужасно! Да, в лице неизвестной *черной женщины* воплотилось все самое гадкое, подлое, низменное, что жило в моем сознании и бессознании, и вот это все как оплеуха мне брошено в лицо; я почувствовал, испытывал леденящий страх, гадливость и одновременно ненависть к *этой женщине*; и как бы желание ее уничтожить; но я чувствовал вместе с тем, что глаза этой женщины грозили мне стародавнюю яростью и как бы желанием в свою очередь уничтожить меня; стало

ясно, что физическое воплощение моих темнот и скверн в виде появившегося среди нашей колонии отвратительного существа будет всюду появляться передо мною, дискредитировать меня, выдумывать на меня небылицы; и в этом смысле мое вчерашнее сидение с ней в "Кино" (где она прижималась ко мне, а я не противился ей в каком-то трансе) она повернет против меня, распространяя про меня гадости; что произошло со мною тут, я отказываюсь передать. Уже вернулась Ася из кантоны, а я сидел в ужасе, бормоча что-то невнятное (я чувствовал, что Лею я не могу пока посвятить в мое несчастье).

Предстояло вечером итти на лекцию д-ра Унгера об антропософской морали, а я знал, что опять увижусь с... но с кем? С сумасшедшей, но - как появилась она среди нас? С своим видением?.. И вместе с тем: я знаю, что должен преодолеть свой ужас; и - пойти на лекцию; или - бежать навсегда, куда глаза глядят, из Дорнаха.

И я пошел: что мне стоило это, видит один Бог.

У входа в сарай, где читались лекции, Энглерт весьма сухо мне сообщил, что надо иметь членский билет; кажется, Ася пошла за билетами, а я остался в каком-то глупом положении сидеть около сарая на лавочке; и вот, к ужасу моему, я увидел - то самое, чего боялся: ужасное кривобокое существо вела за руку вверх из кан-тины нарядно одетая графиня Калькрейт; проходя мимо меня с *черной женщиной*, она значительно поклонилась мне; мне показалось, что ведение *ужасной незнакомки* на лекции обставлено, точно образ *введения* чорта в антропософский храм; *женщина*, проходя мимо меня, блеснула на меня глазами и опять на широких, животных губах этого мертвобелого лица появилась отвратительная улыбка. Случилось так, что мы с Асей прошли в помещение для лекции вслед за нею; проходя, я поклонился знакомой шведке (антропософке); но шведка, обычно любезная со мною вплоть до заискивания, дерзко посмотрела на меня, демонстративно дернув голову в сторону и не ответив на поклон; я увидел, что иные из членов как бы сторонятся меня; а в душе отдалось: "Ага, - вот уже начало действия какой-то неведомой мне клеветы на меня со стороны появившегося отвратительного создания..." В чем заключается эта клевета, я не знаю, но знаю, что она - ужасна для меня (мне представилось, что неведомая *черная женщина* могла рассказать обо мне гадости по поводу непонятного моего поведения в "Кино", когда я, будто в гипнозе застывший, не мог отсесть от нее, когда она прижалась ко мне); самым ужасным было то, что *черная женщина*, - физическое воплощение всех скверн моей души во всех моих воплощениях; и вот теперь эти невыносимые для меня самого скверны все рассматривают.

В помещении для чтения лекций в первом ряду, посередине, перед эстрадою Унгера было поставлено нарочито принесенное, как бы почетное кресло: и туда, в это кресло, усадили *женщину в черном*; я рассматривал это, как поругание себе; и страдал безмерно; Валлер и Митчер сидели сбоку; обе опустили головы в руки; и не глядели на меня; я чувствовал, что обе сопереживают мои страдания; Ася сидела рядом со мной и *ничего не замечала*; я же не мог, разумеется, ни у кого спросить, что это за женщина появилась среди нас; наконец, мне могли ответить: "О ком вы спрашиваете?" Я указал бы на "нее"; и мне ответили бы: "Да там никого и нет". Действительно: несколько дней я думал, что просто сошел с ума и что "*существо*", повергающее меня в панический ужас, моя галлюцинация.

Доктор Унгер читал в этот вечер о теософской морали; как надо не отделяться от ариманического начала в себе, но его внутренне переплавлять в себе; попутно он коснулся того факта в жизни постройки, что окончено помещение для отопления "*Bau*", так называемый "*Ариман*", что это символ того, что мы включили в себя ариманических существ и должны теперь нести их в себе, перерабатывая; слова его двоились во мне; мне казалось, что его намек на введение "*ариманических сил*" в наше Общество и "*введение*" торжественное Калькрейт. "*черной женщины*" в помещенье для лекций - события одного порядка; и вместе с тем, - какою-то нездешнею логикой я догадывался, что я - виновник введения "*черной женщины*" в нашу среду; после лекции д-р Унгер, который всегда был далек от меня, подошел ко мне и с серьезною грустью, даже с каким-то внутренним вздохом спросил меня, принимаю ли я слова его лекции; я сказал: "Принимаю". Пожал мне руку; и сказал: "Я очень рад". Явную поддержку в этот вечер я испытал со стороны Бауэра и Моргенштерн; и он, и она были со мной очень нежны; эта поддержка со стороны Унгера, Бауэра, Моргенштерн и ощущаемая внутренне поддержка Валлер - были причиной того, что я мог вынести явно враждебные взгляды большинства наших членов; и главное: мог вынести присутствие "*черной женщины*" на лекции, ее наглые улыбки и злые взгляды, бросаемые на меня.

На следующий день, воскресенье, опять вечером была лекция Унгера; опять я с ужасом потащился на встречу с "*черной женщиной*", не будучи в состоянии понять, что все это значит.

Эти два дня настолько сломили меня, что всю следующую неделю я был явно болен.

Всю последующую неделю я ощущал полную невозможность появиться на стройке; я говорил себе: "Перед полною абракадаброй судьбы, перед ужасом без названия не отступил ты; ты, мужественно преодолевая отвращенье и страх, появился на лекциях, ожидая неведомого позора. Довольно: теперь ты имеешь моральное право засесть у себя на дому". Всю последующую неделю я потрясался *непонятностью* выступления передо мной странной женщины; откуда она

появилась на физическом плане и кто она, на это не мог я ответить себе; почему она выступила передо мною так именно, как выступила, почему все ее с точки зрения внешней вполне непонятные жесты (в кино, в кантине, на лекции Унгера) вполне гармонировали со смутнейшими от всех таимыми моими переживаниями, этого не мог я понять; и я стал рассуждать: это явление выступления передо мной моей кармы; теперь выражение "созревание кармы" получило для меня новый смысл: подобно тому как в сознании моем *черная женщина* сложилась внутри моих собственных переживаний (переживаний низшего "Я") и потом как бы выступила из меня самого, так точно, как луна некогда отделилась от организма земли, - так каждое житейское переживание, если бы мы могли проследить зарождение его оком духовной науки, складывается сперва внутри нашего морального мира; теперь, горьким опытом я узнал, что такое *созревание кармы* и что такое выступление ее изнутри во вне; но объяснение странного события общими обсуждениями о карме не удовлетворяло меня; я хотел более его конкретизировать; я понимал, что это явление связано с переживанием порога; вместе с тем, *женщина* стояла передо мной одновременно и как двойник моего низшего "Я"; стало быть: эта женщина ничто иное, как мой "двойник"; тогда - как объяснить ее биографию? Ведь она где-то родилась, имела какую-то свою жизнь прежде чем выступить передо мной в таком ужасном для меня виде; в-третьих: мне представлялась *"она"* одновременно: то двойником Наташи, то ее противоположностью. Чем же она была в самом деле? Или все, чем она являлась мне, мои субъективные иллюзии; или же, наконец, ее и нет вовсе: она моя галлюцинация (несколько дней после странной встречи я так именно думал); в таком случае я сошел с ума. Но почему же часть членов нашего Общества начала на меня коситься, а Эккартштейн и шведка перестали даже со мной кланяться; стало быть, *"она"* - есть; и она распространяет обо мне какие-то меня порочащие слухи; тут охватывало меня просто бешенство; за что она порочит меня? Ведь она же сама вела себя странно со мной в *"кино"*; и как опровергнуть клевету на себя, когда не знаешь, какого она рода; если бы обратились ко мне прямо и спросили: "Правда ли, что вы то-то и то-то?", то можно было бы опровергнуть; лучше даже признаться в совершенном преступлении, если бы такое было совершено, чем эта двусмысленная неопределенность, эти взгляды, полные укоризны и даже брезгливости; я чувствовал, что меня в Обществе иные из членов считают чуть ли не преступником, хотя я не знал, в чем мое преступление; быть опороченным в ответ на мой глубочайший порыв, заставивший меня бросить Россию, где все меня знали и многие любили, - нет: это слишком ужасно! Но меня не обвиняли ни в чем: *меня только обходили*. Тут поднималась новая догадка для объяснения бывшего: это *какая-то черная магия* злых оккультистов, проникших в наше Общество; надо бы поднять тревогу и указать всем на двусмысленное по[ве]дение *"существа"* (так я называл про себя мою страшную незнакомку); с другой стороны: значительные предупреждения Рихтера (*"не бойтесь"*), какой-то обряд, через который он меня проводил до встречи с *"существом"*, намеки Шолль, намеки лекции Унгера о том, что мы ввели в свою среду ариманические существа, явно доказывали, что есть группа членов, знавших что-то обо мне и о восприятии моем *"черной женщины"*; стало быть, - думал я, - это встреча есть действительно встреча, продиктованная тайнами духовного знания; в таком случае надо вооружиться мужеством и терпением: ждать духовно-научного разрешения этих переживаний; скажу откровенно: переживания этих дней были самыми тяжелыми переживаниями моей жизни; скажу еще: душа моя испытывала все эти дни такой страх, о существовании которого я даже не подозревал; но едва я себя настраивал на необходимости терпеливо все это пережить в себе, как в душе вставала догадка: "А не подстроен ли нарочно весь этот инцидент с *черной женщиной!*" В таком случае - думал я - в нашем Обществе вместо подлинной мистерии фигурирует бутафория застраивания тех, чью самостоятельность надо сломить во что бы то ни стало! Тут я вспоминал все то светлое, что было мной пережито у доктора; и говорил себе: "Нет: это же так: если бы* например, проведение Рихтером меня через *"Ариман"* к куполу и сведение к кантине, где ждала *"она"*, было подстроено ранее, то за мной бы ранее пришли от Рихтера; ведь сам же я к нему пришел". И - далее: ведь никто не мог знать, что я еду в Базель и зайду в такое-то *"Кино"*,.. И - далее: "ведь не могли же подстроить, чтобы я накануне встречи нарисовал у себя на листе бумаги ее лицо"... Все объяснимые версии, которые я строил в дни следующие за встречей, - разбивались, оставалось одно объяснение: странное событие, переживаемое мною, имеет отношение к духовной действительности; и стало быть: от этой действительности не убежишь; стало быть: надо оставаться на своем месте и терпеливо превозмогать страх, негодование, тоску, гадливость.

Но одного я не мог: оставаться в закупоренном молчании; ведь каждый следующий миг надо было ожидать самых неожиданных и ужасных для меня продолжений *"инцидента"*; надо вовремя предупредить кого-либо из близких; кого? Разумеется Асю, самого близкого мне человека. Но как нарочно, Лея была слаба и Фридкина мне запретила чем-либо ее тревожить; я сознавал, что приобщая Асю моему ужасному миру, не обойдешься и без разговора о Наташе; а все это могло больно ушибить Асю и углубить в ней ее болезнь, довести до *"чахотки"*.

Я пошел к Фридкиной и имел с ней длинное объяснение, в котором признался ей, что мне необходимо иметь серьезный разговор с Асей. Фридкина отвечала уклончиво; мне почудилось, что

она нечто знает обо мне (ведь она была приятельницей Фитингоф, а Фитингоф водилась с "существом"); попутно я жаловался Фридкиной на бессонницу, на переживания страха, на умственное переутомление и на тоску по России; Фридкина слушала меня внимательно, говорила со мной серьезно; мы пошли от нее по одной дороге (она шла в "Bau", а я шел домой); невзначай я повернулся и поймал на лице. Фридкиной лукаво-хитрую улыбку, брошенную мне в спину: "Опять, - подумал я, - тот же смешок; значит и она что-то знает, что знают все обо мне: только я ничего не знаю..." И я решил - скорее, скорей все рассказать Асе: какую угодно ценою облегчить свою душу-Аси не было дома: она была на "Bau"; я стал молиться, чтобы разговор этот облегчил меня, чтобы Бог помог нам всем. Я открыл Евангелие, загадавши, сказать или не сказать все: вышло - *сказать*. Я - принял решение: и когда я [принял] решение, я мгновенно почувствовал, что вся атмосфера вокруг меня наполнилась какими-то угрожающими мне змеями; и они все обратили на меня головы и зашипели; и этот шип гласил: "Не смей говорить, - молчи, молчи, молчи..." В это мгновение я услышал отчетливо внешним слухом, как в пространстве комнаты раздалось явственное шипение; но душа ответила на шипение: "Я все равно все-все-все расскажу Асе..." И шипение оборвалось; и - змеи распались. Несомненно, тут я наткнулся на галлюцинацию слуха.

Я стал ждать Асю.

Вот она отворила дверь. Сразу поняла она, что я в страшном волнении; она ласково улыбнулась мне; я усадил ее на диван, стал перед ней на колени и, запрятав голову в ее коленях, несвязными, прерывающимися фразами все рассказал ей; она ровно ничего не понимала: "Ты рассказываешь какой-то сумбур? Какая женщина?"

Какое *Кино!* Что за вздор". Вникнув внимательнее, она стала утверждать, что никакого "существа" нет в Обществе, а женщина, подсевшая ко мне в "Кино", была вероятно проститутка; я ее смешал с кем-нибудь из членов; и этот вздор надо скорей ликвидировать: "Все это твои имажинации" - прибавила она. Впрочем она отнеслась ко мне с кротким участием как к больному; я ей все рассказал о Наташе, прося ее защитить меня от кокетства Наташи, прося ее уехать со мной из Дорнаха и кончить муку нашего пребывания здесь; к моему изумлению она с огромной легкостью отнеслась к моим словам о Наташе: "Просто все о Наташе тебе привиделось: если тебе интересно играть в то, что ты влюблен в Наташу, ну подноси ей цветы, что ли" - ответила она, улыбаясь мне и глядя меня по голове. Она тут же стала упорно защищать Наташу: "Наташа сестра моя и я знаю ее лучше тебя: все, что ты говоришь о кокетстве ее, - выдумка твоего больного воображения..." Эти слова одновременно и успокоили, и огорчили меня; успокоили, - потому что Ася легко выдержала этот тяжелый для меня разговор, как бы отведя его от себя и не впустив его в глубину своего сознания; вместе с тем: легкость, с которой она предложила мне "*увлекаться*" Наташей, - не соответствовала ни моему серьезному взгляду на мою жизнь с Асей, ни на глубину моей болезни в отношении к Наташе. Я показал Асе на *гангрену* моей души, предложил ей совместными усилиями оперировать эту гангрену; а вместо этого она кидала меня от себя - опять-таки к Наташе. Впоследствии я рассматривал это легкое отношение Аси к моим словам, как окончательно данную мне ею "*carte blanche*" увлекаться Наташею. "Если б она серьезно любила меня, - говорил я себе, - она поняла бы трагичность нашего положения и согласилась бы на мою просьбу уехать с нею из Дорнаха, чтобы не иметь Наташу вечно перед глазами..."

И все-таки: я облегчил свою душу в разговоре с Асей. Она уговорила меня пойти с ней на лекцию (чья была это лекция, не помню); мне было легко уже с Асей вместе перемогать ужас моего положения; я ей указал на "*существо*", оказавшееся тоже на лекции. "*Неприятное, болезненное существо*" - сказала Ася. Эти слова Аси были подтверждением для меня того факта, что "*черная женщина*" действительно существует, а не есть плод моего воображения. Через два дня, когда у нас была Наташа, Ася сказала мне: "А твое "*существо*" называется *так-то* (она назвала фамилию, которую я плохо помню, - не то "*Knecht*", не то "*Schwarz*", кажется - "*Schwarz*"); она приехала из Цюриха, ведет себя очень странно и по-видимому она - нервно больная; с нею в Цюрихе водилась Фитингоф; ее никто близко не знает; она теперь член нашего Общества и поселилась в Дорнахе... Боря в самом деле думает, - сказала она с улыбкою Наташе, - что эта "*Schwarz*" какое-то не материализованное, астральное существо..." - "Брр! - отозвалась Наташа. - Я ее немного видела: она - странная, страшная и злая: говорят, что она очень лжива..." Больше я ничего не расспрашивал: я не верил никогда Фитингоф; между тем: только Фитингоф, сама медиумичная и больная, знает ее; никто другой не знает... И опять, - версия моя о том, что из каких-то темных оккультных обществ в нашу среду вводят шпионов и шпионок - укоренилась во мне.

Доктор все не приезжал: я опять стал изредка просовываться на стройку; часть наших членов продолжала на меня коситься; но наша рабочая молодежь (Гейдебрандт, Кемпер, Бай, Людвиг, Стютен, Кучерова, Хольцлейтер, Гюнтер, Эйзенпрейсы и ряд других) относилась ко мне хорошо; "*существо*" как-то стушеввалось; на лекция я "ее" видел, сидящую где-то в задних рядах.

Я стал оправляться от своего ужаса; в это время я много молился и в душе моей начиналось какое-то очищение; в конце апреля появился доктор и Мария Яковлевна; оба были ко мне ласковы, - расцвели цветы; яблони покрылись цветом; погода стояла чудная.

Раз после лекции доктора, когда я стоял у выхода и ждал Асю, передо мной, в толпе членов вышло мое "существо", такое же мертвенно-бледное и такое же страшное; оно шло под руку со своею подругою, появившейся за нею вслед в нашем Обществе (подруга была тоже в черном); проходя мимо меня, она выразительно толкнула свою подругу локтем и глазами указала на меня. Этот жест мне напомнил, что ничто по существу не разъяснено для меня во всей этой темной истории; но я уже имел мужество терпеливо ждать разрешения всей этой загадки.

В скором времени Ильина принесла нам с Асей тетрадку - конспект одной из интимных лекций доктора; она сказала со значительным видом мне и Асе: "Вам это непременно надо прочесть..." По тону, с которым она передавала тетрадку, я понял, что тетрадка мне послана от Марии Яковлевны. В лекции описывались три встречи со Стражем Порога; первая имеет техническое название: "Встреча со смертью и с ангелическим существом"; вторая - "*Встреча со Львом*"; и третья: "Встреча с Драконом". Описание второй встречи меня потрясло; здесь Страж является *Львом*: как будто лев проникает в пространство, где ты замкнут; он бросается на тебя, а ты должен безбоязненно его приручить; "*дев*" - *существо женское*; встреча со львом имеет вид встречи со *страшным женским существом*.

С трепетом схватился я за эту лекцию: она вполне объясняла мне события, мной только что пережитые: "Надо бороться со львом, - говорил я себе, - надо его укротить"; на лекциях доктора я не без озорства старался встречаться с *черной женщиной*; и тут стал замечать, что она как бы ускользает от меня. Я до некоторой степени успокоился: чувствовалось, что успокоение это временное; смутная тревога продолжала жить в моей душе (я знал, - "*лев*" еще восстанет на меня): будет пережито еще что-то острое, странное и страшное; эти переживания и настигли меня в конце лета.

Пока давалась отсрочка.

В это время я получил письмо от Иванова-Разумника; он кое-что спрашивал меня о моих литературных работах; письмо его было проникнуто теплотою и признанием моих литературных заслуг; онр показалось мне, точно написанным из другого мира, где меня помнят, любят и ценят; здесь, в Дорнахе, никто меня не любил как Писателя; многие [на] меня косились, неизвестно за что; я был окружен страшными, мне непонятными знаками судьбы. И мне опять захотелось бежать от всей дорнахской абракадабры, порой столь оскорбительно для меня звучащей.

Май.

Май этого года стоит передо мною какой-то цветущий; и в нем звучит нота отдыха; пропадает бессонница, исчезает одышка; я чувствую себя спокойно и легче; мы с Асей, как бы условившись, не говорим о Наташе; Наташа часто появляется у нас: я теперь смотрю гораздо проще на мои отношения к Наташе; мне кажется, что не избегать Наташу я должен, а искать с ней встреч, чтобы в этих встречах изжилась моя мрачная страсть к ней. У нас с Наташей водворяется более друг к другу доверчивый стиль отношений; мы предпринимаем прогулки в окрестности Дорнаха, например, по направлению к Ангенштейну, за Эш; в этих прогулках, устраиваемых обыкновенно по воскресеньям, принимают участие кроме нас четырех то Рихтер, то А.С. Петровский, то Т.Г. Трапезников, с которым мы много говорим на темы итальянского искусства. Мне становится уютно с Поццами; они переселяются в милую виллу, недалеко от трамвайного тракта; вилла называется "*Sans Souci*"; и действительно: что-то в Наташе этой весной подлинно веселое и беззаботное.

В мае доктор прочитывает интереснейшую лекцию о второй части Фауста; на подиуме представляют сцену, открывающую вторую часть и кончающуюся длинным монологом Фауста, которого играет Валлер; по поводу последней фразы "*In farbig Abglanz haben wir das Leben*" доктор говорит очень глубокомысленные слова(81); Ася опять начинает работать на "*Bau*", вечерами же упражняется в эвритмии и продолжает развивать свой эскиз для стекол; в этом эскизе нарисованы черепа; у нас появляется череп, нужный Асе, как модель.

Наташа, разбив красное стекло в мастерской Рихтера, более не работает у него; Ася же часто бывает в этой мастерской; опять у нас часто появляется Рихтер, который жалуется на Седлецких, мешающих ему развернуть художественную работу; доктор поручил ему стекла; он выписал из Польши Седлецкого, как опытного работника, ввел его в свою мастерскую; а теперь вот Седлецкий ведет всяческие интриги против Рихтера и мешает ему работать; Рихтер высказывает нам опасение, что его скоро призовут отбывать войну; он бросит порученную ему доктором стекольную мастерскую; и всю работу будет заправлять Седлецкий, которому он, Рихтер, не верит; поэтому он просит Асю разрешить ему ходатайствовать перед доктором о том, чтобы она стала заведующей работами по стеклу; Ася отговаривается отсутствием опытности, но Рихтер настаивает, утверждая, что он будет уверен в этом случае за то, что эскизы доктора к стеклам будут разрабатываться в том именно направлении, какого хочет доктор; Седлецкий же, который мнит себя великим художником, не обязанным следовать эскизам доктора, загубит весь стиль стекол; в опасениях Рихтера было много правды; они подтвердились впоследствии; но Ася все-таки уклонялась от ответственности руководить стеклами; между тем: Седлецкий узнал о переговорах Рихтера с Асей; с той поры он и его жена (руководительница польской фракции А.О.)

сильно не взлюбили меня и Асю (они оказались натурами мелочными и мстительными); однажды мы с Асей налетели на неприличный скандал, разразившийся у Рихтера в мастерской между Седлецкой и Рихтером; Седлецкая, застав Рихтера у себя на стекле показывающим Асе что-то, повела себя неприлично и грубо: Рихтер вспылил и наговорил ей много дерзостей; формально он был неправ, но *de facto* прав, ибо он восставал против всей линии поведения Седлецкой у него в мастерской; а эта линия заключалась в сети интриг против Рихтера. Этот инцидент в мастерской тяжело разыгрался; Седлецкие обвинили Рихтера в грубости перед Марией Яковлевной; Рихтер нас назвал свидетелями инцидента; Мария Яковлевна вызвала нас к себе. Мы старались быть объективными; и все-таки: пришлось говорить в защиту бедного Рихтера, которого обвиняли все, начиная с Гросхайнцев; этого Седлецкие нам опять-таки не могли простить.

В это время в Дорнахе появился французский антропософ Леви, друг Шюрэ; он всем интересовался; и многое ему чрезвычайно не нравилось в Дорнахе; однажды, обедая с нами в кантине, он громко с подчеркиванием сказал мне: "Ведь вы известный писатель, которого книги ценятся в России, - сидите здесь в такое ответственное время; для этого нужно большое самопожертвование..." При этом он поглядел на сидящего рядом д-ра Унгера, как бы бросая ему упрек в том, что ко мне недостаточно внимательны здешние антропософы; Унгер, который действительно никогда не удостоивал меня разговора, с каким-то утрированным легкомыслием засвистел; Леви посмотрел на него с явным раздражением и с еще большей подчеркнутой любезностью обратился ко мне. Вскоре Леви появился у нас, просидел вечер и все старался узнать мое мнение о поведении немцев-антропософов по отношению к русским, а также старался узнать наше мнение о войне; увы, в словах Леви было много справедливого: во многом немцы срывались в такте по отношению к нам, русским, ведшим себя безукоризненно в трудных условиях международного положения; на это немцы отвечали далеко не с тем тактом; эта бестактность вызывала во мне взрывы негодования; но я многое прощал иным немцам ввиду действительной сердечности проявляемой по отношению к нам в иное время; а некоторые из наших с особой любовью относились к русским (как-то Штинде, Бауэр, Моргенштерн, Каль-крейт, Митчер, Киттель и ряд других лиц); этого всего нельзя было объяснить Леви, видевшему в немцах бросающуюся грубоватость и не видевшему внутренне хорошего отношения к нам немцев; кроме того: Леви для нас был *чужой*, случайно залетевший из Парижа, а с многими из дорнахцев мы, как говорят, "*съели три пуда соли*"; работали плечо в плечо над нашим любимым "*Bau*", его сторожили, видели много прекрасного и много горького; поэтому я был с Леви особенно осторожен; он ждал, что я буду ругать немцев, а я старался быть умеренным; и отмалчивался от его слов; скоро Леви перестал появляться на "*Bau*"; про него говорили, что он бунтует; скоро он исчез, а потом и ушел из Общества, вместе с Шюрэ обвиняя антропософов в немецком шовинизме, что было глубокой неправдой. Вскоре появились за границей слухи "антантистского" источника о каких-то русских ренегатах, предателях своей страны, сидящих в Дорнахе и позабывших Россию; письма подобного характера присылались из Англии и Франции дорнахским антропософам, циркулируя через границу, где письма перлюстрировались контрразведкою; во французской Швейцарии эти слухи передавались; росла какая-то темная сплетня (уже вне Общества) о том, что в Дорнахе выращиваются предатели своих стран (между прочим: то же говорилось в Берлине о немцах, оставшихся в Дорнахе); говорилось, что здесь сидит какой-то русский, забывший свое отечество, которого де немцы собираются использовать для немецкой пропаганды в России; боюсь, что этим "*ренегатом*" в подлых сплетнях оказывался я; и боюсь, что Леви, которому я не угодил своей сдержанностью, постарался во Франции меня чернить; мне казалось, что иные из поляков, бывших в Дорнахе, были в контакте с этими "*антан-тистскими*" сплетнями; не сомневаюсь, что Седлецкие постарались нас с Асей называть ренегатами.

Все эти слухи о Дорнахе и непонятный факт общения во время войны представителей воюющих стран создавали о нас легенды; в Германии косились на немцев-антропософов; во Франции и Англии утверждалось, что Штейнер - немецкий агент, работающий в Швейцарии чуть ли не по поручению немецкого штаба, а его ученики чуть ли не шпионы; верили и иные из швейцарцев этим нелепым басням, распространяемым о нас; на нас, разумеется, обратила внимание контрразведка всех стран; несомненно, что в нашу среду затесывались и сыщики, вплоть до швейцарских сыщиков; именно в мае обнаружили первые признаки того, что за нами следят; в июне же я впервые стал замечать слежку за собой лично.

В мае месяце я с особенным жаром принял за окончательную обработку и переписку моей книги, которую я озаглавил так: "Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности". Работа налаживалась; я отделявал стиль и очень увлекался деталями текста. День обыкновенно проходил так: мы вставали часов в 9; в 10 Ася была уже на "*Bau*", а я садился за письменный стол; и работал до обеда; к обеду возвращалась Ася, иногда с Ван-дер-Паальсом, который стал работать под малым куполом, над архитравом Юпитера, под руководством Аси; мы обедали (обед приносили из кантины) на террасе, которая выходила в яблони, занавешивавшие нас; сквозь зелень виделся против нас домик доктора; и очень часто мы видели доктора, возвращающегося со стройки к себе; мы жили от доктора в таком близком расстоянии, что часто слышали голоса его и

М.Я. из открытых окон виллы *"Hansbr"*, после обеда Ася шла до вечера в *"Bau"*; я же работал часов до 4-41/2; потом я шел либо в кантину, где Ася пила кофе, усаживался за чей-нибудь столик и разговаривал с часок с тем или другим; или же я шел за покупками в Арлесгейм, возвращался и приготавливал ужин для себя и Аси; я умел приготавливать жареный картофель с томатами, макароны-спагетти; особенно мне удавался салат. Было весело поджидать Асю и мечтать об ужине; обыкновенно к вечернему чаю кто-нибудь заходил (чаще всего Трапезников); иногда бывал доктор Гёш; вечером мы провожали Трапезникова или Гёша; я очень полюбил эти прогулки перед сном.

К концу мая я стал замечать, что с д-ром Гёшем творится что-то неладное; он стал очень угрюм и хмур; стали поражать меня некоторые из его вопросов; он как бы с осторожностью нащупывал мое святое святых, предлагал мне странные вопросы о моем отношении к доктору, к членам Общества; я стал замечать, что он будто ждет от меня каких-то жалоб на доктора и недоумений, связанных с моим путем; сам он не высказывался; потом, убедившись, что от меня не услышишь жалоб на доктора (а недоумения мои в связи с проблемой *"пути"* все росли, но я их инстинктивно закрывал от Гёша), он стал реже бывать у нас. Скоро я всюду стал его встречать с фрейлейн Шпренгель, которая никогда не была мне симпатична и которая держала себя *"окультурной"* теткой; хотя я знал, что ее считают *далеко ушедшей* в эзотерических слоях нашего Общества, у меня не было доверия к ней: все в ней мне казалось нарочитым и приподнятым; я удивлялся этой растущей на глазах у всех дружбе д-ра Гёша, тонкого философа, с *"окультурной"* и фанатически настроенной теткой; Гёша мы встречали на прогулках с Шпренгель; вместе они сидели в кантине, о чем-то упорно и долго разговаривая; от нас Гёш стал отходить: стал суше кланяться нам.

Июнь.

Если май 1915 года вспоминается мне оазисом покоя среди вереницы мрачных месяцев, в которую вступила моя жизнь, [то в июне] опять вокруг меня начинается невнятица, неразбериха, сумбур; опять в сердце растет тревога; и эта тревога складывается из очень многих обстоятельств; во-первых: начинается ряд поражений на русских фронтах; наша армия отступает; обнаруживается полный крах государственной системы России; и уже ясно мне, что война окончится революцией; все это волнует меня; мне хочется быть в России в эти ответственные моменты; внутренне я начинаю склоняться к точке зрения *"пораженцев"*; но это склонение стоит мне долгой внутренней борьбы; легкость, с которой Наташа и Ася стоят за поражение России, порой меня возмущает; мне это кажется вовсе не выстраданным убеждением в том, что революция необходима России, а влиянием на них немецкой среды; а в этой среде желание видеть Россию разбитой вытекает из естественных, чисто животных appetitov; я чувствую в вопросе о войне свое расхождение со всеми; и с русскими, и с немцами; во-вторых: я чувствую, что в нашем Обществе назревает что-то неладное; опять поднимается рой каких-то странных сплетен; шушукуются, что среди нас есть члены Общества, весьма подозрительно себя ведущие в моральном отношении; они позволяют себе какие-то скверные поступки в Базеле; швейцарцы называют антропософов фарисеями и рассказывают о неприличном поведении антропософов вне Арлесгейма и Дорнаха; некоторые из теток начинают требовать, чтобы за поведением мужчин антропософов следили; начинают что-то шептать про Седлецкого; и мне кажется, что в чем-то подозревают меня. В чем? Я не чувствую за собой никакой вины, а между тем опять многие члены Общества на меня косятся; при встречах с *"существом"* я вижу, что *"существо"* опять наглет в отношении ко мне; *"оно"* появляется теперь в Обществе уже нескольких своих подруг, довольно сомнительного вида; и эти подруги смотрят с насмешкою на меня; во мне складывается убеждение, что смутное обвинение меня (у меня за спиной) в каких-то скверных поступках имеет источником клевету на меня той группы лиц, с которой вступило в общение *"существо"*; опять выступает со всею силою иррациональность ее появления передо мною; в-третьих: я начинаю явственно замечать, что некоторые из членов нашего Общества начинают за мной следить; признаки этой слежки я подмечаю всюду так: я замечаю, что фон-Мутах, родственник Гросхайнца, постоянно вертится около нашего домика; раз я его застал около нашего домика, спрашивающего о чем-то мою хозяйку, Frau Thomann; увидев меня, он точно сконфузился и быстро отошел; я почему-то был уверен, что он спрашивал хозяйку о моем времяпрепровождении; наконец: всякий раз, когда я отправлялся в Базель, мне попадался (или в траме, или в месте трамвайной остановки, или на улицах Базеля) все тот же блондин в лиловом галстуке; этого блондина я стал встречать и на лекциях доктора (он оказался членом базельской ложи); мне стало непереносно тяжело от этой слежки. "Зачем следят, - думал я, - разве я преступник какой?" И во мне стала складываться догадка, что эта слежка есть результат какой-то клеветы на меня, распространяемой *"существом"* и группой лиц, весьма сомнительных, с которыми я встречал *"существо"*; все эти лица были не дорнахцы, а приезжающие из Цюриха.

В это время А.С. Петровский уезжал в Россию; я поехал его проводить в Берн; и опять: на станции встретился с фон-Мутахом; проводив Петровского, я остался на дебаркадере бернского вокзала; и опять-таки: в Берне я встретился с фон-Мутахом; эта вторичная встреча окончательно убедила меня, что в нашем О-ве установлен сыск: за мною следят; я был уверен, что это

выслеживание меня не идет от доктора и М.Я., а от какой-то группы наших членов, меня в чем-то подозревающей; это я думал в вагоне, возвращаясь из Берна в Базель; на базельском вокзале мне снова попался на глаза безбородый блондин в лиловом галстуке, которого я всегда видел на лекциях д-ра; и опять встал обиднейший вопрос: "Зачем они за мною следят? Что я сделал такого преступного?" Во всех проявлениях своих я стал вовсе скован.

Мои догадки о том, что за мною следят, подтвердились однажды намеками доктора на лекции; доктор намекал на то, что о некоторых из уважаемых наших членов распространяют Бог весть какие слухи; он называл эти слухи безумием; он просил не сеять сплетен, громил тех, которые от нечего делать занимаются подглядыванием; он говорил об опасности болтовни; ведь мы, антропософы, живем среди мещан по духу, относящихся с недоверием к антропософам; и болтовня с этими мещанами о внутренних делах Общества и об отдельных членах Общества грозит большими неприятностями и этим членам, да и всему Обществу; он предупреждал, что мы живём как бы среди стеклянных стен; и каждый наш шаг обслежен; поэтому всякая болтовня друг о друге обрушивается на Общество; и - все тщетно: точно внутри Общества забил вулкан сплетен; все ходили, подозрительно озираясь и не веря ДРУГ другу.

Кроме того: передавали, что несколько раз около "Bau" видели прогуливающимся известного базельского сыщика, который появляется только там, где совершается крупное преступление; передавалось, что около "Bau" появилось много сыщиков; однажды, выйдя на балкон, я увидел человека, сидящего наискось от нашего дома на лавочке; он следил за нашим домом; я в свою очередь начал за ним следить; и окончательно убедился, что это - сыщик; лавочка, находящаяся наискось нашего дома, была всегда занята теперь; всегда на ней кто-нибудь сидел и смотрел на наш домик; я стал отмечать даже смену очередей. Явное дело: за нами следили; скоро я убедился, что следили лично за мной; всюду мне стал подвертываться брюнет в котелке с небольшими черными усиками; я его видел в Базеле; он гулял на перекрестке дорог в Дорнахе; он никогда не глядел на меня; когда я проходил мимо, он отворачивался; кроме того: я стал замечать, что в нижний этаж к Frau Thomann стал захаживать какой-то простолудин швейцарец; я слышал у себя в комнате под ногами его гортанный, настойчивый, выспрашивающий голос; Frau Thomann в чем-то его разубеждала всегда (это слышалось в интонации ее голоса), в восклицаниях, долетавших до меня: "Aber nein..." Но гортанный голос на нее прикрикивал, к чему-то ее склонял, чего-то от нее добивался; мне всегда делалось неприятно и жутко от этого голоса; казался неприятен захожий швейцарец; когда я проходил мимо него и Frau Thomann, то эта последняя делалась со мной особенно любезной, точно стыдилась передо мной, а швейцарец с жадным любопытством вглядывался в меня; наконец я стал замечать, что наша прислуга, являвшаяся по утрам, с каким-то особенным любопытством вглядывается в меня и порой предлагает мне странные вопросы, точно ей что-то narassказали обо мне; и теперь, приняв к сведению чьи-то инструкции, она приглядывается ко всем моим жестам.

Итак: я наблюдал, так сказать, три рода разных ошупываний своей персоны; во-первых, со стороны "существа" и группы лиц, с которыми я видел "существо"; это ошупыванье меня казалось мне самым неприятным, ибо оно было самое иррациональное; в моем ощущении эта слежка связывалась с выслеживанием меня каких-то темных оккультистов, которые имели шпионов в нашем Обществе; вторую слежку я относил к слежке меня со стороны группы наших членов, в чем-то меня подозревавших (фон-Мутах, блондин в лиловом галстуке, сопровождавший меня в Базеле) и все желавших меня поймать с поличным (в чем должно было заключаться это "поличное", я не знал); я убеждался, что у меня в Обществе есть враги, и я не мог понять, что собственно говоря они имеют против меня; выросло ли их предубеждение из неведомой мне клеветы на меня "существа"; в таком случае это - провокация темных сил, меня губящих внутри нашего Общества (источник же сил находился - вне Общества); или же - думал я - просто есть группа моих врагов, не понимающих доброго отношения ко мне доктора и завидующих мне: они, вероятно, старались скомпрометировать меня перед доктором; мне казалось, что в центре этой группы стояла Вольфрам; против меня агитировали фон-Чирская и Штраус, как против "любимца" Марии Яковлевны, которую они ненавидели; к ним присоединялись Седлецкие; и эта интрига сплеталась с очернением меня из Франции Леви, выставлявшим меня ренегатом своей страны; третья же слежка, представителем которой был брюнет в котелке, захаживающий к Thomann подозрительный швейцарец и агент его, наша прислуга, - третья слежка не имела источником ни "оккультистов", ни членов нашего Общества, а присоединилась извне: я думал, что это была слежка швейцарского уголовного розыска; и я опять не понимал, в чем меня обвиняют; лишь гораздо позднее я убедился, что это была, вероятно, "контрразведка" одной из держав "антанты".

Порой эти три слежки представлялись мне отдельными; порой они для меня сливались в одну; источник же слежки убежал в глубокие и страшные, мне неведомые пласты ".темного царства".

Так или иначе: положение мое казалось мне незавидным; пойдешь на "Bau" - там, как недотыкомка, мелькает "черная женщина", косятся на тебя многие члены; идешь гулять по окрестностям, и тебя встречает то фон-Мутах, то подозрительный швейцарец; поедешь в Базель -

натыкаешься то на блондина в лиловом галстуке, то на bruneta в котелке; сидишь дома, под ногами твоими гудит подозрительный швейцарец, заглядывает в твою комнату то Frau Thomann, то прислуга.

Так, в июне я себя почувствовал затравленным зверем; я заключился у себя в комнате и даже не любил появляться на балконе: ведь с лавочки наискось на тебя уставлялся любопытный взгляд.

Все это я пытался высказать Асе, но наткнулся на ее непонимание; она - ничего не видела. Лишь позднее она поняла, что слежка - была: и в этом я был прав.

Так в угрюмом перемогании. сыщиков протек для меня июнь.

За это время я окончил свою книгу; как-то раз мы опять были приглашены к доктору, и я развивал ему свои взгляды, связанные с написанной книгой; доктор был очень мил, сам ходил покупать клубнику, чтобы угостить нас чаю; он читал нам вслух стихотворение Гёте "*Ruhslein*"(82), которое в ближайшее воскресенье должна была исполнять Ася (в ту пору каждое воскресенье исполнялась новая эвритмическая программа); кстати: какие-то сплетницы нашли в исполнении Аси и Киселевой что-то эротическое; стали ходить неприятные слова о том, что доктор и М.Я. уделяют слишком большое внимание эвритмии; доктор опять на публичной лекции громил "*сплетников*" и "*сплетниц*".

Вообще в его последних лекциях стали раздаваться какие-то угрозы по адресу невидимой, подпольной оппозиции, - на этот раз уже против доктора и Марии Яковлевны; чувствовалось, что все задыхаются в атмосфере надвигающейся на нашу колонию грозы; эта гроза разразилась скоро потом в том явлении, которое М.Я. охарактеризовала, как "*бунт ведьм*".

С конца месяца я начинаю преодолевать настроение гонения и преследования; по окончании книги я стал работать каждый день под малым куполом над чистовой отделкой нашего архитрава "*Юпитера*"; и там, под куполом, среди милой, крепкой, здоровой антропософской молодежи я забываю душную интригу внутри Общества и неприятные дозоры шпииков вокруг нашего дома.

Июль.

Июль(83) не вносит каких-нибудь объяснений в ситуацию моей жизни; ремингтонируется текст моей книги; продолжается работа в "*Bau*"; продолжают двусмысленные отношения с Наташей; я, махнув рукой на необычность их, добиваюсь лишь одного: довести их до конца. Помнится, что к этому времени подчеркиваются мне частые разговоры мои с Т.Г. Трапезниковым, - обо мне, об Обществе, о моих отношениях с Наташей и с Асей; в нем нахожу я если не объяснителя, то хоть успокоителя; о главных путаницах моего сознания мы с ним молчим; к главным путаницам я отношу: необъяснимая мне самому *тайная* близость моя с доктором и Марией Яковлевной, из которой вытекает кармическая роль моя в Обществе (для кармы Общества); и отсюда: особо тяжкие бремена, которые взваливаются на мои плечи: я не то обреченный, не то увенчанный; я одновременно невероятно возвеличен приближением меня к тайнам посвящения; но эта возвеличенность и становится источником совершенно особого рода нападений на меня: 1) темной силы, 2) темных оккультистов, 3) тех из членов нашего Общества, которые, не понимая моей роли при докторе, не понимают меня, извращая все мои поступки; кроме того: во мне самом происходит схватка светлых сил с темными; и все на почве этой моей провиденциальной роли при "деле Доктора"; на этой почве и развертывается серия странных ситуаций в моей жизни вплоть до... Наташи, вплоть до действительно странных совпадений и сочетания этих совпадений: внутренних событий жизни с их внешними выражениями в виде встреч с людьми и разговоров неспроста, рисующих вокруг меня в мне данном мире второй какой-то мир; отношение между внешним бытом дорнахской жизни того времени со всеми случайностями этого быта и бытом моих имажинаций (а может быть -г инспираций) такого же, каково отношение между текстом "*Медного Всадника*", прочитанным просто, и тем же текстом, прочитанным по кривой жеста ритма(84); внешний текст - внешние знаки быта жизни; кривая - мой внутренний мир, в котором я запечатан и о котором ничего не могу сказать; а остраннение рельефа быта внутренними имажинациями, а может быть, инспирациями - то странное *неспроста, не случайно*, которое я прочитываю из будто бы случайного узора событий, развертывающегося вокруг меня, где и разговоры, и встречи, и явления природы, и переживания других людей - будто ответы мне извне на ритмы моей внутренней жизни; эта жизнь излучает от доктора ко мне и из меня какие-то силы, подобные силам магнита и уже по ритмам этих сил ткется жизнь Дорнаха, где, опять-таки, люди, события подобны железным опилкам, располагаемым в узоры силовых линий моего безобразного внутреннего мира. Странное, измучивающее состояние: чувствовать себя всем и ничем и ходить как бы в насыленном надетом венце посвящения, который, не узванный другими, выглядит просто шутовским колпаком.

В разговорах с Трапезниковым меня волнует вот что: мы с ним точно нарочно избегаем касаться моего опечатанного молчанием *заветного, тайного*; но поскольку оно-то и есть центр сил, излетающих из меня и вокруг меня конфигурирующих мелочи обычного "разговорчика", встречи, романы очередной приязни и неприязни, постольку в разговоре об этом *внешнем быте* он - отражение внутреннего, постольку и касания этого внутреннего сквозь внешнее Трапезниковым меня поражает удивительную ритмичностью; создается впечатление, что Трапезников что-то

знает о моих состояниях, знает *то*, о чем нельзя говорить, как и доктор; и говоря о *внешнем*, внешним языком *символизирует* внутреннему. Мы говорим о том, что я страшно пылок, что надо проще относиться к путанице с Наташей; Трапезников советует мне поступить в этом случае - так-то, а в том - так-то. А на самом деле мы говорим *иносказаниями* о моем удивительном, странном, не то священном, не то ужасном положении в судьбах *дела* Доктора и всего духовного движения. Странные разговоры! Меня тянет к Трапезникову с этого времени особенно: в разговорах с ним издалека, обиняками протягивается от него ко мне *сквозной смысл*; он в них встает мне, как заговорщик какой-то тайной кучки друзей, выдвигающих мою кандидатуру в каком-то великом оккультном деле, к которому я пред-избран и в котором руководим; эта *тайная кучка* - Доктор, Мария Яковлевна, Рихтер, Бауэр, все более протягивающийся ко мне, София Штинде; Трапезников посвящен в какое-то дело, к которому я призван; я себя ощущаю человеком, из любви к доктору давшим согласие на страшно рискованный и опасный акт, подобный бросанию *бомбы* во что-то, смысл чего мне не ясен; из свободы и доверия к доктору я обрекаю себя на опыт неясного действия; и вследствие этого я - изолирован, как изолирован *бомбист* от ЦК революционной партии(85); Доктор, Бауэр, Штинде и другие, тайно любя меня, вынуждены из конспирации не протягивать мне ясно руки и делать вид, что они не знают, кто я, собственно потому, что где-то я уже узан: враги за мною следят; и порученный мне *акт* сорвется с гибельными последствиями для меня, "*Bau*", дела доктора; Трапезников *тайно* послан ко мне от меня любящих людей, как направляющий инструктор. Я ощущаю себя *sui generis* Каляевым; я ощущаю Доктора, Штинде, Бауэра *sui generis* "ЦК"; я ощущаю при себе Трапезникова *sui generis* Савинковым при Каляеве, ставящим его с бомбой туда, где надлежит бомбу бросить(86); где это будет, когда, - мне неизвестно; но бомба мне будет дана и я поставлен: ее бросить.

Так серия разговоров с Трапезниковым, серия иносказаний о бомбе; мы точно оба в масках; на нем маска любителя ренессанса; он говорит мне об эпохе Возрождения, о Медичи, о живописи, о Германе Гримме, написавшем книгу на тему "*Микель-Анджело*"(87); он слишком часто, слишком особенно, с подчеркиком говорит о "*Микель-Анджело*"; и я вздрагиваю: *это - пароль о бомбе*. Ведь в имажинациях 1914 года (на лекции Доктора в Берлине о Микель-Анджело) мне показалось, что Доктор старается мне дать понять, что я перевоплощение его(88). Я с ужасом этот "*бред*" отверг, как ложную имажинацию. Теперь, через полтора года, в странном обострении судьбы, в странном ощущении, что мне нечто поручено, опять появляется тема "*Микель-Анджело*": с подчеркиком; что-то подчеркивает мне обо мне же, на этот раз - Трапезников, не подозревающий, *что* он задевает во мне; так - во всем: в разговоре о мелочах быта им задеваются не мелочи этого быта, а *тайны моей души*; и нас влечет друг ко другу, как заговорщиков; но это влечение и шифр иносказаний меж нами, происходит под формую просто заходов Трапезникова к нам на чашку чаю; и под формую наших с ним прогулок вечером, после работы, по дорнахским окрестностям.

Безукоризненно одетый, в серой паре, в английской мягкой шляпе, в лиловом галстуке, помахивая своей палкой, Трапезников водит меня по полям и развивает мне мысли о ренессансе или урезонирует: "Потише, голубчик: не обращайтесь внимания ни на что... Держитесь мужественно... Смотрите на вещи проще... Если Наташа так уж необходима вам, опять говорю: смотрите проще..." Иногда же он говорит: "Вы бы уехали на время отсюда: поезжайте в горы или в Цюрих... Развлекитесь... И потом, скинув с себя эту нервность, возвращайтесь сюда".

А мне это его "*держитесь мужественно*" отдается, как: "Да, да, да: *бомба* будет дана; вы свершите *это*: наши судьбы здесь - *сама Невероятность*; и вы, и я - мы издалека пришли, далеко уйдем: все стало сквозным. Читайте шифры небесной судьбы, вас обставшей маленькими будто бы дрызгами жизни". Так наш разговор с Трапезниковым для меня разговор сквозь слова в *туда*, где "символы не говорят, но кивают без слов"(89). А педаль с "*Ли-кель-Анджело*" лишь намек на то, что ему ведомо: под маской личности "*Бориса Николаевича*" до времени притаилось *нечто совсем иное*.

Я не во всем понимаю Трапезникова, но мне ясно, что он вкладывает в ясные с виду слова темный бездонный смысл, - и что послан стоять при мне в эти страшные роковые для меня месяцы. Все чаще ко мне, как бы из-за плеча Трапезникова, просовывается лик Михаила Бауэра, который где-то меня ждет к себе и издали *тайно помогает*.

Дружественный оттенок некоторого старшинства в Трапезникове мне понятен и его внешним положением; он - *гарант* русской группы в Дорнахе и выбран в совет *старших*, собирающийся в Дорнахе при Докторе. Когда шла речь об избрании среди русских гаранта, то София Штинде предложила Асе, чтобы русские избрали меня, но Ася, не поговорив со мной, отказала; конечно, - и, я отказался бы (не мне в том душевном смятенье, в каком я находился, гарантовать), но все же симптоматично, как обращались со мной близкие: не только не считались, не только не советовались, но игнорировали и в эмпирических случаях жизни обращались, как с неодушевленным предметом; у Поццо водворилось такое отношение ко мне: "*Боря*" - это то, что не смеет иметь своего мнения; он - "*наш*": что хотим, то и сделаем с ним. А у Аси это доходило уже до отношения ко мне как... *к туфле*, которой то швыряются, которую [то] носят; Ася меня во внешнем

быте носила, как туфлю. Я это видел и мне это было глубоко безразлично, потому что в "Я" я был свободен и такие пустяки, как внешнее ношение меня на Асиной "ноге", не занимали.

Но Трапезников, частью и Бергенгрюн постоянно намекали мне на беспардонное со мной обхождение со стороны сестер Тургеневых и отчасти Поццо, развивавшем чрезмерную развязность на почве родственности.

Так в Трапезникове намечалась партия друзей лично меня, но не Аси, Наташи, Поццо (Бауэр, мадам Моргенштерн, Бергенгрюн); и была партия Тургеневых "*par excellence*"; я чувствовал в ней Марию Яковлевну, которая точно в ответ на мое некоторое разочарование в ней, ответила подчеркнутым покровительством (покровительством "*в пику мне*"), которая она оказывала Асе: последнюю все более и более обласкивала; Ася попала в группу эвритмисток, постоянно репетировавших при докторе; быт ее жизни все более сливался с бытом *студии*; а это был быт Марии Яковлевны, рядом с которой постоянно появлялся доктор; я, отрезанный от этого быта, все более отрезывался и от Марии Яковлевны и через Трапезникова все более прорезывался к атмосфере Бауэра, которая веяла мне в лицо и, так сказать, охраняла меня от страшных *мистических* гонений со стороны.

Эти последние не прекращались вовсе, то ослабевая, то - вспыхивая: отсюда и оттуда под разными формами; следы разных форм слежек открывал вокруг себя; самое тягостное было то, что источник слежек мне был неясен; если бы меня окружали просто шпики русской, антантискрой и швейцарской контрразведок, я был бы спокоен так же, как в конечном, спокоен человек, отмахивающийся от мух; но я подозревал преследования от *врагов*; я видел нить этого преследования, тянувшуюся в недра нашего Общества и уже *из него* меня допекавшего; это было страшнее всего: думать, что замкнутость Общества пробита тайными входами и выходами в него и из него врагов дела доктора: самый "*Vau*" виделся мне уже минированным *Черною Силою*.

Иногда ощущение реального преследования лично меня достигало такой интенсивности, что я катастрофически пугался: я ощущал *сатанинскую злобу*, откуда-то направленную прямо на меня (уже даже не на доктора); и эта сила, режущая, как нож, вонзалась в меня, как нож, иногда неожиданно без того, что я думал о ней. Не забуду двух эпизодов, бывших со мной, кажется, в июле.

Один эпизод: однажды, жаркою ночью, часов в 11, я пошел погулять; никого не было; я стал кружить по пустым и безлюдным дорожкам, обсаженным деревьями, того квадрата, который образовался мС,Хду Арлесгеймом, Верхним Дорнахом, Нижним Дорнахом и трамвайным трактом; квадрат был на склоне холма. Как сейчас помню: тихая, лунная ночь - ни души; проходя мимо домика, смежного с виллой доктора (наискось от нас), - домика, в котором обитал *кто-то*, кто участвовал в слежке на меня пахнул знакомый, злой ветерок, который мне был хорошо известен: ветерок ненависти; но я, привыкший к ненависти, излучаемой на меня 1) весьма многочисленной, антропософской партией (с Вольфрам, Чирской, Штраус, шведкой, Эккартштейн, рядом "*французских*" швейцарцев, Фитингоф, "*существом*" Зауэрвейн и т.д.), 2) какими-то неведомыми мне черными оккультистами, проживавшими в Дорнахе, 3) просто обывателями Арлесгейма и Дорнаха, кем-то науськанными против моей для них безразличной фигуры, 4) агентами "*антанты*" и т.д. - привыкший к *ненависти*, я не обратил внимания на это переживание и шел от дома среди кустов; помнится, - тень моя перерезала ослепительную дорожку. Вдруг, как нож, всадились в душу страх; и сердце - подпрыгнуло:

- "Они *так тебя* ненавидят, что способны убить: они - убьют; фортель с *существом* - отражена доктором: не выгорело! Пуще за это они тебя ненавидят".

И тут же мелькнуло:

- "Ты - один: в одну из таких минут, когда ты затеряешься в лесу или среди кустов, рука предателя тебя прикончит *ножом в спину*".

И тотчас отозвалось:

- "В сущности, если бы тебя убили здесь нападением из-за кустов, - никто не смог бы притти на помощь; твой крик раздался бы среди мертвого сна. Пока прибегут, убийцы скроются".

Ощущение, что *убийца уж здесь*, что, может быть, он высматривает, было до такой степени отчетливо, что я быстро пошел домой, и все время сопровождало ощущение: ненавидящая тебя сила крадется рядом, вооруженная физическим или оккультным ножом.

Стыдно сознаться, что я едва дошел до дому: ощущение *страха* было реально; и шло не из меня, а. на меня: точно *меня одели в страх*.

- "Что с тобой" - спросила меня Ася.

- "Ничего".

Переживания этой ночной прогулки я скрыл от нее: она - слепа, она - не верит, что за мною следят: я никому не могу передать это совершенно реальное восприятие себя *нарочно одетого в ужас*; меня им покрывали извне, как Геракла одеждой им убитого Несса; одежда приростала и проедалась сквозь кожу в сердце: и сердце ёкало страхом; я пугался, так сказать, механически.

Меня пугали, заставляя заранее отступить от того, к чему меня предназначили (эта мысль уже разыгрывалась во мне има-гинативно, как попытка понять причину столь ощутимой ненависти).

Другой случай.

Та же тихая, июльская, лунная ночь (вероятно, и второй случай *случился* в те же дни); жара; окна и дверь на террасу открыты; мы одни с Асей; Ася рисует модель для стекол: мелом на черной бумаге. Я вышел на террасу; сел под луной; в домике доктора темнота. Скоро в мое сознание ворвался шум и гвалт какой-то подозрительной кучки дорнахских "мужиков" от злого домика, торчавшего наискось: там по вечерам собиралась кучка; оттуда - галдели; некоторое время я не обращал никакого внимания на гвалт, пока громкие вскрики не стали биться о барабанную перепонку:

- "Мы ему покажем... Он думает, что..." и дальше неясно. Я - нуль внимания.

- "Завел себе череп и смотрит на него: хаха - Гамлет!" - совершенно отчетливо гаркал злой гортанный голос; и - угрожающий взрыв по адресу кого-то.

Я - соображаю: *череп-то* у нас; Ася давно принесла *череп* для модели своей (на рисунке доктора - ряд черепов); *череп* стоял в, моем кабинете у стопочки циклов доктора, рядом с цветами. Несомненно: все детали нашей жизни передавались *кому следует* подозрительною прислугой, приходившей убирать наши комнаты, дорнахской крестьянкой. Мне стало ясно, о каком *черепе* говорят; говорящие не знают, что *череп* не мой, а Асин; он стоит в моей комнате: "*он*", "*Гамлет*" - я. Я, внутренне вздрогнув, стал внятно втягивать в себя угрожающие выкрики: грозили *кому-то*, за *что-то*; за что, - я не понимал, но понял, что "*он*" - я; и - понял, что меня прекрасно видят сидящим на террасе, ибо я освещен луной; и *нарочно по моему адресу* бросают угрозы. Одна фраза особенно громко разрезала тишину ночи:

- "Если так, то - его можно и застрелить". И - злой, гортанный взрыв голосов.

Что это такое "*если так, то*", - разумеется, я не понимал; но я понял, что "его" - относится ко мне: очевидно эта злая, тупая кучка натравлена кем-то против меня; и стало быть: у меня за спиной кто-то распространяет обо мне такие вещи, за которые швейцарские мужики убивают. Я одновременно и испугался, и несколько успокоился. *Успокоился*; кто грозит вслух угрозой *застрела*, никогда не *застрелит*; стало быть: *меня опять одевают в страх*. Но я испугался: падала успокаивающая меня версия о том, что *преследования* - плод моей фантазии; я безобидное, немое существо, "*статист*" в Обществе, до крайности вежливый со всеми швейцарцами, - ни в ком не мог возбудить ненависти, заставляющей мне кричать, что меня застрелят; стало быть: *меня подозревали в чем-то ужасном*; не в том ли, что я шпион? Но - позволите: я мог в *их* представлении быть *шпионом* немцев против *антанты*, *шпионом* антанты против немцев, - Швейцария при чем же? Будь я даже *шпионом*, эти мещане, с их "*хата с краю*" - не могли бы кричать такие вещи обо мне. Стало быть: меня обвиняют - в чем же? В убийстве, - что ли? В изнасиловании, - что ли? Но жизнь моя на виду: кроме "*Вау*" я нигде не бываю, все прочее время сижу дома, каждый мой час в ряде месяцев протекал на виду ряда людей и хозяйки Thomapp: поездки в Базель (раз в месяц) за необходимыми покупками ограничивались моим блужданием по магазинам двух людных улиц и продолжались не более двух-трех часов; а все прочее время протекало перед глазами хозяйки, Аси, антропософов; вот уж, можно сказать, во внешнем быту я *жил на глазах у всех*.

Стало быть: пугают.

Все это вихрем пронеслось, когда я прислушивался к поганым голосам кучки. Я - не встал: продолжал сидеть в той же позе... Гамлета. Но хотелось плакать: "За что?"

Встал и вошел в дом:

- "Что с тобой" - спросила Ася.

- "Ничего".

- "Ты что-то скрываешь".

- "Нет: скажи, - почему в наших окнах сняты занавески сегодня?"

- "Фрау Томан для чего-то их стащила: сказала, что вычистить надо, а ведь только что чистили".

- "Так!"

- "У нее был виноватый вид, когда она говорила о том, что занавески сегодня надо снять: не смотрела в глаза".

- "Так!"

Я - подошел к окну, чтобы осмотреть дерево под окном (мы жили во втором этаже); как раз на уровне моей спальни удобнейший сук, на котором можно провести ночь: мне уже было ясно, что этой ночью я буду спать под оком любопытного наблюдателя, с удобством примостившегося на суку; *им* для чего-то нужно увидеть *interier* нашей жизни с Асей: Томан *приказано* снять занавески; ее смущение в том, что она - должна; и без того "*старухе*", видящей нашу овечью безобидность, надоели пристававшая *шпики*, расспрашивавших о нас.

Ну, - что ж: буду объектом разгляда.

- "Ты бы, Ася, занавесила свои окна на ночь".

- "Зачем?"
- "Так лучше".
- "А ты?"
- "Ну, - я нет".

И - подумалось: милости просим, разглядывайте! В этом вызове и презрении к *наблюдателю* из окна сказались злость; а в душе кричало:

- "За что меня унижают!"

Взрыв гортанных голосов раздался в открытое окно: там, наискось, продолжала горланить поганая кучка.

Асе я, разумеется, ничего не сказал: я лишь настоял, чтобы она занавесила окна в своей комнате; сам же со *спокойствием из гордости* подставил себя под *злой* глаз из окна; помнится: в эту ночь я читал в постели какой-то толстый том: "История монашеских орденов". Я читал о Братстве Иисуса; и - думал: не без "*братства*" это мое лежание под глазом.

Перед тем, как загасить свечу, я хотел вскочить и, подбежав к окну, его распахнуть, спугнув *сидящего* на дереве; но хотелось спать; подумалось: "Пусть его глазеет".

Презрение к *глазу* было столь сильно, что он даже мне не мешал.

Объяснялось мне чувство за несколько дней перед этим, когда показалось, что за мною кто-то крадется в кустах; *кто-то*, вероятно, крался; у меня удивительно развито кожное ощущение *вшей* и "*глаза*"; и тех, и *этот* я ощущаю безошибочно.

Я думал: "Они пустили воистину сильные средства напуга; *пугают выстрелом*". И тут же отдавалось: если бы *они* и достигли своей цели и был бы я *допуган*, то - все же: я вынужден бы был вести себя так, как я веду, ибо я же *не знаю того, от чего они меня отпугивают*; никакого эмпирического поступка я не совершал и не намереваюсь совершить; *некий акт, бомба*, о которой подмигивает Трапезников, не есть эмпирическое как-нибудь квалифицируемое действие; это мое "да" - Свету, Христу, делу доктора; это моя верность символу Иоанновой любви, осуществляемая *символически* же в верности Гетеануму, в особом жесте работы под малым куполом, в вахтах; и это - мое лютое "*нет*": войне народов.

Мне иногда начинало казаться, что *сила медитативной мысли* моей о деле доктора есть меч, уже *духовно разящий*; в мыслях я бью по врагу; и вот, желая выбить из головы моей этот меч *мысли* моей, *влияющей на судьбы Общества*, войны, даже судьбы России, "*они*" и угрожают мне смертью.

Но тут я неумолим: я готов даже... пасть... под ножами убийц, действительными, а не только ножами-языками, язвящими меня у меня за спиной.

Впоследствии, в 1920 году, в России, мне рассказывал Лиг-ский, как с дерева заглядывали к нему в комнату; и как он, подойдя к окну, накрыл шпика: шпик, спрыгнув с дерева, пустился в бегство.

В эти дни произошел разговор между мною и Поццо, когда мы вдвоем проводили время на *вахте* при "*Vau*". Поццо сказал мне: -

"Боря, - надо беречь девочек" - "*девочками*" называл он Наташу и Асю - "какой-то дурной глаз их глазит". -

"А что?"

И тут Поццо стал мне рассказывать о ряде своих наблюдений над окрестностью виллы "*Sans Souci*", где Поццо жили; выяснилось, что какие-то весьма подозрительные незнакомцы кружили вокруг, интересуясь Наташей; по словам Поццо выходило, что это не простые шпики, а почище. Мне отдалось слишком знакомое и таимое:

- "Они!"

Июль оканчивался не только уныло, но и тревожно; тревога переходила в густой мрак!

Рихтера брали на войну; он с грустью прощался с нами и все приставал к Асе, чтобы она согласилась принять заведование стекольной мастерской из рук в руки, потому что Седлецкий, выписанный Рихтером, вообразил себя гением и калечит рисунки доктора; кроме того: Седлецкий по его словам оказался подозрительным интриганом. Доктор не может вмешаться и *не допустить* Седлецкого до заведования; из намеков Рихтера выходило, будто доктор ничего не имеет против того, что Ася возьмется за заведование.

Асю пугали интриги, ответственность и неопытность ее: за Седлецкими - все права: старшинство лет, имя "*художника*" Седлецкого, сан "*председательницы польской секции*" его жены; я поддерживал Асю в решении не братья за стекла. Рихтер с досадой махал руками:

- "Пустяки: дело идет о спасении рисунков доктора; в вашей неопытности вам помогут *А шиа*" - так звал он ее - "в сущности будет заведовать весь коллектив, а вы лишь формально возглавлять: надо не дать Седлецким мастерской".

Ася все же отказалась.

С грустью прощались с Рихтером: выбывал из нашей фаланги "*друг*", затащивший нас сюда; "*друзья*" - выбывали; "*враги*" - как нарочно - стягивались: из французской Швейцарии, из Германии! Над Дорнахом носились тучи. Политическое положение напрягалось; прорыв русского фронта, бегство русских, полный разгром армии жутью отдавался в моей душе, ибо я продолжал говорить

"нет" войне; и это мое "нет" точно прочитывалось кем-то; с ростом русских поражений росла *ненависть*, бросаемая на меня из глаз швейцаро-французской партии; клеветы Леви и Шюрэ, распространявшие сплетни о том, что в Дорнахе выращивается русский, предатель своего отечества, шныряли по Дорна-ху; не осмеливаясь открыто выступать против доктора, шипели "*гермаофильство*" Марии Яковлевны; выходило: ближайший к доктору человек разводит в Дорнахе "*шпионов*"; "*шпион*" - я, ходил, как оплеванный; самая моя любовь к доктору уличала меня, как русского, в глазах иных... *антропософов* (?!). Были такие! Среди них - Фитингоф, "*существо*", опять понаглевшее, Седлецкие, узнавшие о намерении Рихтера отдать Асе мастерскую и вдвойне возненавидевшие нас за это, Зауэрвейн и ряд наехавших французских швейцарцев.

Но странно: с ростом "*лютой*" ненависти ко мне со стороны *яитротюсофь-аытантистов* увеличивалась и ненависть ко мне и "*нем#ев*"-шовинистов; в "*немецкой*" партии Вольфрам, Чирская и другие ненавидели меня, как "*русского*", которого балует доктор, и "*эта русская, frau Doktor*".

Против последней уже начинался открытый бунт; и доктор, отражая его, все грознее и грознее гремел на лекциях.

Лопнуло несколько грязных историй, вскрывался змеиный комок сплетен; выяснилось открыто, что Шпренгель, соединившись с Гёшем, объявили доктора чуть не черным магом; уже они вышли из О-ва, но жили в Дорнахе и сеяли в нем, среди антропософов и неантропософов густые, темные легенды. Чирская, Штраус и бразильская немка (забыл фамилию), открыто повели кампанию против доктора. Сами Гросхайнцы держались от "*Villa Hansi*" в стороне.

Отовсюду, как коршуны на падаль, съезжались *критиканы*, приехавшие контролировать "*странные*" действия дорнахского Совета, работавшего с доктором, и уличать "*Дорнахскую сволочь*" (так называли группу строителей) в богеме, распутности, которой... не было.

Создавалось впечатление: над Бауэром, доктором, Марией Яковлевной, Штинде и молодежью, которую полюбил доктор, собирался "*Суд*".

Вставала странная картина. Доктора не смели трогать, но *немой ропот*, непонимания его действий окружал его; Марию Яковлевну окружало кольцо из шипящей открытой клеветы, в которой немецкие сумасшедшие тетки, кандидатки на ее место при докторе (таких оказалось вдруг десятки) подавали руку *ан-тантистской* партии, открыто называющей ее чуть ли не предательницей; к этому присоединились странные *психические* заболевания среди безработных бездельниц, окружавших "*Bau*" и мешавших нам; сказывалась чья-то темная провокация.

Весь этот внутренний *ад*, вскрывшийся в Обществе, был обложен шпиками всех контр-разведок и темных сил, чьи агенты сидели в Обществе, среди нас, суя носы во все квартиры; пропадали "*циклы*" со стола; иезуиты выкрадывали материалы интимных лекций чуть ли не из запертых сундуков.

В этой "*обстановке*" доктор объявил, что к такому-то числу августа *Малый Купол* должен быть сдан инженеру Энглерту. Эв-ритмистки спешно репетировали заключительную сцену из Фауста, ненавидимые роем бесноватых теток, завидовавших им и распространявших о них гнусные сплетни.

Так ужасно кончался июль: август не предвещал ничего хорошего: ни в каком отношении.

В июле я сдал доктору мою рукопись; она поступила на его просмотр.

Мария Яковлевна, встретив меня перед домом и прогуливаясь со мною по дорожке, со странной усмешкой сказала: "Да, - разлагается личная жизнь".

Мне отдалось: "*Ваша личная жизнь*".

И душа рванулась в протесте: "Она точно издевается надо, мною".

Будучи общественно *за нее* против клевет, на нее возводимых, лично я на всех парах уходил от нее; былого *восторженного* отношения не было и помину; и все более и более меня тянуло к Бауэру.

Я видел, что Ася уже просто в каком-то гипнотическом подчинении у М.Я.; это подчинение безвозвратно отрывало меня от Аси; к Бауэру последняя относилась холодно.

Трапезников мне сказал: "Анна Алексеевна, - удивительно холодная натура".

Т.А. Бергенгрюн возмущалась, глядя на меня: "Ведь вы же в России - имя: во что вас *превратили* здесь". Она разумела отношение многих немцев ко мне, как к "*вахтеру*" Бугаеву, и тот факт, что в сущности "*девчонка*" (Ася) меня рассматривает, как туплю свою, которую или надевают, или ставят... себе под постель.

- "Вы выказали удивительную скромность, граничащую с самоуничижением. Вы достойны огромного уважения".

Но меня... *не уважали*; скорей, - *презирали*: и дома, и на холме, и в кantine ко мне скорей относились презрительно.

О том, что я написал труднейшую книгу в защиту доктора и произвел гигантскую работу над текстами, не только не говорили, но наоборот: будто нарочно замалчивали, чтобы... не... возгордился.

Уж какая там гордость, когда... грозили... *пристрелить, как собаку.*

Август 1915 года.

Я подбираюсь к труднейшему моменту: август 1915 года, пожалуй, острие моей жизни, но - острие трагическое; по, всем данным сознания заключаю: встреча со *Стражем порога* у меня была. Но если была, то была в периоде от Лейпцига до отъезда в Россию в 1916 году. В интимной лекции доктора встреча с *порогом* (с малым порогом) имеет 3 кульминационные точки: первая - встреча с ангельским существом и переживание смерти; несомненно: *встреча*, если была, то была от Христиании до Дор-наха; переживание смерти, если было, то осенью 1914 года, когда в припадках невроза я *умирал*; с Лейпцига подкрадывалось сознание, что могу заболеть и умереть; это *случилось* с конца сентября 1914-го и длилось весь октябрь. Второй акт порога доктор называет *встречей со львом*, как со страшной женщиной, которую нужно *покорить*, которая грозит гибелью. Если такая встреча была, то она была в апреле 1915 года; и длилась все время.

Третий момент порога доктор называет *встречей с Драконом*, когда появляется *губящий враг*; уже тема *врага* стояла надо мной весь май, июнь, июль. В августе 1915 года все, что я ощущал, как *вражеское*, - соединилось для меня в один яркий, острый момент, сплестясь в *миф*, как бы развернутый передо мною; и это разыгралось в *августе*. Но вместе с тем: и все светлые миги посвящения,

мерцавшие мне в 13 и 14-ом годах (Христиания-Берген-Лейпциг-Берлин) с их мифами, Мыслями, переживаньями, снами, соединились в новую *вариацию* темы посвящения; в погибельные для меня минуты блеснул яркий свет надо мною; он-то и спас меня от гибели.

Необычайная трудность коснуться мне августа 1915 года в том, что говоря о днях жизни, я вижу каждый день окрашенным не светом или тьмой, а как бы вижу его в противоречивейших, всегда потрясающих вспышках света и тьмы, ужаса и радости, низости и высокого благородства; "Я" стоят передо мною весь август двулико: низшее "л" обнажено до самых гнусных корней своих; высшее "Я" помимо всего свершает некий акт в некоем символическом действии. То, что стояло, как долг ("Мне надо *свершить*"), в августе я *свершил*; но самое странное, пугающее меня, в том, что я не знаю, что я свершил: я свершал некий поступок, который разыгрывался в моих глубинах так: я в символическом обряде сламываю гидру войны; я убиваю самого дракона войны, или ту государственность, которая вызвала войну со всеми ее шпиками, со всеми ее темными тайными организациями во имя 2-го Пришествия и неведомых мне форм любви и братства народов; от правильного выполнения обряда зависит самая судьба мировой истории, ибо обряд - светло магический обряд. Темные силы в дни обряда обступают меня, чтобы погубить: они работают над тем, чтобы обряд свершен не был; люта их ненависть; около меня рыщет Враг, чтоб уничтожить; передо мной разверзаются все бездны, но я закрыт от тьмы кольцом светлых сил; доктор меня накрыл своим рыцарским плащом и дал мне меч; от любой оплошности с моей стороны и со стороны охраняющих меня я могу погибнуть и прахом рассыпется в линии истории то, чему в данный этап свершиться *должно*.

Так это все разыгрывается во мне в августе.

Ужас мой в том, что я не знаю, правильно ли я прочел *миссию*, мне порученную; такие миссии не дают в словах, но дают в *знаках*, которые надо не только увидеть, но и прочесть; не только прочесть, но и поступить сообразно с прочтенным в ритме и в такте; тут уже апеллируешь не к имажинации, а к инспирации; и поскольку прочтение инспирации зависит от правильного изживания кармических моментов, то *карма* появляется перед тобой так, что она в некоем инспиративном центре пластична, как воск; она послушно вылепит тебе твое будущее в полном соответствии с проведенным тобой поступком; если он в *ритме*, будущее - разыграет в тебе этот ритм; если в ритме дефект, - он с железной необходимостью выявится в будущих годах и в личном, и в социальном. Наконец: поскольку самые картины кармы *прошлой* и этой, кармы *поступка*, правильно прочтенного, сплетены узлом в решающем моменте жизни, так сказать, перевальном, - увиденный узел в лике целого есть Страж Порога.

Вся ситуация моей жизни в августе 1915 года такова, что она прочитываема мне из 1928 года, как ситуация перевального подъема от ущелий прошлых лет через плоскогорья ближайших, чрез кряж годин 1912-1915, к моменту, за которым - обрыв в неизвестность, ибо неизвестность выявится известностью лишь в длинной веренице будущих лет; но это будущее в дни *поступка* - в твоих руках: тебе брошены кармою вожжи, которыми ты управляешь конями жизни.

Все это разыгрывалось в переживаниях с могучей, непобедимой силой в дни августа 1915 года; переживания заслоняли абстрактно прочитываемые письменна; все прочитывалось в безобразных, инспиративных ритмах; и тотчас же ста[но]вилось *образами*, но не образами фантазии, а образами так-то перед тобой стоящей ситуации внешних событий, из которых каждое, не разрывая внешней причинности, стояло перед тобой своею громадною глубиною. Попытаюсь передать это ощущение так: ты играешь в шахматы с сильным игроком; перед тобою шахматная доска; сделали шах твоему королю; от ближайших двух-трех ходов зависит: превратится ли шах твоему королю в *мат* или, наоборот, ты, вывернувшись, увидишь промах противника и в свою очередь сделаешь ему

мат; образ ситуации фигур ярко отпечатлется перед тобою. Теперь представь, что *игрок* в шахматы - король, стоящий на шахматной доске, на которого напали со всех сторон; это личность Бориса Бугаева в дорнахской ситуации с такими-то трагедиями и с такой-то миссией социальной, - например: в Малом Куполе "*Гетеанума*" в такой-то день произвести стамеской борозду на архитраве; от правильного или неправильного проведения борозды зависит победа или гибель всего "*Иоаннова Здания*", которое лишь символ будущей культуры любви в братстве человечества; ведь правильная борозда, если она светло магична, - победа; если борозда неправильна, гибель -- культуре и гибель тебе. И вот тебя под руку пугают картиною ужаснейших нападений на тебя, угрожающих тебе смертью; ты - фигура короля, которому сделали *шах*; чтобы вывернуться, ты должен забыть свою личность, преодолеть страх, увидеть себя деревянной фигурой вне себя, выйти из фигуры и стать вне ее лишь шахматным игроком: твоя судьба, судьба будущего, Дорнаха, мировая война, "*Гетеанум*", даже сам доктор в нем, - фигурки, не более: фигурки, которыми ты защищаешься: белые; а ужасы, враги, - лишь черные пешки, черная дама и черный король, нападающие на тебя; ты отразишь их лишь представлением, что они деревянные фигурки на шахматной доске.

Так бы я выразил ощущение себя в *августе* в дни моего хода, обдумывание которого - не мысли, а поступки, проведенные в жесте тобой услышанного ритма; а перед этим обдумыванием я застаю себя в состоянии сознания ужаса: на тебя нападает *черный король* своей *черной дамой* и прочими фигурами: *черными* офицерами и рядом *черных* пешек. Ты - обстан *черными*, а доктор не защищает: отступился; ты должен защититься сам, ибо *судьба* твоя тебе отдана в руки.

С апреля до августа я видел определенно ход *черной дамы* на меня, но не было картины, вдруг открывшейся в августе, в начале его: картина эта: *черная дама* и *черные пешки* (например, энного рода шпики) не связывались еще с такой отчетливостью в *черную партию*, которую ты лишь предполагал, но не до конца видел. Вдруг за *черной дамой* и пешками появился ряд очень крупных новых фигур: офицеры, туры, кони; и все - *черные*; и за всеми ними на горизонте появился: сам *черный король*.

Осознание, что это *лишь партия шахмат*, - выход из нестерпимого положения и сознание, что если ты так не отнесешься ко всему рою ужасов, то ты погибнешь; так инстинкт самосохранения должен тебе подсказать; где-то ты знаешь, что самый миф о *партии шахмат* лишь спасительный покров над бездной действительности; но покров этот и есть твой ковер-самолет: пролететь над собственной гибелью и гибелью светлого дела, как над... *партией в шахматы* с кем-то. В этом головокружительном взлете над личностью или вынужденном взлете над "*гибнущим*", - первое ощущение помощи; в минуты безумных действий, продиктованных ужасом, внутри них тебе вскроются и ослепительные моменты *помощи*, отражающие от тебя гибель; в схватках их и протечет твой символический, кармический акт, где двойник, Страж Порога, враги и друзья-охранители и будут действовать в жестикуляционных фигурах имажинации, так сказать, вписанных в самое обстание дорнахского быта до последних пустяков этого быта.

Осознание партии (схваток *черных* с *белыми*) - вторая половина августа, окрашенная: 1) окончанием работ под Малым Куполом, 2) постановкою последней сцены "*Фауста*", в которой описано, как *ангелы*, вырвав "*Фауста*" из когтей смерти, принесли его в небо, 3) взрыв скандалов в Дорнахе и начало чистки авгиевых конюшен. Первая половина августа - дикий ужас от сознания, что ты - погиб; ты - в когтях Чорта; тебе - нет спасения; и вот уже появились вокруг тебя убийцы, губители, клеветники, оплевывающие и заушающие тебя.

Образно говоря: в первой половине августа, я, жалкая деревянная фигурка *белого* короля, поставленная на шахматной доске рукой кого-то (не доктора ли?) ощутил шах и мат себе: игрок противной партии - убил меня; не было даже ощущения, что это *шах* королю; было ощущение: *мат, мат, мат* - вопреки всем усилиям; и почти вопль на того, кто мной играет: "Что же это он проиграл меня!"

Все то, что я говорю, есть, так сказать, лишь внутренний фон, на котором мне виделось: 1) *имагинации* моего сознания, 2) действительные *факты*, смысл которых, *здравый смысл*, мне и по сию пору непонятен; и я вынужден их читать в символическом смысле, чтобы они не выглядели сплошною абракадаброю.

Абракадабра, но гениальная - так определил бы я клубок противоречий, который вскрылся на дне, или верней в *бездне* моей души. Но в этой бездне, над которой имажинации плели мне мой *ковер-самолет*, я различаю две группы явлений *не душевных*; я различаю то, что в течение 12 лет стояло передо мною, как картина воспоминаний, когда я душевно вылез из абракадабры, оказался уже за пределом ее, - вне Дорнаха, доктора, Бауэра, "*существа*", черных фигур, Аси, Наташи и прочих персонажей моих путанных мифов; сквозь них в 12-летию моих трезвых духовно-научных дум об августе 1915 года выпечаталось 1) было изживание прошлой кармы, 2) была встреча с Стражем Порога, 3) была поволена карма всех будущих лет, включающая жизнь в России, "*нет*" Дорнаху, разрыв с Асей и т.д.

Сквозь душевную абракадабру была продернута мысль огромная: мысль духовных мифов; душевная абракадабра была дымом моей душевности, неизжитости, в момент, когда *молнией*

упало нечто в глаза мои из сферы Духа, ибо глаза мои в эти дни иной раз бывали молниями, выхватывающимися из меня и мне озарявшими *то*, к чему у меня еще не было разумения: *я видел* и кое в чем *поступал* мудрее, чем это все отдавалось мне в смятенном рассудке.

И - кроме всего: душевная абракадабра ведь строилась на фактах эмпирической, внешней действительности, которую я разглядывал пристально; и чисто внешне я лучше видел в эти роковые дни; я был наблюдательнее, чем обычно; вся моя писательская наблюдательность была мобилизована.

Кроме того: были объективные факты, отрицать которые при всем желании нельзя, ибо они - либо факты истории войны, либо факты истории "А.О.". В августе события восточного фронта пошли воистину бешеным темпом; немецкий фронт несся вглубь России; русские отступали в паническом беспорядке: падали - Варшава, Ивангород, Брест; со дня на день ждали падения Минска; судьбы России висели на волоске: выходить из войны, рети-ровать армии вглубь страны, *пресечь* наступление немцев? Позднее стабилизировался восточный фронт; в августе он совершенно расплавился; казалось, что Россия из войны выбыла; и русские, и немцы не могли не быть взвинченными этим ускорением военного темпа; поскольку тема *войны* вплетена в мои имажинации августа, я отмечаю эти факты; в самом деле: не я же выдумал, что был разгром императорской армии. И не я выдумал, что именно в этот период настроение солотурнских властей было к нам, антропософам, резко отрицательное(90); под давлением *антанты*, требующей, чтобы работы в "*Vau*" были остановлены, в соло-турнском совете дебатировался вопрос о закрытии работ и высылке антропософов; 3 голоса потом оказалось за высылку нас против 3 голосов против, наше дорнахское бытие висело на волоске, ибо выдумывались *антантой* легенды о том, что неспроста гнездо немецких шпииков под формой их участия в "А.О." приютилось рядом с западным фронтом (в 15 километрах); английская миссия в Берне делала ряд представлений по этому поводу в Швейцарский Союзный Совет. Это - тоже факт, а не имажинация; разумеется: мы все волновались такими фактами.

И - тоже факт исторический в жизни "А.О." Именно в августе месяце вскрылся гнойник многих бунтов, болезней, ненормаль-ностей, до этого в месяцах и даже в годах нарывавший в молчании; сюда входит: разбор ряда оккультных заболеваний и инцидентов на этой почве, вплоть до подозрения большими "*тетками*" некоторых из молодежи в ряде гадостей, которых не было; было вскрыто, что Чирская, Штраус и бразилианская немка учредили нечто вроде сысского бюро, состоящего из таких же душевнобольных, психопатологических существ, занимавшихся подглядываниями и распространениями клевет на некоторых (случай с женихом *milé Lév*) из антропософов, даже среди дорнахских мещан, непричастных Обществу; эти последние со слов *антропософок* раздували клеветы и тащили их к католикам, ненавидевшим нас и писавшим, что "*мусорную кучу*" ("*Vau*") надо разрушить; среди последних действовали иезуиты; иезуиты наводнили Швейцарию в эти дни; и даже самый черный папа, кардинал Ледоховский, избрал своей резиденцией Швейцарию в это время; *наскок* иезуитов на нас в те дни, - факт, как и приезд в Дорнах польского оккультиста Лютославского в те же дни, не принятого Доктором; Люто-славский, принадлежавший к какому-то темному оккультному обществу, рыскал по Дорнаху и даже видался с Седлецким; доктор же говорил на лекциях - в те же дни, что нам надо держаться, потому что мы *на виду*; мы - мишень для обстрела нас всеми тайными, *черными* братствами, среди которых иные - очень и очень могущественны (не этим ли обстрелом объясним взрыв оккультных "*эпидемий*" среди антропософов). Отмечают *факт* слов доктора, потому что мои душевные восприятия этого времени полны ощущением оккультных преследований.

Не выдумка моя и резкая атака со стороны нескольких больных "*теток*" Марии Яковлевны, ибо это разоблачило расследование особой комиссией антропософов в *сентябре* и *октябре* (во время разбора инцидентов); факт и то обстоятельство, что съезжавшиеся в большом количестве в августе из Лозанны и Женевы антропософы-антантисты, раздраженные успехами немцев, обвиняли немецких членов, работавших в Дорнахе, в шовинизме, и обвиняли русских, друживших с немцами, в предательстве своего отечества (тут влетало особенно мне, как "*любимцу*" М.Я.: такая сплетня ходила); не выдумка и огромная декларация д-ра Гёша (в 200 реминг[оновских] страниц), посланная "А.О." и обвинявшая "А.О." и доктора в ряде "*оккультных*" темных деяний и в том, что доктор сводит с ума, обезличивает волю и т.д.; приводился случай со Шпренгель, как якобы обманутой доктором. Этот 200-страничный фолиант изучали и в ряде собраний обсуждали: как реагировать на поступок Гёша и Шпренгель, продолжавших жить в Дорнахе и *даже* общаться с рядом членов: Гёш и Шпренгель имели ряд тайных сообщников среди нас.

Совершенно объективным фактом было и то обстоятельство, что в августе-сентябре 1915 года весь быт дорнахских антропософов был обложен кольцом *шпионов* всех стран и их *контрразведками*, о чем открыто намекали доктор и М.Я.; многие в августе 15 года еще не знали в наивности, до какой *степени это так* (я же, с мая, апреля постоянно подчеркивал Асе, что за нами установлена слежка); впоследствии, когда меня уже не было в Дорнахе, *эти факты были точно установлены*.

Факт несомненный: доктор в августе ходил среди нас *мрачней тучи*; мрачность, страдание и подавленность каким-то страшным знанием бросались в глаза; и мы ходили, подавленные этой его мрачностью; факт: сошлюсь на свидетелей.

Наконец, - факт, что к дням окончания Малого Купола и к постановке "Фауста" был приурочен ряд деловых собраний; некое

фактическое *генеральное собрание* имело место (его нельзя было объявить публично ввиду *войны*: воюющие по закону не могли открыто, публично заседать вместе); на это собрание явился ряд делегатов, настроенный сплетнями о нас весьма враждебно, с целью произвести ревизию дорнахским делам и быту; косвенно эта ревизия относилась к ревизии президиума: Унгера, Бауэра, М.Я. Штейнер; с президиумом был солидарен доктор в те дни; косвенно: *ревизовали доктора* (было тайное недоверие... *и к нему*), ревизовали его якобы потворство молодежи: дорнахский совет, президиум Общества, доктор и дорнахская молодежь, - составляли в августе меньшинство: большинство - *гаранты* лож, отовсюду съехавшиеся (из Финляндии, Австрии, Норвегии, Швеции, Англии, Голландии, Германии и т.д.); они смотрели *косо на нас*, дорнахцев; и этим: произвольно косились и на доктора.

Соедините все это вместе; и представьте, градация этих неприятностей, назревавшая в месяцах (иные - в годах), так сказать, под шумок, *в августе, катастрофически разразилась громко*, как некая лопнувшая над холмом бомба, - именно в праздничные дни: сдачи нами, работниками, Малого Купола, резьба которого, по доктору, имела огромное и символическое, и оккультное значение, ибо она говорила о судьбах прошлых, настоящей и будущих культур; в связи настоящей, германской, с будущей, славянской, культурой, решила судьба будущего. Малый Купол в архитравных сплетениях и *выражал эту, связь*; сдача Купола *в августе* водилась доктором, как *ритмический жест момента: в такой-то день, в такой-то час* все работы должны были кончиться; купол - сдавался; мы - сходили с него. Перед сдачей разыгрывалась мистерия "Фауст".

В эти по доктору *большие дни* в судьбах Общества и "Гете-анума", - *в большие дни*, совпадающие с *большими днями* истории войны между Россией и Германией, и *лопнула бомба* гадостей: внизу под Куполом.

Но в эти же дни мы, строители Малого Купола, - все - вдруг осознали, так сказать, провиденциальность нашей резьбы: и символизм ритмического Жеста наших стамесок; в противовес всему гадкому, что начиналось уже под колоннами Храма, в зале Храма (сплетни, клеветы, борьба партий), мы поднимались по лесам к Куполу над всем *гадким*, в праздничных костюмах, заканчивая *связь культур*: прошлых с будущими.

И - тоже факт, а - не вымысел: доктор полагал в линиях связей культур особенно важную ту связь, которая совпадала со связью культур данного исторического момента; архитрав *вяза* в Малом Куполе был архитравом германской культуры, а с ним рядом находящийся архитрав *клена*, на котором работали мы с Асей, изображал архитрав славянской культуры; я же работал у того куска клена, где он в линии орнамента переходил в *вяз*; и я предчувствовал, что промежуточные штрихи, которые падают на линию обоих архитравов, суждено мне провести: эти штрихи - спайка культур славянской с германской, спайка - настоящего исторического *момента*, в котором именно эти культуры на физическом плане катастрофически сшиблись, - штрихи судьбы, мне посланные. Над бомбой разорвавшихся мерзостей, в обстании катастроф, на фоне важного исторического момента я должен был соединить то, что разрывали на части все: *вопреки всем* - по воле сюда меня посылавшего доктора.

Вот точка пересечения двух внятиц (духовной и физической) с невнятицею моей личности, в это время перетрясенной и переполненной саморазрывами.

Все то, что я здесь говорю, загрунтовывает лишь фон, на который я хочу поставить несколько переживаний, столь роковых для меня в этом месяце(91).

Август в Дорнахе и грозен, и душен; в 15 году грозовая духота как нельзя лучше соответствовала грозовому ожиданию всяких трагедий, долженствовавших разразиться над судьбами отдельных людей, человеческих отношений, "*Гетеанумом*", антропософским Обществом, Германией, Россией. Все ходили, точно прислушиваясь к чему-то; между людьми, вчера дружившими, вставала тень недоверия друг к другу и ничем не мотивированного недоброжелательства; никогда не было столько пустых ссор, никчемных сплетен, даже просто... глупых, нетактичных поступков; американка, мисс Чильс, вдруг одурев, ездила по Базелю и покупала за счет своих знакомых ненужные вещи, которые и посылала им к их ужасу; наконец, она была ночью поймана антропософскими вахтерами с *поличным* (в помещении "*Bau*" ночью нельзя было оставаться); с вечера она пряталась в "*Bau*", а ночью тайком от вахты отдавалась *мистическим* переживаниям; стали распространяться слухи, что у антропософов существует обычай обнажаться, потому что две почтенного возраста тетки вздумали в леску отдаваться солнечным волнам, и в костюме праматери Евы были накрыты дорнахскими мужиками; подозрительно вел себя в Базеле пан Седлецкий и по этому поводу распространились сплетни: о безнравственном поведении антропософов... на стороне; какую-то глупость выкинул милый финляндец, Лилль; супруги Полляк повели недостойную интригу против баронессы Эккартштейн, обвиняя ее в произволе, неумении

вести художественную мастерскую и чуть ли не в растрате; д-р Унгер обозвал почтенную Т.А. Бергенгрюн дурой; шипели доносчики на нас с Асей, что мы дружили с "*ренегатом*" доктором Гёшем, который засиживался у нас до 2-х часов ночи; жених барышни Лёв был обвинен в распущенности по доносу подглядывавшей за ним из кустов тетки; он обвинялся в совращении девиц; дело дошло до доктора; о соблазнении девиц антропософами гудели дорнахские окрестности; и при попытке расследовать, откуда слухи пошли, обнаруживалось: причина сплетен - молодой человек; когда же расплели комок сплетен, то оказалось, единственный корень порочащих слухов - факт поцелуя женихом своей невесты (свадьба была назначена осенью); отец невесты, почтенный старик Лёв, взбешенный клеветой на жениха дочери, забрав жениха и дочерей, в негодовании уехал из Дорнаха.

Не перечислить мелких, глупых, раздуваемых до "*ужаса*" инцидентиков, которыми вдруг процвели первые дни августа и которые вместе с *серьезными* инцидентами и невыносимо тяжелым фоном общего положения *порттили воздух* Дорнаха; иногда казалось, что дышишь" миазмами; к этому присоединялись эпидемия страшных снов и мании преследования, которой страдал значительный % нашей колонии: с августа до... ноября-декабря; Энг-лерт впоследствии признавался М.В. Волошиной, вспоминая дни августа: "*Мне казалось, что пахнет серой и козлом*". А Энглерт был розовощеким, трезвым, весьма не фантастично выглядящим... настоящим мужиком: с крепкой волею строителя и без всякой мистической нарочитости.

Я потому вспоминаю эти слова Энглерта, что именно в эти дни *вонь серой и козлом* стала мне отравлять дыхание; и я без видимой причины опять заболел приступами 1) страха, 2) бунта, 3) диких фантазий, 4) почти галлюцинаций среди бела дня, подступы которых испытывал и в июле еще.

Началось это с взрыва вызывающих жестов без слов Наташи, поведшей просто атаку на меня весьма грубым и как мне казалось ужасно циничным кокетством, бередящим чувственность; все усилия мои не поддаются на ее приглашения отнестись к ней, как... к... проститутке, в моем воображении разбивались ею; она умела атаковать меня, не стесняясь присутствием Аси, точно нарочно не видящей ее поведения; впрочем и то сказать: поведение Наташи в ее откровенных жестах было всегда задрапировано нотой сестрински-товарищеского "*sans facon*", которое она завела меж нами: чуть шуткой, чуть насмешкой и грубоватым "*со своими не церемонятся*"; но это и было утонченной провокацией меня, ибо этим "*не церемонятся*" она знала, что безнаказанно берedit мои вольные ею же полтора года неустанно растравляемые раны.

Я рванулся к Асе, как к последнему прибежищу; и попросил ее настойчиво обратить внимание на Наташу, принять меры к тому, чтобы меня освободить от постоянного ее присутствия, на что Ася расхохоталась: "Дари ей хоть цветы, что ли?" И попросила меня о Наташе не говорить с ней; кроме того: она отказалась принимать меры к изоляции нас друг от друга. Я без слов обращался к доктору; но доктор, как нарочно, делал вид, что *это его не касается*. Я бросился к Трапезникову и получил ответ: "Да глядите проще на вещи!" Я знал, что Поццо - не муж Наташи; мы с Асей давно не были мужем и женой. И в моем полубреду вспыхнула ассоциация: "Все сделано так, что Наташа и я, - суждены друг другу; это - карма; бороться тут нельзя". Кроме того: Наташа избегала разговора со мной вдвоем, мне бросая одновременно намеки, что разговор будет после того как... *это случится*; мне стало казаться, что она подстрекает меня к тому, чтобы я ее... *взял, как мужчину; взял насильно*. И даже подтрунивала: над моей трусостью... *ее взять*.

Эта навязчивая идея укреплялась навождением ночи; я знал уже, сидя с Наташей и Асей вечером, у нас, если Наташа *такая*, какой она иногда умеет быть, жди ночью ее как бы прихода вне . тела, когда она, в моей ночной бессоннице делалась нападающим на меня *суккубом*; и в этих прилетах ее *на помеле* было что-то столь ужасное, демонское, - что я, хотя и был пассивной стороной этих нападений, я тем не менее чувствовал на душе какой-то тяжкий грех.

В этом, втором лике своем, Наташа в иные минуты виделась мне тем, чем выглядела "*черная женщина*", которая продолжала, как летучая мышь, шнырять на холме; стоило мне отдаться припадку страсти к Наташе, как эта, мне неведомая *женщина*, точно в ответ на мои переживания, глядела на меня с наглюющей улыбкой, сверкая своими зелеными, как молнии, угрожающими глазами: *лев приближался ко мне, собираясь меня попутать*; страннее всего: эта мадам "*Шварц*" (так кажется) с недвусмысленной наглостью, переводила глаза с меня на Наташу; и даже: на лекциях, в людских роях, оказывалась с ней рядом; подкравшись к ней, она поворачивалась на меня и своими ужасными, кровавыми, толстыми, как у вампира, губами кривила преотвратительно.

Меня же била лихорадка гадливости, ужаса и гнева; однажды я увидел, как после лекции доктора, подкравшись к Наташе, *черная* прилипла к ней, а та стояла, глядела на подиум и будто не замечала этого более чем странного поведения; волна ярости, пересилив страх и отвращение, поднялась во мне: мне казалось, что черная "*глазит*" Наташу; я быстро подошел к ним и буквально плечами спихнул с Наташи "*черную*", не обращая внимания на то, *как это выглядит*; мое плечо ушло, как мне показалось, во что-то отвратительное студенисто-мягкое, бессильное; мадам "*Шварц*" шлепнулась с Наташи, мягко скачнувшись с нее; и опустив плечи, не глядя на меня, заковыляла прочь (ведь она - "*хромоножка*").

До сих пор не могу объяснить себе того, как эта женщина осмелилась ни с того ни с сего прижаться к Наташе, как Наташа этого не услышала или, услышав, не реагировала, как я мог с недопустимой грубостью подойти и шибануть плечом незнакомую даму; как, наконец, это вопиющее нарушение всех приличий снесла "мадам" Шварц. Переживания могут быть субъективны; но *факты* остаются *фактами*.

Я их - не понимаю!

В эти же дни, в соответствии с взрывом невнятиц с Наташей и с обнажением вновь в июне-июле было притихшего "существа", появились и *черные*: во всех видах; на прогулке в Дорнахе я стал встречать невыразимых уродов, точно выбегавших из всех кустов при виде меня, чтобы пройтись по дорожке - мне навстречу; почему я, живя полтора года в Дорнахе, не замечал, что он населен уродами, монстрами в духе Босха? Их и не было; они исчезли потом; в августе Дорнах переполнился уродами, из которых каждый - редчайшее явление; появлялась чудовищно распухшая мегера в бородавках с такими манерами, что можно было думать: она - не только содержательница публичного дома, но... так сказать "*патрон*" всех на свете публичных домов; однажды, в те дни, я ее встретил на базельском железнодорожном вокзале, куда я попал с покупками и где в ожидании поезда пил чай; она уселась перед моим столиком с неприличной девицей, намазанной под ангела; третий с ними сидел... тот самый член базельской ложи в лиловом галстуке, который с июня всюду мне попадался вне Дорнаха, точно следя за мною (что он член, явствовало его появление на лекциях доктора в столойне); все трое дружески беседовали: нарочито дружески, точно этим бросая мне вызов. Другим из запомнившихся монстров тех дней - идиотичного вида прыщавый малый, выносившийся мне навстречу и при виде меня разрывавший беззубые своего гнилого рта; было что-то отвратительное в этом идиоте; стоило мне прогуляться по Дорнаху, он - тут как тут: летит навстречу. Третий монстр, мне запомнившийся, - ужасный старик с сизо-лиловым гигантским, ненормально утолщенным носом, скрюченный, обросший сединами, с маленькими злыми кабаньими, вниз устремленными и моргающими себе в усы глазками; самое страшное, что он несся вприпрыжку, не глядя на меня, мимо меня; и - часто вылетал из-за кустов, у поворота дорожек. Четвертый ужас - гигантский толстяк, с усищами, сосущий огромную сигару и ею делающий движения; увидев меня, сигара его начинала прыгать во рту вверх и вниз; что сие значило,

- не знаю; но я понимал, что жест сигары относился ко мне.

"*Много еще ужасов бывало*", - вернее: все эти монстры высыпали на дорожки Дорнаха и Арлесгейма в первой половине августа, как жабы и черви... после дождя; к концу августа все они - бесследно исчезли.

Эти *черные* пешки, присоединенные к шпикам, к следу *шпиков* и к *черной даме* в *черных днях*, нависавших над всеми нами и особенно надо мной, были лишь бордюром к черному фону, который скоро предстал предо мною во всем величии, как развернутое покрывало, готовое пасть на меня и окутать меня; пешки доказывали, что есть *черная* партия в игре со мной, или даже с *нашей партией*, игроком которой я считал доктора; он ходил, как в воду опущенный среди нас; его вид - дружил; он видом показывал точно, что об ужасных *минах*, подведенных под "*Гетеанум*" и под все его дело, он знает, но - говорить не может.

Это было одним из мотивов, почему я не решался обратиться к нему из *чернот* моих восприятий: ему не до меня, даже не до нас; он отражает какие-нибудь невероятные ужасы, о которых говорить невозможно; и вспомнились его слова в Швеции, сказанные в замке, где я получил посвящение в М.Е.: "Если бы оккультист сказал вслух о страшных вещах, которые ведомы ему, никто бы не выдержал: есть вещи, упоминание о которых способно разорвать землю".

Я думал: *некто* в этом роде приблизилось; мои переживания и наблюдения - наблюдение *симптомов*, только *симптомов*, под которыми - вящий ужас.

В это время Ася себе заказала белую суконную накидку к праздничным дням, накрывавшую ее с плеч до земли; накидка выглядела белым рыцарским плащом; я поглядывал на нее; и думал: "До чего этот плащ не соответствует истине нашего положения!" Я и не подозревал, что в имажинациях, которые мне скоро под-строются, *белый плащ*, который окажется у меня на руках, будет мне символом посылаемой защиты и помощи.

К ряду восприятий присоединилось еще одно: в моей бессоннице на почве невроза, тоски и мозгового переутомления (я ведь проделал гигантскую работу над текстами доктора, Гёте, Метнера и написал книгу в 400 страниц) присоединилось поганое восприятие: прямо под полом моей постели - там, где в первом этаже у старушки Томан была *лустая комната*, в которую стали последнее время заходить какие-то неизвестные мещане и в которой временами кто-то неизвестный стал ночевать, - прямо под полом из пустой комнаты начинали доноситься странные звуки; кто-то приходил; под моей головой раздавались: шепот мужского голоса, потом возня, и заглушённые женские стоны; ну, словом: мне казалось - кто-то насиловал женщину; возня длилась часами, сквозь нее раздавались явные стоны женского существа; какую-то женщину часами мучили; я вскакивал с постели и не знал, что мне делать; раздайся *все это* громче, я имел бы право разбудить Асю, спуститься в нижний этаж и самому удостовериться, в чем же дело; но смесь

из поганных и страшных звуков под моей головой была на той границе, которую переступить я боялся: "Что если - кажется? И я останусь в дураках".

Ночные звуки, присоединенные к дневным восприятиям, к Наташе, существу, на фоне Дорнаха, на фоне *всего прочего*, доканывали меня, вырывая сон; относительно этих звуков я не знал точно: относимы ли они к расстройству слуха или к действительности.

Как-то раз я заметил у старухи Томан девочку лет 12-ти, с черными, как смоль волосами, болезненно-острыми глазами, обведенными синевой, и смертельно бледную. Девочка появлялась часто, и я не знал, откуда она взялась: может быть, старуха Томан ее взяла в дом (наша квартира была с отдельным ходом наверх и я никогда не знал, когда гостят сыны Томан, приезжавшие откуда-то, когда их нет). Но появление странной, *черной* девочки как-то ассоциировалось в моем сознании со всею градацией *черных* знаков; явления *черного крапа* многообразны были; и отмечались мной механически: отметишь и забудешь, но все же отметилось: "Девочка эта... к худу".

Однажды ночью, когда обычные стоны и вздохи, соединенные с возней под моей головой, были особенно настойчивы, - ужасная мысль резнула меня: "неужели эта девочка, й Томан, как будто ее взявшая в дом, приход неизвестного ночью..." - словом: ужасное, гадкое подозрение мелькнуло в голове, что Томан продает девочку какой-нибудь скотине; я тотчас отвергнул мысль: Томан казалась честной старухой; думать *так* о ней гнусно: но мысль - застряла.

Однажды кажется Ася спросила: "Кто эта девочка?"

- "Я взяла ее, почти отняв у родителей, которые девочку истязали; она пока - тут". Что-то в тоне Томан, обычно прямом, было неискренно; но я не смел ничего думать.

Однажды, когда я шел на "*Vau*" и спускался с лестницы, у выхода я наткнулся на нашу весьма подозрительную прислугу, иногда куда-то исчезающую и потом опять появляющуюся у нас, на Томан и еще кого-то (не помню кого); прислуга неискренно обнимала девочку, которую точно нарочно поставили (она стояла в искусственной позе); когда я проходил мимо, прислуга бросила громко в пространство, точно нарочно:

"Das Kind".

Что - "das Kind?" И - почему? Пронеслась летучая ассоциация: и связалась с еще одним странным наблюдением дней: в хорошие светлые минуты мне попадались маленькие белокурые дети; и образ *ребенка*, как символ духа в нас, меня утешал; а в темные минуты появлялись какие-то *черные*, неприятные, точно дефективные дети, и они связывались моим сознанием с возможными духовными искажениями.

С августа в кантине, где мы пили кофе, появилось несколько неприятных, дефективных ребятишек вместе с приехавшими из французской Швейцарии членами; они как-то скверно кривились среди нас; и мне отметилось: "Да, - одна из энных черт *черного крапа*, который кем-то обильно сеется перед моими глазами". Теперь, думая над странным возгласом: "Das Kind", я подумал: появление неприятной, бледной черной девочки у фрау Томан - явление этого порядка.

Не помню когда, в этот ли день, на другой ли, - но я прочел в базельской газете: в окрестностях Дорнаха совершено преступление; найден труп изнасилованной девочки; полиция разыскивает негодяя.

Ночью, когда опять под моей головой началась возня - вдруг все черточки моих наблюдений над Томан, прислугой, девочкой, подозрительными взглядами, которые провожали меня, наконец иррациональными припадками страха, и угрозами, мне посылавшимися кучкою мужиков с их "если *так*, *то* - можно и застрелить", - все это молниеносно сложилось в химеру: ищут неизвестного убийцу-насильника, скрывшего следы преступления, о котором я и не подозревал (я - редко читал базельские газеты); я оказался в числе подозреваемых, или, лучше сказать, "*они*", губящие, бросили на меня тень подозрения; и тут же ответилось: что за нелепица; ведь каждый мой шаг протекал под глазами. Но не мысль о подозрении резнула меня, а то, что я хожу в *тени*, брошенной на меня теми, кто вышли губить доктора, Гетеанум, кто бросили на меня "*существо*", кто превратили Наташу в медиума черных сил, кто усеяли мою дорогу монстрами. Все множество необъяснимых, фактических, гнетущих наблюдений двухтрех последних месяцев мгновенно соединилось в невероятном мифе, все же дико объясняющем мне необъяснимые, но трезво наблюденные мелочи, - и голова моя закружилась; я был охвачен ужасом; я понял, что мне не справиться с роем разнородных нападений, ничем не связанных; *черные* пешки, *черный* крап, *черные* переживания, *черная* дама, - извне, изнутри - прирезывали меня; единственно, что я *мог бы* противопоставить этому рою - душевная сила и чистота; но я считал, что в наводнении с Наташей, от страсти к которой я сгорал в эти дни, и что безумное решение - "*будь что будет между нами*" лишили меня последней твердыни; камень, на котором я стоял над бездной - моя уверенность в *пути Духа*, - этот камень был вынут из-под ног моих.

Я понял: *мат, мат и мат!*

Помнится, - утром я выскочил из постели, как встрепанный; посмотрел на свое тело и увидел у себя на ноге: четкое, сине-красное, круглое пятнышко, которого не было; и уже в полном безумии, безо всякой логики, не я сказал, а злобный голос, чужой, во мне раздался:

- "Отметка дьявола: ты у него во власти". Представилось: мною играли, меня проиграли!

И тогда-то на горизонте сознания передо мною отчетливо встал *Черный король*, *Ариман*, теперь своею персоною на меня наступавший: черные пешки, фигуры, сама *черная дама*, - все отступило: сквозь все я увидел один лик.

Ариман и я, брошенные друг на друга; я - безоружный, не знающий чем отразить нападение; он - вооруженный смертельным копьем, не дающим пощады; копье направлено; я - во власти; я сам уже не могу себя защитить; если от меня *не отразят*, я - умер, а то, от чего я умру - неважно: от оккультной ли болезни, от клеветы ли, от простого ль ножа в спину, - убийство будет: не сегодня так завтра; и главное: нельзя никому ни в чем признаться; признайся я хотя б Асе, она сказала бы: "Ты сошел с ума".

Но я не чувствовал себя сумасшедшим, хотя бы в росте того самообладания, которое я выказывал внешним образом; никто, даже Ася, не видел меня в ужасе; я выглядел трезвее, спокойнее даже; такое спокойствие ведь оказывают обреченные на расстрел: перед расстрелом; томление неопределенности - кончилось; в сердце отдалось:

- "Ну вот и прекрасно: думай об одном, - мужественно встретить удар, падающий на твою ничем не защищенную грудь".

Помнится: я вскочил и вышел на лужайку; к нашему дому откуда-то прибежал громадный, тонкий, тигровый, темно-оливковый дог и весьма неприятно метался передо мною, чертя круги и что-то вынюхивая; дога этого нигде не было прежде; с той поры он изредка появлялся передо мной: всегда в самую жуткую минуту, ассоциируясь с образом чорта, принявшего вид пуделя.

Странно: ассоциация эта вызвала во мне образ *Фауста*, который продал душу чорту; чорт приходил за душой, но ангелы отбили *Фауста*; Фауст слышал молитву: "Christ ist erstanden"(92). Образ Фауста не раз мною ассоциировался с собою; мои отношения с Наташей и Асей чем-то напоминали отношения Фауста к Гретхен и Елене; кто Елена, кто Гретхен - не знал; и не знал даже, в чем аналогия; но - аналогия была. Я, как и Фауст, - павший мудрец; Лемуры и Мефистофель меня окружили; но ведь есть ангелы, вынесшие душу Фауста, и есть Патер Серафикус, окруженный чистыми младенцами. Я вспомнил: Ася и Наташа в мистерии "*Фауст*" возглавляют два ряда ангелов, несущих Фауста в царство духа; самая постановка в теме спасения Фауста связалась с ситуацией того, что разыгрывалось в душе моей; как я не понял: миг Черной мистерии, разыгрывающийся во мне, и постановка мистерии спасения Фауста, которой должны были открыться важные дни, - одно и то же; подлинное хождение души по мытарствам здесь и отражение этого на сцене, как спасение из мытарств, есть единственная спасительная соломинка, за которую оставалось схватиться; и я - схватился.

Вскоре после этого, разбирая дно сундука своего, я наткнулся на сверточек; развернул и увидел: образок Св. Серафима, о котором я забыл и который путешествовал со мной с 12-го года(93); странно: мне подкинул Св. Серафим, а в мистерии доктор придавал особое значение Патеру Серафикусу; Фауст и Серафикус, я и Серафим: вспомнились 1901-1903 годы, когда я долго и жарко молился святому. Я повесил образок у себя над постелью.

И жарко помолился святому: стало легче.

С той поры я как-то особенно интересуюсь подготовляемой мистерией "*Фауст*"; и скоро получаю право на посещение репетиций под руководством доктора(94) образок, репетиции "*Фауста*", мои молитвы, чтение Евангелия - все это к 10-ым числам августа входит в душу мою надеждой на помощь.

Но нападения на меня не ослабевают, а усиливаются, ведутся со всех флангов - сразу; мрачнеет военный фон, мрачнеет быт Дорнаха, учащаются ссоры, скандалы, безумия, но... точно с отчаяния сквозь это все пробиваются героические ноты самопожертвования, работы и ответственности со стороны нас, резчиков Купола, которые, поднявшись на леса, забывают все темное, чем мы окружены в пафосе работы, а снизу, из сараев, аккомпанируя работе, чаще раздаются красивые, трагические звуки написанной Стютенем музыки к "*Фаусту*", которую репетирует импровизированный оркестр. Так в веренице черных дней, которыми открылся август, появляются вспышки странных надежд на почти "*Чудо*", долженствующее ликвидировать зло; для меня же эта надежда на "*чудо*" есть надежда: молитвою Серафима, помощью *светлых* и медитативным чтением Библии, я сумею, быть может, прорвать роковое кольцо тьмы, которое обступило меня.

В этих днях мне от времени до времени стал попадаться доктор и, минуя все то темное, в чем я находился, он стал заговаривать о моей книге, которую в ремингтоне я передал М.Я. Штейнеру. Встретившись со мной, он сказал: "Всю книгу трудно перевести мне, но назовите те главы, которые вы считаете наиболее написанными от себя, чтобы мне перевели их". Я назвал две главы, в которых я был менее уверен, потому что в них формулировалась философия антропософии оригинально, и в которых наиболее связывались четыре моно-дуоплюральных, мировоззрительных установок: 1) учение доктора о 12 мировоззрениях, 2) учение Гёте о 9 кругах объяснения, 3) световая теория в ее физическом, химическом, физиологическом аспекте и аспекте субъективного зрения, 4) идея градации, моя, вынутая мною из "*Эмблематики смысла*"(95). Я указал доктору, что в первую очередь я хотел бы, чтобы ему перевели главу "*Световая теория Гёте в моно-*

дуоплюральных эмблемах"; во-вторых: не вполне уверен в том, что моя установка проблемы сознания во введении точно согласовалась с его учением о сознании. "Ну вот и прекрасно, - сказал он, - Фрау доктор будет мне переводить эти главы". Через дней пять, при встрече с доктором, он опять подошел ко мне с дружеской любовью; и, точно просияв лаской, пробормотал баском: "Знаете чем мы занимаемся с Фрау доктор по вечерам? Мы читаем вашу световую теорию. Фрау доктор ничего не понимает, а я - понимаю и растолковываю ей вашу мысль". И - поглядел дружески на меня. Я - просиял. Тогда он, дотронувшись до пуговицы моего пиджака, конфиденциальным подбодром сказал мне: "Ваша световая теория очень хороша!"

Не помню, по какому поводу (были ли мы в домике доктора или это было на холме, не знаю), но я рассказал доктору сон, который я видел в эти дни и который поразил меня: сон заключался в следующем: я вижу себя спорящим с Метнером о книге его против доктора; мы сидим за столом; я - разбил Метнера; он - покраснел от конфуза перед своим отцом, Карлом Петровичем, разгуливающим у стола, внимательно слушающим мои доводы и обласкивающим меня прекрасными глазами; странно, что Карл Петрович, - совсем другой: прекрасный, безбородый, в старомодном костюме; я не удивляюсь, что "отец" Метнера стал иным; и даже мелькает: я считаю его Карлом Петровичем, потому что он - "*отец*". Просыпаюсь, - и тут только понимаю, что это был Гёте, сошедший с одного из портретов, с моего любимого. Этот сон я и рассказал доктору; доктор посмотрел на меня с лукавой улыбкой и сказал: "*А знаете ли, что значит "Гёте" по-немецки? Это нарицательное слово; и значит оно: приемный отец!*" Так сказав, доктор прищурился.

Эти встречи с доктором, его исключительно нежный тон ко мне, меня успокаивали; его потрясающая мрачность не относилась ко мне; он меня явно выделял, войдя в аудиторию, отыскивал глазами и еле заметно бросал через головы его окружавших людей то кивки, то лишь мне заметные улыбки; но все это внимание на людях ко мне было... точно украдкой; точно он хотел, чтобы люди не видели его разговора без слов со мною; и большинство не видели; иные *видели*; и увидав, не все понимали, что заставляло доктора в этот период подбадривать меня; он знал о невероятных личных трагедиях моей жизни (скоро это обнаружилось); он знал, что меня *терпеть не могут*... из-за него; он знал, что я разорвал из-за него с близкими (как Эллис, Метнер)(96); он читал мою книгу и действительно радовался, что я книгу написал; радовала его кропотливая моя работа над подстрочным его петитом к Гётевым текстам; он видел, что из этого петита я, сопоставлением текстов, извлекал новые теории. Так раз он громко заявил на лекции: "Знаете ли, что ведь у меня есть теория объяснения". И при этом метнул взгляд с кафедры на меня; а у меня сердце забилося от удовольствия: эту его *теорию* я извлек из сопоставления подстрочного петита, из 3-х, 5-ти, *10-строчий*, разбросанных под Гёте на протяжении четырех толстых томов (работа убийственная регистра комментариев: по вопросам); сопоставив цитаты, я вынул меж них гнездящуюся стройную *теорию объяснения*, принадлежавшую отчасти и мне в том отношении, что сам-то доктор о ней не говорил нигде, как не говорил он о *многом*, что он нам подарил в материалах своих текстов, указывая, что нам самим надо уметь *извлекать* из антропософии то, о чем он еще не успел сказать. Кое-что, вместе с *теорией объяснения*, я извлек из контекстов моего регистра. Взгляд, брошенный на меня, относился ко мне, к моей работе извлечения *его теории объяснения*, о которой, быть может, и он не подозревал и на важность которой я ему в его прочтении моей работы указал. Такая аппробация "его" теории была мне потому радостна, что она *аппроби-ровала* мне ряд других очень смелых для меня выводов, ибо я, отражая Метнера, был вынужден отражать его постоянным извлечением из материалов по *гетизму положений*, Штейнером не платформированных; усыновляя нашу с ним теорию объяснения и называя ее своей с подчеркиванием, что другие не знают, что эта *теория есть* у него, ибо он о ней не говорил нигде, он, так сказать, прививал мой подход к антропософии к своему; на многое я бы не осмеливался впоследствии, если бы не получил от доктора санкций *по-своему* говорить об антропософии; это *по-своему* мыслить, *по-своему* поступать мне нужно было особенно в те дни(97)

Так, незаметным подбодром, доктор меня приучал к владению *мечом* и в том странном *жете поступка*, о котором - ниже.

Повторяю, - иные перехватывали стиль отношения доктора ко мне, так сказать, по дороге; и линия его жеста ко мне порой воровалась другими: обнюхивалась и обсуждалась у меня за спиной; такие люди, как Штинде, Калькрейт, Бауэр, Валлер понимали и разделяли отношение доктора ко мне; но такие были единицами; прочие же - ничего не понимали; большинство считало, что я втираюсь в доверие, как темный прохвост; они видели меня Молчалиным, таящим нечто худшее. По моему адресу раз была пущена стрела, что я "[неразб. - преступник?] Verbrecher". В чем моя *преступность*, которую *улучшил* доктор, - не знаю. Были и доброжелатели - из *стадного чувства*: раз доктор мне улыбнулся, надо... заискивать во мне. Эти последние относили симпатию доктора ко мне за якобы "*простецкость*" неприятельно-ограниченной природы; для этих я был нечто вроде "*юродивого*" (опять-таки без внешних поводов!).

Как бы то ни было, подбодр доктора меня, комплименты за книгу и переданные мне слова обо мне, что я *де тонко мыслю*, символически были клочком помощи, за которую я стал цепляться в

ужасах дней моих, которые - продолжались и о которых не пишу, ибо в описании нельзя объять необъятного, а дни августа по насыщенности контрастами воистину неохватны в описании.

Я стал чаще думать о фаустовской натуре своей, посещая репетиции сцены спасения Фауста от Чорта: я стал перелагать и на себя текст жестикуляции ангелов, принесших душу Фауста: "Кто вечно подвижен в *усилиях*, того мы можем освободить"(98), "Я *усилиях*" - понималось мною: в усилиях себя спасти; "*освободить*" - понималось мной: освободить себя от сетей тьмы; а эти сети все острее ощущались мной после мигнов "*надежды*" на репетициях, или в работе под Куполом; только забывая себя в созерцании эвритмии Фауста или в работе на общее дело, я не ощущал нападательных ожесточенных ударов на себя.

Эти удары то появлялись знаками, то врываются Наташей в мой внутренний мир, то стояли поганно-страшными звуками по ночам, то подчеркивались какими-то ужимками нескрываемой злобы, которой меня обливали иные из наших членов, опять-таки,

- не знаю за что; если бы не было какой-то сплетни обо мне, или если бы я заблуждался в том, что меня ненавидят и внутри "А.О.", то вот несколько фактов из бесконечной вереницы:

Эккартштейн, когда-то меня тащившая к себе работать, почти лебезившая, зазывавшая к себе в мастерскую рисовать мои "*удивительные*" глаза для эскиза к красному центральному стеклу, изображавшему голову посвящаемого в Человека, читавшая мне стихи, - вдруг, без единого повода, не только изменилась ко мне, но перестала отвечать на поклон мне; я ей поклонился, она же, заложив руки за спину, зло и презрительно расхохоталась мне в лицо; странно изменилась опять ко мне лебезившая некогда шведка, потом не кланявшаяся, потом несколько раз кланявшаяся униженно (я - не отвечал); когда же я стал ей отвечать на поклоны, она в эти дни, как и Эккартштейн, на поклон мой стала заворачивать голову; Вольфрам, с которой я не был знаком, но которая с Лейпцига прекрасно знала, кто я, при встречах со мной от злости передергивала свое лицо, лицо мегеры; так же относились Чир-ская, Штраус и некогда до сладости нежная Райф; едва кланялись Седлецкие; вообще: большинство *старших теток* из категории "*Крестоносци*" и "*Столоносци*" точно по уговору едва кланялись; и провожали саркастическим взглядом; в иные дни пятиминутный проход от нашего домика на Холм, проход по стройке до спасительных лесов на Малый Купол, был мне проходом сквозь строй ненависти, непонятно косых взглядов, подглядыв, шипа в спину; мне в иные дни чуть не делалось дурно от всего, что я наблюдал по своему адресу. Не будь моих молитв Серафиму и чтений Евангелия, я бы не вынес этого незаслуженного позора, которым покрыли меня за *что-то*; я не говорю о шпиках, которые торчали у дома; эти "*мухи*" уже почти не досаждали; но проход к холму по дорожке, на которой скапливались сотни наехавших "*чужих*" антропософов, где вечно стояли кучки, болтая и шушукаясь, был проходом сквозь меня ненавидящий строй; особенно запомнилась мне отвратительная брюнетка с зеленым, худым, злым лицом мегеры; это была сестра ушедшего из "А.О." доктора Тёша; она отказалась от брата, но приехала наспех из Берлина вместе с разнюхивателями что-то пронюхать; и "*нюх*" ее в чем-то уткнул в меня; эта дрянь уже не только не отвечала на поклон (я не знал ее), но взглядами, активными жестами выражая лютую ненависть к Асе и Наташе, по отношению ко мне выражала уже даже не злость, а гадливость; эта дрянь, увидав меня, издали неслась, чтобы попасться навстречу мне, встать передо мной, чтобы на лице своем выразить... тошноту, точно я был... помойной ямой, а не человеком; раз она /.../ отчетливо, громко, с непристойным жестом сплюнула, когда я проходил мимо нее; что этот плевок относился ко мне, я не мог сомневаться; я - вздрогнул, точно плевок попал мне в лицо: так был он красноречив.

Вы представьте мое положение: если бы не экзальтированная медитация над темами *оплевания*, *заушения*, *тернового венца*, которыми я поддерживал в себе мужество торчать на людях с утра до вечера, - я бы свалился в нервной болезни; мне казалось, что стихи мои, написанные в 1903 году, провиденциально отметили мое будущее: будущее в Дорнахе, где каждый первый встречный голландец, немец, норвежец или еще кто, только потому что я и он в одном многотысячном коллективе, будет иметь право оскорблять меня, но так, что я не смогу отвечать на оскорбление: докажете-ка, что девица сплюнула по моему адресу, а не так вообще, хотя... немецкие девицы так громко не харкают при сплёве, да и вообще не харкают, а обтирают рот платком; тут же меня оплевали; плевали в душу, в лицо, и я *ничего* не мог изменить: оставалось бежать, но это означало бы: сбежать от мысли именно в эти дни быть при Малом Куполе, о чем - ниже. Оставалось утешаться стихами, мной написанными 11 лет назад:

Ведите меня

На крестные муки(99).

Среди этой немой пантомимы расплёва меня за... верность'положенному решению умножались и жесты оккультных угроз, о которых я говорил выше; жесты этих угроз особенно трудно зарисовать в фактах, меня обстававших; но вот один, например: среди массы съезжавшихся к деловым дням были какие-то во всех отношениях подозрительные фигуры, которых никто из дорнахцев не знал, но которые *где-то* были членами; среди этой [массы] выделялся особенно один; худой, как глиста, зеленый, с маленькой козьей бородкой, с совершенно сумасшедшими глазами и с неприятным тиком дергающегося лица, с разъятиями набок сведенного в нервной зевоте рта; он выглядел не

то идиотическим уродом, не то нервным больным, не то отъявленным мерзавцем, способным и ограбить, и зарезать; я сразу же обратил на него внимание: "Откуда... этот?" Он был в *pendant* к черной женщине: та же злость, лютость, истерика, лживость; и при этом: в иные минуты он делался похожим на козлоногого чорта, дико прибежавшего с шабаша; уже один вид его - *вид монстра*: во мне вызывал вздрог; делалось стыдно, что *такие* - антропософы; но не это его делало ужасным для меня, а то, что он так и влип в меня: со смесью исступленного любопытства, злости, невыразимой наглости, он не то что преследовал меня, а втыкал в меня свой взгляд в спину; этот взгляд я узнавал спиной: по мурашкам; я обертывался и видел издали, что монстр стоит, влипнув в меня взглядом, оупелело-козлиным и лютым от свершаемого в эту минуту "*глаза*"; он меня "*глазил*"; за этим делом его и приволокли в Дорнах; самое ужасное, что он даже не ненавидел меня: он был искусственно составленный чортом, или кем-то, аппарат: два дула пулеметов мне в спину - жарить в меня пулями, не им отлитыми; таков был этот взгляд, брошенный украдкой на меня; а когда я ловил его с поличным, он делал вид, что у него тик; лицо его дергалось в сторону, как у душевно-больного; два раза он напал на меня, разъяв свою пасть и застыв в этом угрожающем оскале; жест означал: "Вот я как тебя: *ам-ам*, - и ничего не останется!" Придраться же нельзя было: это в нервном тике сводилась челюсть.

Чувство ужаса и гадливости, которою я был охвачен при этих наскоках притащенного против меня уже просто *механического аппарата*, а не человека, были невероятны; но все преодолевало презрение мое: таким подлым приемом угрожать; раз даже я пошел на него, а он смутился, задержался; и поспешил уйти.

Впоследствии, через 2 месяца, о сем господине, оказавшемся доктором, я узнал вот что: его накрыли с поличным; он производил аборт самым отвратительным способом и был в 24 часа изгнан из Общества.

Думаю, что это еще было меньшим: я его накрыл за 2 недели до изгнания на том, что он крался за мной и Маликовым по безлюдным улицам, когда Маликов завел меня в Базеле к двум русским студентам эс-эрам, заведовавшим русскою библиотечкой: он был еще и просто филёр.

Чем был он еще, или чем *мог быть*: не знаю; в эти дни черные братства и нити разведок переплелись в моем восприятии. Да, - кажется: он был коротко знаком с мадам Шварц.

Куда бы я ни шел: в кантину, на прогулку, на стройку, мне устраивали достойные встречи зарядом злобы и фетировали опле-ванием. Лемуры подступали ко мне, оспаривая свои права над моею душою у светлых сил(100).

Но стоило мне подняться на леса, - все кончалось: среди молодежи, работающей под куполом, не было ни одного подозрительного лица; там господствовала удивительно чистая атмосфера; все, как на подбор, были свои: товарищи, даже братья и сестры; и помнится: все были удручены каскадом гнили, бывшим под их ногами: внизу (мы же работали наверху, - выше всего).

В эти дни была странная солидарность и неповторимый ритм работы, перешедший к дням сдачи Купола в ритм особо бережного и чуткого отношения друг к другу.

Светлый круг строителей Купола меня поддерживал: я держался не собою самим, а - кругом, коллективом, "*мы*", вдруг ставшим всех нас превышавшим "*Я*".

К середине августа меня тревожащие ночные звуки стали покрываться другим тихим, мягко-музыкальным звуком, точно звуком тончайшей свирели или какой-то особенно музыкальной цикады; в угловатостях моего сознания, привыкшего в те дни связывать несвязуемое и делать обобщения уже не по недостаточным, а по *вовсе недостаточным* признакам, отмечается мне связь Трапезникова и меня по ночам успокаивающего звука; связь моя с Трапезниковым, в свою очередь, была странною связью меня и со Штинде, мадам Моргенштерн и Бауэром; появление Трапезникова у нас мне выглядело появлением этого квартета людей в те дни; он - представитель группы, мне помогающих; в его вопросах и словах, адресованных к Асе и даже к Наташе в моем присутствии, я слышал нечто юридически-ритуальное; точно он еще и нотариус, заключающий доверенность на что-то и при заключении ее ставящий мне, Асе и Наташе ряд вопросов: "Согласны ли?" "Призываю вас в свидетели". Причем содержание их и моего согласия на что-то в рассудочном смысле мне было глубоко неясно; но в жесте ясно: "Призываю вас в свидетели" - означало: "Он берется от вас для некоего акта". "Согласны ли?" - в ритме обращалось ко всем нам. Точно составлялся некий акт, подобный купле-продаже или свидетельству, что я, ни к чему не принуждаемый, беру на себя некую "*миссию*"; появления Трапезникова у нас имели 2 смысла для меня: 1) составление как бы некоей бумаги о моей будущности, 2) личная помощь мне от себя и от группы людей, выше его стоящих.

Странно: именно в эти дни мне стало ясно, что наш путь с Асей отныне разорван; мы, оставаясь в духовной близости, на путях жизни разведены не только как муж и жена, но и как *пара*, проходящая по жизни; в эти дни ощущение было особенно ярко; скоро оно забылось; оно стало действительностью 1) в миг моего отъезда в Россию, 2) в миг моей встречи с К.Н. в Москве, 3) в миг моей встречи с Асей в 1921 году(101). Вспоминаю теперь, что Трапезников в *те именно дни стоял перед Леей с вопросом обо мне*; и за ним - Бауэр.

Что касается до помощи мне, то кроме морального постоянного подбодра, выражавшегося в чуть шуточном тоне ("Ничего, ничего, - держитесь: ничего не поделаешь, так - надо"), я заметил странное явление; после ухода Трапезникова раз тотчас же раздался стук об угловой желоб нашего дома: стук палкой; помнится, я, высунувшись из окна, увидел в лунной ночи только что бывшего у нас и опять очутившегося у дома Трапезникова; увидав меня, он несколько смутился и стал объяснять мотив своего возвращения к нашему дому; я, признаться, не помню этого объяснения; оно показалось мне неубедительным. В сознании стояло: зачем Трапезников возвращался к дому? Не он ли стучал в желоб? И отдалось: он. Для чего? Но много жестов Трапезникова в те дни я не понимал; я понял: он это-то тайно делает для меня; и это - к помощи. В эту же ночь у дома, около желоба и раздался музыкальный звук. С той поры по ночам иногда раздавались мягкие музыкальные звуки; иногда им предшествовал: стук палки о желоб. В душе иррационально отдавалось: "Это приходит Трапезников постучать. Он - нечто вроде былого ночного сторожа: отпугивает от меня страхи". Я лежал в постели, прислушиваясь к музыкальному звуку; мне делалось легко, точно я слушал звуки Бетховена; в окне стояла звезда; я тихо засыпал.

Я не спал до утра все лето. Теперь сон стал слетать ко мне.

Между сном и бодрствованием делались состояния со мной. Я как бы свободно летал в каких-то пространствах; и - озираю окрестности; раз я наткнулся на какое-то черное, злое существо; оно бросилось на меня, но я отпугнул его: *я отпугивал его не от себя, а от нашего дела*; оно - было - враг.

В другой раз, не засыпая, я сознанием ухнул в сон без перерыва сознания; было так: вдруг точно у меня раскрылись пятки и я как вода из отверстия через пятки выскочил из себя и свободно понесся по швейцарским ландшафтам; был день - вот я, невидимый, несусь на [неразб.] дорогу; по дороге повозка, запряженная белой лошадей; в повозке швейцарец; я лечу прямо на лошадь, но свободно просвистываю сквозь нее и несусь дальше, к какой-то цели; наконец я пронесся в какой-то город и в нем инкорпорированный, но Ие в свое обличие, долго разыскиваю какую-то даму вдоль малых улочек; наконец - всхожу на крыльцо, звоню, вхожу; меня встречает дама (я мог бы ее описать до мельчайших подробностей); по-видимому, это какая-то очень крупная оккультистка, ведущая огромную интригу против доктора: я ее выследил и посетил; она доверчиво мне разъясняет свои планы; я - выслушиваю, выведываю, чтобы их сообщить доктору; открывается лютая ее ненависть к нему; она думает, что я - свой; каждую минуту она при своих очень больших оккультных способностях может меня накрыть с поличным и тут же уничтожить; но - ей невдомек; мои жесты скрывают меня; в этом умении нести мимики сказывается *тренировка* этих последних, ужасных месяцев; я понимаю, что мое поведение - эксперимент в правилах уже совершенно оккультного поведения: умение в астральном мире нащупать врага; и, приблизившись к нему, остаться им неоткрытым.

Тут я проснулся с чувством, что не все в этом сне "*сон*"; у меня было чувство верно исполненного поручения.

Мне думается, что *дама* одна из немногих крупнейших оккультисток-теософов при Безант, живущая в Германии; в каком городе я ее посетил, не знаю; городок был невелик.

В другом "*сне-не сне*" этого периода я что-то напутал, защищая Гетеанум, в результате чего Ариман вспыхнул в нем; Ариман был пожаром; и я видел образ его вставший из дыма над пламе* нем пролитого чего-то на бетонном полу; он был в персидском одеянии, высокой шапке с жезлом и длинной седой бородой; он свободно несся с дымами и пламенами по бетонным коридорам подземного этажа среди суетящихся в ужасе антропософов; и кто-то сказал мне: "Это - ваша оплошность". Пожар изолировали; выходило, что я чуть-чуть было не спалил "Гетеанум".

Такого рода сны часто посещали меня во второй половине августа; и я многому в них учился.

В эти дни появление одного лица в Дорнахе остановило особое внимание; появился тот именно странный антропософ - молчаливый, с длинной белокурой бородой и с длинными волосами, который соединился со мной в одном моем поступке, казавшемся мне поступком огромной символической важности; в Лейпциге, в дни казавшиеся мне днями "*моего посвящения*", когда я увидел физическими глазами "*невидимый свет*" и когда в эти минуты выхода из себя физически мне казалось, что я упаду в эпилепсии, во время лекции мне на руки упал эпилептик; мы его вынесли со странным блондином; я расстегивал одежду на эпилептике, он кричал "исцеление", а белокурый бородач сидел передо мною в глубоком и безучастном молчании; и почему-то напомнил мне *время с косою*, или - рок; эпилептик, павший мне в руки, казался мне павшей мне в руки судьбой моего низшего "*Я*", которое я должен волочить по жизни с его болезнью; или же: я должен принять какую-то болезнь посвящения; мне казалось, что бесстрастно сидящий антропософ, "*время*", понимал свою роль, как участника некоего акта мистерии моей жизни; ему было лет 45; у него был вид "*знающего*"; тут вошел доктор и посмотрел на нас троих, на меня, поддерживавшего голову припадочному, распростертому на полу в соседней с аудиторией пустой комнате, и на "*время*", сидевшее неподвижно над нами; доктор строго, вещь обмерил глазами нас, сказал "Ничего"; и - вышел.

Потом я вспоминал свидетеля моего решения взять в себя болезнь этого человека, который - корчащееся в муках посвящение "Я"; но я его больше нигде не видел; не видел - "до" этого случая, не видел и после; я знал в лицо сотни антропософов; я знал всех сколько-нибудь выдающихся членов; мое "время" имело очень значительный вид; и главное: мы с ним были участники в огромном для меня акте вынесения больного на себе; он - исчез, нигде не появляясь.

И вот он появился в дни, когда я находился в глубине моей болезни, в днях решений судьбы; я был тем именно припадочным больным, в которого вцепились и тащащие его в бездну черти, и злые, кусающие страсти (моя страсть к Наташе), а "он", павший мне в руки и раздираемый, корчащийся в предсмертном припадке, все же видел "святыню" и бормотал, как тот больной: "Ней!" ("Исцеление").

Появление на лекциях доктора и в кантине этого человека, которого я прозвал "время", напоминало мне: "Ты сам в Лейпциге поволлил взять в руки свой рок, свою болезнь; и тащить ее на себе. Ну и - тащи". - "Ну и тащи. Я, время, появилось в днях рока перед тобой; я иду с тобой: помнишь и ты, как мы волокли Твой тяжелый рок; ты задыхался под тяжестью упавшего себя самого в "Я"! я тебе помогал. Да будет помощью мое появление сюда перед тобой, в дни принятия тобой своей кармы"(102).

Странно: с таким вещим, помнящим все выражением он поглядывал на меня своими глубокими, умными глазами, сидя на лекции, или проходя мимо меня. Раз я встал и нарочно прошелся раза два перед ним: это - означало: "Я - приемлю твоё появление"; в те дни у меня был дар жестов; кто-то приказывал мне сделать то или другое, необъяснимое никак; я делал и наблюдал: ответные ритмы; часто я получал тотчас ответный жест обстановки; так я движениями, поворотами, выбором дорожек для прохода, опережением или пропуском мимо себя тех или иных людей, сплетенных в жесты, ритму ставил вопросы и получал внятные ответные жестиколяционные фразы. Жест моего прохода 2 раза мимо "времени" был тою азбукою для немых, которой я в те дни учился; к моему изумлению: задумчивое "время", обычно серьезное и нарочито не глядящее на меня, *слишком* не глядящее, но явно помнящее, - откровенно усмехнулось и, как бы подмигнув, кивнуло мне чуть-чуть, - опираясь руками на палку и покрывая руки свои длинною, белокурою бородою. Конечно, никто не увидел этой нашей переклички о Лейпциге, кроме... Марии Яковлевны, стоявшей перед нами: она строго посмотрела на меня, как бы говоря: "Вы это что? Играете с судьбой? А это - серьезно".

В связи с судьбой и временем в эти дни встало решение: моя судьба.- уехать; с Асей путь - кончен (странно, это чувство держалось лишь дней 10; потом его забыл); Наташа мне - мука; я уеду в Россию, оставив все: не это ли мне подсказывает вставшее передо мной "время", усмехнувшееся на мое предложение и далее волочить с ним "его", тяжело больного: волочить в Россию.

В этом смысле у меня был разговор с Асей и с Поццо, очень серьезный, около замка Бирзек, над "Вав"; но Поццо сказал: "Нет, Боря, тебе уезжать нечего". И значительно посмотрел: я принял этот взгляд: "Быть тебе с Наташей". Понял одно: *перитм* уехать теперь, но когда события жизни сами поведут в Россию.

Так в те дни был миг решительного поворота: взгляд на Россию; и - знание: я там буду; вместе с тем я понял: "Мы с "временем" будем "его" волочить еще некоторое время здесь".

Возвращаясь домой с Поццо, мы, ну конечно, на одинокой дорожке встретили "время"; оно, проходя, посмотрело серьезно на меня; странно: "оно", после моего подхода к нему, всякий раз при встрече давало понять, что "оно" - откликнулось; *и - идет со мною*.

Кажется в этот же день, я, встретившись с Марией Яковлевной, прогуливался с ней перед "Villa Hansi" и неожиданно для себя стал ей говорить, что хотел бы в этой жизни зарисовать портрет доктора; и, может быть, в форме романа-автобиографии; тут же, на лужайке, пронеслись первые абрисы той серии книг, которые я хотел озаглавить "Моя жизнь" ("Котик Летаев", "Записки Чудака", "Крещеный Китаец", "Начало Века", "Воспоминания о докторе" суть разные эскизные пробы пера очертить это неподспудное задание)(103).

М.Я. сказала доверчиво:

- "Что же, - попробуйте: теперь надо смело действовать".

В этот же, или в ближайший, день, в связи с прислушиванием к ритму "времени", в связи с растущей нотой приближения кармы, я, не уехавший в Россию, понял, что момент "некоего акта" приближается; и вспомнил лейпцигский выход из себя перед сном, но не в сон, а в картины комнат, по которым меня влек доктор; я лишь на миг забылся и тотчас очнулся за столом, перед чашей между доктором и М.Я. Доктор спрашивал меня: "Согласны ли вы на это?" - на что, я не знал; и я услышал свой голос, - тихий, как бы в полузабытьи: "Согласен". Много я думал потом: "на что же я дал согласие?" "Некий акт" стоял в днях Лейпцига; потом ступался; теперь он - вспыхнул опять: навязчивая тема ритма, как некоей инспирации ("Должен, должен"), ведь и была темой дней; теперь-то мне дадут нечто опасное, как "бомба", в руки; и я руками нечто совершу; об этом-то приходил спрашивать нотариус-Трапезников; на это намекает и "время", появившееся

передо мной, как и в дни Лейпцига; уже некая странная индукция о содержании "акта" была при дверях.

В следующих днях мой "акт" осознался (об этом ниже).

Здесь лишь скажу. Меня могут спросить, какую логикой я связывал людей, мелочи быта, переживания, так, что связь ост-ранняя мне рельеф быта и в этом быту, не нарушая законов его, революционизировала самое содержание в ритмических жестах и символических обрядах, производимых мной отчетливо, внятно, иногда дерзостно, но - так, что под поступки мои нельзя было подкопаться со стороны, ибо их как бы и не было (а они были *дико смелы*, за что меня враги и собирались убить - так отдавалось в имажинациях)? На этот вопрос отвечу: я вслушивался в звук ритма, в инспирацию; и к середине августа слух утончился; я с утра раскрывал "*Библию*"; и всякий открытый текст внятно отвечал на поставленный вопрос о *теме ритма*; из него я уже знал: чего в смысле ритма мне держаться сегодня; и взяв это *что*, как тему дня, во всех встречах, событиях и разговорах я встречал лишь вариации *темы*; их узнавал и поступал сообразно правилам какого-то музыкально-эзотерического контрапункта; в обычной логике уплотнения контрапункта казались бы бредом, а в ответах ритма мне извне бред получал глубочайшее осмысление; весь вопрос был о том, чтобы духовный смысл был прочтен, духовный ответ на него в жестах дан; но жесты не должны были зацепляться за быт, мелочи обыденной жизни; зацепись, и - или ты сойдешь с ума, - или случится нечто непоправимое для тебя, в результате чего ты будешь врагами пойман с поличным.

Так я нес "*бомбу*" моего знания среди роев людей, могущих меня толкнуть и вызвать взрыв; нес к некоему "*акту*", смысл которого уразумевался в отдельных "*актах*" *неимагинативной* логики, всякая ошибка в которых должна была оплотнеть: *моею личной судьбой*.

К постановке мистерии "*Фауст*" я готовился с волнением, как будто что-то от моей судьбы решалось в ней; заключительная сцена рисует спасение Фауста, а я ведь все предшествующие дни переживал гигантское раздвоение сознания; моя душа была разорвана пополам: светлая ее часть была как бы выхвачена мукой из тела и откуда-то издали глядела, как другая ее половина, обстанная тьмой, - добивалась; так часть души стала выше себя - вне себя: она училась быть бесстрастным игроком в партии "*белых*" против "*черных*"; другая ее часть стала деревянной фигуркой короля, которой сделали шах и мат.

Отсюда мысли о двойной душе; связь в них с Фаустом; доктор Фауст - фигура ренессанса, борющаяся со средневековьем; мой ренессанс был - в вырыве из всех традиций; неспроста мне Трапезников говорил о ренессансе в те дни; "*средневековье*", "*ведьмы*", "*тьма*" - быт тех слоев "А.О.", которые были охвачены уже скандалом. Я ощущал свое право на какой-то бунт; но в чем заключалась моя, так сказать, *легальность* в бунте, это стало мне проясняться впоследствии; и прояснялось с 16-го до 21-го года: уже в России, в деятельности, в позиции моей философии культуры; в 1915 году за 5 лет до деятельности в Вольной Философской Ассоциации я был уже, так сказать, "*вольфилец*" до "*Воль-филы*"(104); и таковым бродил в Обществе; меня понимали отдельные души: но еще не было, так сказать, хартии вольности для этого понимания; она вырабатывалась в социальных кризисах, в которые "А.О." было стремительно брошено; в самом Обществе уже шел бой двух начал; с одним был доктор; с другим - "общественное мнение"; надо было в этом общественном мнении пробить брешь.

Я нес в себе Фауста, борящегося со всеми "*Вагнерами*", блуждающими среди нас(105).

Повторяю: никогда образы драмы "*Фауст*" не стояли так близко к моей душе, как в эти дни; точно Гёте мне впервые открылся; только что перед тем он мне открылся в своих естественно-научных домыслах; теперь открылся и как художник. И доктор появляется в эти дни передо мной; и я слышу его "да" этому моему увлечению Гёте.

До сих пор я зарисовывал факты моего сознания, сортируя их по группам: 1) личная жизнь, 2) мысль о "сверхличном", 3) помощь, 4) нападения, 5) странные совпадения и тема "*Судьбы*" и т.д. Эти группы явлений разыгрывались одновременно; все, что я силюсь зарисовать, вихреносно проносилось на протяжении каких-нибудь 10 дней: и каждый день состоял из ряда вихревых моментов: вихрь света; через час: вихрь погибельной тьмы; через час: высокая приподнятость над собой и преисполненность жертвенностью; через час: горение низших чувств; потом - горечь и бунт; потом: поток любви к доктору, к Асе, к Наташе, к Бауэру. И весь этот бурно-противоречивый рой несся в пространстве 24-х часов; неудивительно, что когда кончался день, мне казалось, что год отделяет меня от того, что было вчера; но наступало утро: и начиналась такая же буря. Я стал переживать текст: "Довлеет дневи злоба его"(106). Но "*довлеет*" стояло перед душой не как беззаботность, а как перегруженность огромностями забот одного дня.

Хотя я держался скромно, и на физическом плане не делал никаких глупостей (все усилия были направлены к тому, чтобы казаться, *как все*), однако переживания мои все же отпечатлевались, вероятно, и на моей внешности; позднее уже Волошина нарисовала наш с Асей портрет(107); с него на меня посмотрел некто, весьма странный: либо сумасшедший, либо посвящаемый; не сомневаюсь, что этот портрет был фантазией Волошиной; но не сомневаюсь и в том: что "*фантазия*" ее во мне отметила что-то от сути моих тогдашних переживаний; тот, кто ходил по

Дорнаху в 1915 году, в августе, был не Б.Н. Бугаев 16 года в России; он не был даже "чудаком" моих "Записок Чудака"(108); "чудак" - это Бугаев лета 1916 года, т.е. тот, в ком до некоторой степени угасли уже, заросли способности к тем восприятиям, которые имели место в августе 1915 года.

Поэтому весьма естественно: мой вид останавливал многих, меня не знавших в те дни; мне передавали, что я выгляжу *чем-то* взволнованным, смятенным, как бы потерявшим себя; в том, что меня спрашивали "да что с вами?", я вижу победу над собой: если бы хоть четверть действительно переживаемого открылась спрашивающим, они сказали бы: "Вот человек сошел с ума".

Никто этого не сказал.

Совершенно ясно, что я переживал "мистерию", одну из очередных "мистерий", который ставил передо мной мой путь в духовной науке; такую "мистерией" было путешествие в Скандинавию, потом - время от Лейпцига до генерального собрания в 1914 году; и наконец: вершиной "мистерий", обнимавшей апрель-октябрь 15 года, был август; я подходил к кардинальной точке этой мистерии; и знал: *нечто* свершится в дни, открываемые постановкой мистерии "Фауст".

Вот еще мотив, почему я пристально схватился за постановку: я в образах ее старался прочесть *знаки* переживаний своих; как в древних мистериях Египта посвящаемый обучался иероглифическому письму, так несколько *письмен* ставил передо мною доктор последнею сценой "Фауста"; отсюда неслучайность моих [посещений] репетиций "Фауста"; мне надо было пристально разучить все знаки письмен; так: неслучайно, что два ряда "ангелов", сплетенных гирляндами роз и выносящих на сцену изображения Фауста в "кукольном состоянии", отбитого у Чорта, возглавляли две души, мне особо близкие, между которыми я в личной жизни разорвался; во главе одного ряда, левого, шла Ася, как хорэг ряда; во главе другого, правого, - Наташа. Эти ряды ангелов "спасали" Фауста; характерно, что эвритмистки, исполнявшие этих ангелов, хорошо относились ко мне; хор же из "старших ангелов", подчеркивающий недостатки Фауста, исполняли те из членов, среди которых господствовало сдержанное или порицательное отношение ко мне; так: сами участники изображаемой мистерии и в жизни стояли *передо мной* так, как они были поставлены *передо мной* на сцене.

Так разгляд репетиций еще до постановки меня убедил в полном соответствии образов Фауста с ритмами переживаний мистерии моей жизни. Только мне было ясно, что образы, проходившие на сцене, не *эпиграф*, предшествующий *тексту*, а *конечная концовка* происходящего со мной; то, что со мной только что произошло в ужасе ощущения, что я погиб безвозвратно, и потом, что прояснилось надеждою на помощь, - оно-то и помогало мне прочесть в "Фаусте" то, что мною в иных условиях не было бы прочитано: ни-ког-да!

Но вместе с тем: в одном пункте разрешенное на сцене, как спасение *Фауста*, в событиях моей жизни еще не было разрешено; шел лютей бой сил тьмы и света за мое свободное, самосознающее, с такой мукой в дух рождаемое "Я"; и этому "Я" мог быть нанесен удар в любую минуту; в этом смысле *факт спасения* Фауста был мне упованием, что и проблема моей жизни разрешится в какое-то "да"; вместе с тем: я полагал, что самая нота спасения Фауста - помощь доктора мне: символическим знаком; но чувствовалось, что в случае неумения опереться на знак, штурм злых сил меня окончится моей гибелью.

В том-то и трепет мистерий, что опасности, переживаемые в них, будучи поданы в символическом жесте, *совершенно реальны*, а не *аллегоричны*; то, что сегодня увиделось символом и что вызвало символ ответный, завтра выявится воплощением в жизнь; и поскольку в эти дни вся жизнь моя, без остатка, расплавилась в символ, как восковая фигурка, - все красноречиво гласило, что завтра этот текучий символами воск отвердеет в неплави-мую и косную судьбу *железных обстоятельств*, в которых я буду жить годы.

Отсюда - трепет мой перед событиями тех дней - в те дни: и трепет к мистерии "Фауст", этому иероглифическому обозначению чего-то, со мной происходящему.

А со мной продолжали стрясываться факты, не подводимые ни под какую категорию; изменилось лишь к дню постановки мистерии вот что: все то, что беспорядочно врывалось во внешнюю ткань жизни вспышкой света или тьмы, ритмизировалось в две темы: все черные явления архитектурно связались между собой и проходили в вариациях темы; но и светлые явления между собою схватились; эта связь разнородных сперва нападений в организованную систему нападений сказывалась в том, что я стал видеть, так сказать, геометризм различных нападетельных точек: они рисовали фигуры; как три точки связуемы в треугольнике, а четыре - в квадрате, пересеченном крестом, так и градации из трех, четырех нападений, или группа из *трех*, *четырёх* мне темных людей развивала разные нападетельные ходы, аналогичные разным свойствам фигур, построенных на разных числах точек; очень странно: я стал именно в эти дни видеть появление передо мною уже не одной фигуры, а группы их. Так, недавно еще: выйдешь на терассу, увидишь: сидит шпик; пойдешь по дорожке, тебе навстречу бежит - монстр; поедешь в Базель, а на вокзале тебя кто уже ждет из приставленных к слежке; теперь совсем так, как в нападении на короля шахматной партии участвует группа фигур фигурно обстающая короля

облавой, и я стал замечать как бы облавы на себя. Так: идешь по дорожке, - за тобой следует *"соглядатай"*; тебе навстречу бежит монстр, а в это время издали сбоку показывается тебя ненавидящий антропософ; что общего между шпиком, обывателем-уродом и антропософом? Они - не знают друг друга, а между тем в ритме встречи их нападений на меня, разнородных, в том же моменте времени, они - *тройка*; они - *черный треугольник*, из которого уже труднее вывернуться; нужна мгновенная, молниеносная инспирация, чтобы тотчас найтись и знать, где замедлить шаг, где свернуть, кому пойти навстречу - со взглядом, брошенным на него, или, наоборот, без взгляда; таких фигурных нападений на меня было столько в те дни, что я уже не имею никакой возможности их перечислить, как факты, потому что я должен уже отмечать их группу, их *"со"*-факты, где отдельный факт улетучивается, и где все внимание устремлено на неуловимейшее *"Со"* в неуловимейшем, молниеносном жесте. Легко помнить первый гриб в лесу, но нет никакой возможности запомнить грибы в грибном месте; ползаешь и механически собираешь их; так и я: многие факты групп фигурных нападений в тех днях я забывал, ибо я так сказать врубался в них; жестикуляция моя была маханием *"меча"* и туда и сюда; уже давно я не обращал внимания на отдельные лица, а на ландшафт фигуры, составленной из них.

Особенно запомнилась мне одна фигура, как первый гриб, мной отмеченный, и как постоянно слагающаяся; я называл этот напа-дательный ход *черным треугольником*, составленным из людей.

Представьте: вы идете на лужайке; впереди вас бежит монстр, один из тех, которые уже *неспроста* вам попадались навстречу, а за ним идет пара одетых в черное злых ненавидящих *"теток"*, из числа ведьм, с бледными лицами, и ест вас глазами; идущая навстречу группа образует треугольник, вершина которого - старик с сизо-лилово-багровым носом и кабаньими глазами; прежде он один, как кабан, выбегал на вас, вас пырять оккультным клыком; теперь он подкреплен парой за ним идущих теток; совсем как в шахматах, где на одну фигуру нападают три сразу!

И вот этот *черный треугольник* стал слагаться передо мной всюду в самых разнородных сочетаниях и в самых разнообразных движениях; не помню ритмов движений, - но, к примеру: навстречу идет Штейнер и взгляд его добр, - но: вдруг по боковой дорожке наперерез летит черный треугольник, стремясь разрезать пополам линию взгляда от меня к Штейнеру; если он скорей меня достигнет перекрестка дорог, помощь, мне посланная доктором, действием черных сил будет отрезана; такт подсказывает, что надо мне или Штейнеру упредить разрез: поспеть к перекрестку; но бежать, сломя голову, - *нельзя*, ибо *нельзя* нарушить *"быт"* обыденного поведения; что предпринять, - подскажет ритм, но он будет в наличии, если ты в дне укреплен-ритмом. Далее: я, скажем, достиг перекрестка, - победа в этой минуте на стороне защищающей меня партии, но... доктор, не дойдя до меня, повернулся и уходит; я обертываюсь и вижу, что за мной гонится новая черная пара, глаза в спину меня; вдруг из боковой дорожки за мною выходит гуляющий по Дорнаху Бауэр, отрезая меня от тех, кто за мной; я иду защищенный спереди доктором, а сзади Бауэром. Опять, как и в шахматах: чтобы защитить фигуру от двух на нее нападающих фигур, двигается ей на помощь новая фигура: в виде... Бауэра.

Вот эти-то фигуры нападений и помощью в ритме их отражений, в ритме схваток друг с другом их, и обстали меня в дни постановки мистерии *"Фауст"*: можно сказать, что я воспринимал самый узор людей, меня обстающих в странной схватке эв-и како-ритмий, втягивающей и меня в эвритмическую жестикуляционную перебежку; в эти дни я понял, что такое текучая с молниеносною быстротой представляемость, переходящая в предприимчивость.

В иные дни я себя помню канатным плясуном, балансирующим над бездной; так в схватке *восторга* и *ужаса* складывалось невольное удивление перед ловкостью иных никем не видимых акробатических прыжков; их видел доктор, знаками глаз ставя отметки мне; неизжитость моя налагала на это удивление флер *"самолюбования"*; я называл себя *"он"*; и иногда этот *"он"* во мне стоял передо мной как бы с большой буквой, за что не раз мне влетало - и от судьбы, и от доктора.

Думаю, что этот оттенок самолюбования и питал путаницу моих отношений с Наташей - в ноте, что судьбой она мне сужде-на; судьба моя - совершенно исключительна; и отношения с близкими - так же исключительны, как исключительна моя роль при докторе и *"Гетеануме"*. Кроме того, мне, отразившему столько ударов, возможно завоевать у судьбы право и на то, в чем отказано многим.

Это думал я уже после, к началу 16-го года; пока же я учился *отражать*; и даже: наносить удары.

Что борьба вокруг меня связана с моей *"миссией"* в деле доктора, - мне казалось в те дни установленным фактом; ведь шла атака на доктора; начиналась волна ежедневных скандалов, разбирательств, тяжб и нападений извне на всех нас; что нападения эти были ужасны, явствует из вида доктора; только на репетициях цвел он улыбкой; в прочие же часы он имел порой просто раздавленный вид.

Как-то раз он напугал меня; я вышел на наш балкончик, выходивший на виллу доктора, и вздрогнул, увидавший, что доктор в развеваемомся сюртуку, низко опустив голову, сердитый, разбитый и бледный, не бежит, а ураганно несется, точно убегая от кого-то, или только что получив весть об ужасной, непоправимой беде, которую нельзя отразить; мне он показался

Бенедиктом, у которого Ариман погасил зрение(109); я остановился; он не отпер калитки виллы, а сорвал ее, пронесся по своему садику; одним прыжком впрыгнув на крыльцо (через 3 ступеньки), он хлопнул на всю окрестность входною дверью; тотчас раздался другой хлопок (во втором этаже) из виллы; я знал, что хлопнула дверь его рабочего кабинета.

Я стоял и думал: "С чем он захлопнулся? Какой новый ужас угрожает нам?"

Что что-то обострялось для всего "А.О.", стало ясно уже к концу месяца, когда сам доктор поставил вопрос о том, что при таком развале сознания у членов надо поставить знак вопроса над самой постройкой: не лучше ли разъехаться? "А.О." в таком виде - немыслимо.

Этот-то крах нас всех и виделся мне в эти дни победой клевет, пущенных против нас *темными силами*. Растерянность доктора, бегущего с холма, меня взволновала.

И кажется: в эти дни меня взволновал один факт, относящийся уже только ко мне: как-то после кофе в кантине я встал и пошел по пыльной дороге, огибающей холм и пересекающей нашу дорогу; недалеко от кантины, там, где к дороге подходил верхний Дорнах, стояли, ожидая явно кого-то, три толстейших не то мегеры, не то Парки, не то *Матери* мистерии Фауста; три толстолицых, толстозадых, толстогрудых бабищи с ужасно мрачными от любопытства и суровости бледносизыми какими-то лицами, в огромных траурных черных шляпах и в черных платьях; мне показалось: они были в глубочайшем трауре; когда я подходил к ним, кто-то, с ними бывший, показал на меня, кивком головы с жестом, могущим означать:

- "Этот!"

- "Вот он".

А может быть в жесте был вопрос;

- "Не этот ли?"

- Не он ли?"

И три черных бабищи сурово и сосредоточенно впились в меня глазами; ни звука не произнесли, оглядывая меня с ног до головы, как будто от их узнания или неузнания меня зависела моя или их жизнь; когда же я вполне приблизился к ним, одна из них чуть кивнула головой; и этот кивок мог означать: "*Запомнили*" или, "*удостоверились*", или же: "ну так, теперь можем итти: цель наша достигнута".

И тотчас все три повернулись и медленно поплыли назад, в верхний Дорнах, откуда они выплыли к дороге - стоять и ждать меня, долженствовавшего пройти; так мне отозвалось появление их; они исполнили свою миссию: увидели меня; и теперь возвращались к себе.

Не было в их взглядах злости, но ужасная мрачность и сосредоточенность, - убедиться: "Тот или не тот".

Много раз я думал в бессонных моих ночах, что значило это стояние при дороге трех черных матрон, сурово ожидавших меня; и разные гипотезы стояли вплоть до... самых ужасных, связанных с подозрением меня в преступлении, мне неведомом: так глядят на исключительных мерзавцев, или обреченных, или на чудеса природы, показываемые в кунсткамере; но потом, не проницая завесы, которой дни окутаны для меня, я старался их прочесть в их символическом жесте.

В дни Дорнаха они стояли в памяти, как подстерегающие Эринии; теперь, отделенный 12-летием от них, я скорее склонен прочесть появление их перед собой, как... самих таинственных "*Матерей*", пребывающих в центре земли: к ним сходит Фауст и отсюда он выносит часть *силы*, которой Мефистофель не может ничто противопоставить(110).

Эринии дышали бы неугасимую злобою: эти же были ужасно суровы, сосредоточенно мрачны и дико упорны в разгляде меня; ненависти я не видел; но пока я подходил к ним, я ждал: вот-вот эта ярая ненависть вспыхнет; они узнают во мне лишь... "*преступника*"; и от этого я погибну. Или они были самой судьбой в лице трех Парок? Но "*матери*", принявшие Фауста, были и... судьбой Фауста.

В эти дни на лекциях, репетициях Ася стала ходить в своем белом плаще; на ней была стола(111) из туниССкой шали, сложенной из чешуек серебра; она сверкала серебряной чешуей из-под белой своей мантии; чаще всего мантию нес я, как некий плащ; когда мы шли с ней, нас все оглядывали; странно, что в минуты, когда я находился под обстрелом нападающих глаз, плащ бросался мне на руки; или даже появлялся передо мной, когда Аси не было со мной; так помню: перед мистерией "Фауст", когда Ася была за сценой, а я сидел в первых рядах, стояла ужасная духота; надвигалась черная туча; зловеще гремел гром; лица сидящих перед сценой казались зелеными, задыхающимися; на меня косились многие со злобой; все *враги*, так сказать, были мобилизованы; шныряла *черная*... мадам Шварц.

Вдруг, - знакомые мурашки побежали по затылку; я обернулся и увидел: у входа в зал стоит тот подозрительный "*доктор*" (скоро прогнанный), который в моем восприятии был *аппаратом* для выкидывания *пуль* против меня; он дергался лицом и кажется разинул свой перекошенный рот; оглядел меня зеленоватыми глазками; и тут он открылся мне в своей роли дней до дна: я - умерший Фауст; толпа лемуров меня обступила; он же - сам чорт, требующий моей души: весь вид "*поганца*" говорил:

- "Ты - в моей власти: никакая сила тебя не спасет".

Все это резнуло меня в то мгновение; но, обрывая линию взглядов от поганца ко мне и меня к нему в воздухе метнулось что-то белое, закрывая меня от него; и я услышал голос, кажется мадам Эйзенпрейс (а может быть и нет), - голос кого-то из тех, кто сердечно ко мне относился и кто работал вместе на Малом Куполе:

- "Херр Бугаев, это - вам!"

И плащ Аси оказался у меня в руке, - плащ, благое действие которого я ощущал не раз; я почувствовал притекающую силу и, принимая плащ, махнул им с вызовом в зеленую маску моего "Мефистофеля"; я увидел, что лицо его закорчилось, точно отдернувшись от плаща; и он тотчас исчез; в дверях его уже не было.

Двери затворились; начались звуки музыкальной интродукции Фауста, сопровождаемые молниями из окон подошедшей грозы.

Все это произошло во мгновение ока: мурашки, оборот, глаза в глаза, плащ меж нами, *"это - вам"*, мой взмах плащом в "его" глаза, его исчезновение, звуки музыки, молнии, закрытие двери.

И - доктор, усаживающийся в первом ряду.

Так миг начала мистерии спасения Фауста совпал с мигмом нападения на меня того, кто был мне в этих днях символом Чорта.

Впоследствии выяснилось: Ася, облакаясь в наряд ангела и не зная, куда деть пышный плащ, просила за кулисами передать мне его в партер; напому: Ася возглавляла один из двух рядов ангелов, отбивших Фауста от чорта и приносящих его в обитель, где стояли три гиерофанта: патер Экстатикус, патер Профундус и патер *"Серафикус"*, мне уже связавшийся с Серафимом в предыдущих днях; Серафикус был весь белый; он стоял в центре треугольника, образованного тремя патерами: в глубине сцены, посередине ее.

С этого момента мне открылось: Ася для того сшила этот плащ, чтобы носить цвет моего святого, Серафима, около меня; она в ближайших днях виделась мне как бы оруженосцем моим; и она инстинктивно с великолепным тактом эту роль выдерживала.

Разумеется, я ей ни звуком не выразил, что я в ней подметил: *об этих вещах мы не говорили друг с другом. /.../**

* Здесь кончается и рукопись, и повествование, возможно по причинам, упомянутым Белым в "автобиографическом письме" Иванову-Разумнику: "и если *"посвящение"* имеет свои *"прообразы"*, которые суть *"посвятельные моменты"*, *"моментом моментов"* всей жизни - странный период, обнимающий недели три, в другом странном периоде, обнимающем ряд месяцев. О *моментах* я ничего не могу сказать; и о периоде, когда хочу сказать, начинаю лепетать; но и *момент*, и *период*, ложатся с 1915 года до 1927 года в меня перманентной *памятью* в перманентных попытках что-либо прочесть; и вычитывается; и будет вычитываться, потому что материал - неисчерпаем" ("Cahiers du monde russe et sovietique", 15, №1-2, 1974, с.72). (Д. Мальмстад)

Приложения к дневнику

1. Боголюбцы - имение под Луцком, принадлежавшее отчиму А.А. Тургеневой В.К. Кампиони и ее матери С.Н. Кампиони.

2. К этому времени Эллис стал пылким штейнерианцем и пропагандировал учение Штейнера среди московских символистов: см. "Литературное наследство", т.92. кн.3, с.388.

3. 20, 22 и 24 августа (н.ст.) были поставлены в Мюнхене три из четырех "Mysteriendramen" Штейнера. 25-29, 30 (2 лекции) и 31 августа (н.ст.) Штейнер читал восемь лекций "курса" "Von der Initiation. Von Ewigkeit und Augenblick. Von Geisteslicht und Lebensdunkel".

4. В Базеле, от 15 до 24 сентября (н.ст.), Штейнер читал десять лекций на тему "Das Markus-Evangelium".

5. Штейнер читал лекции в Мюнхене от 25 до 28 ноября (н.ст.), отчасти на тему "Okkulte Untersuchungen über das Leben zwischen Tod und neuer Geburt".

6. 28-31 декабря 1912 г. и 1 января 1913 г. (н.ст.) Штейнер читал пять лекций "Die Bhagavad Gita und die Paulusbriefe" в Кельне.

7. Антропософское Общество, во главе с Р.Штейнером (сам он никогда не был членом Общества), образовалось в начале сентября (н.ст.) 1912 г.; разговоры о формальном устройстве Общества продолжались и в декабре того года.

8. 10 лекций Штейнера на тему "Das Leben zwischen dem Tode und der neuen Geburt im Verhältnis zu den Kosmischen Tatsachen" были прочитаны в Берлине 5, 20 ноября, 3, 10, 22 декабря 1922 г., 7, 14 января, 11 февраля, 4 марта и 1 апреля 1913 г. (н.ст.).

9. Белый имеет в виду лекции на тему "Naturwissenschaft und Geistesforschung" из цикла "Ergebnisse der Geistesforschung", прочитанные в конце 1912 - начале 1913 г. (н.ст.).

10. Первое генеральное собрание (Generalversammlung) А.О. открылось 2-3 февраля (н.ст.) 1913 г.

11. От 3 до 7 февраля (н.ст.) 1913 г. Штейнер читал 4 лекции из курса "Die Mysterien des Morgenlandes und des Christentums", а также лекции "Von den Anf?ngen anthroposophischer Gesellschaftsentwicklung" и "Von den Lebensbedingungen einer anthroposophischen Gesellschaft".
12. 20-29 марта 1913 г. (н.ст.) Штейнер читал в Гааге курс (десять лекций) "Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen f?r seine H?llen - physischen Leib, ?therleib, Astralleib - und sein Selbst?"
13. "Роман А.Белого окончательно взят, телеграфирую ему". - "Дневник А.А. Блока", запись от 25 февраля 1913 г. (ст.ст.). См. также ответное письмо Белого Блоку от 25 февраля/10 марта 1913 г. {ПЕРЕПИСКА, с.322}. Белый уехал в Луцк 11 марта 1913 г. (н.ст.).
14. Белый с А.А. Тургеневой приехал в Петербург 11/24 мая (см. "Дневник Блока", запись от 11 мая, и ПЕРЕПИСКА, с.327-328).
15. Штейнер читал курс лекций (девять, не десять) "Die okkulten Grundlagen der Bhagavad Gita" в Гельсингфорсе 28-31 мая и 1-5 июня (н.ст.).
16. 24-31 августа 1913 г. (н.ст.) Штейнер читал восемь лекций курса "Die Geheimnisse der Schwelle". 20, 22 и 23 августа в Мюнхене были поставлены последние две из четырех "Mysteriendramen" Штейнера.
17. 28 августа (н.ст.), в день рождения Гете, было первое представление того, что Штейнер в лекции назвал "sichtbare Sprache", "sichtbaren Gesang": *евритмия* (Eurythmie). См. его лекцию, впервые прочитанную 28 августа, "Burythmie als Impuls f?r K?nstlerisches Bet?tigen und Betrachten".
18. 20 сентября (н.ст.) 1913 г., в 6i/2 часов вечера, Штейнер в сопровождении близких друзей заложил краеугольный камень будущего Гетеанума в Дорнахе.
19. 1, 2, 3, 5 и 6 октября (н.ст.) Штейнер читал в Христиании (Осло) пять лекций из курса "Aus der Akasha-Forschung. Das f?nfte Evangelium".
20. 9 октября (н.ст.) Штейнер читал в Бергене публичную лекцию "Die R?tsei des Lebens", а 10 и 11 читал, для членов А.О., две лекции "Schilderungen aus der geistigen Welt".
21. 14-15 октября (н.ст.) Штейнер читал в Копенгагене на тему "Der Christus- Impuls im Zeitenwesen und sein Walten im Menschen".
22. Белый родился 14 октября 1880 г., т.е. 26 октября по новому стилю, в Москве.
23. Основанием для выхода Белого из издательства явилось печатание трактата Эллиса *VIGILEMUS!* (М., "Мусагет", 1914). Белый настаивал на купюрах в тексте трактата, но его требования в подавляющем большинстве случаев не были приняты. Белый известил Н.П. Киселева, секретаря издательства, о своем решении письмом из Нюрнберга от 9 ноября (н.ст.) 1913 г. См.: "Литературное наследство", т.92, кн.3, с.440-441.
24. Берлинская квартира Штейнера на Motzstrasse, 17 была в это время практически центром А.О.
25. Штейнер провел 8-11 ноября (н.ст.) в Нюрнберге. Название прочитанных им там лекций не указано в регистре его лекционной деятельности.
26. Collins, Mabel (1851-1927; псевдоним Mrs. Mabel Cook) - английская теософка, ред. вместе с М-те Блаватской ж. "Lucifer", автор многочисленных работ на теософские и оккультные темы. Самая знаменитая ее книга *LIGHT IN THE PA 77I-*(1885) переводилась на все европейские языки, в т.ч. и на русский (пер. В.Писаревой). О ней см.: *ВОСПОМИНАНИЯ О ШТЕЙНЕРЕ* Белого, с.188-189, 307-310. *DIE KRONE DER LIEBE (LOVE'S CHAPLET)*. Vom Verf. v. "Licht auf den Weg". 65 s. (1909).
27. В конце ноября (22-24 н.ст.) Штейнер читал лекции (одну из курса "Das f?nfte Evangelium") не в Мюнхене, а в Штутгарте. 7 декабря (н.ст.) он читал в Мюнхене публичную лекцию, а 8 и 10 декабря читал для членов А.О. две лекции из цикла "Das f?nfte Evangelium".
28. По регистру прочитанных Штейнером лекций, он читал всего одну лекцию в начале декабря 1913 г. в Берлине: 4 декабря (н.ст.) он прочел в Architektenhaus лекцию на тему "Geisteswissenschaft als Lebensgut".
29. Как указано выше, Белый перепутал Штутгарт с Мюнхеном: в начале декабря (7-10 н.ст.) Штейнер выступил с лекциями в Мюнхене.
30. "Christus und die geistige Welt - Von der Suche nach dem heiligen Gral". Шесть лекций, прочитанные Штейнером в Лейпциге 28-31 декабря 1913 г. (н.ст.) и 1-2 января 1914 г. (н.ст.)
31. В Лейпциге, 4-5 ноября (н.ст.) 1911 г., Штейнер читал лекцию (из курса "Das rosenkruzerische Christentum") "Jeshu ben Pandira, der Vorbereiter f?r ein Verst?ndnis des Christus-Impulses" (опубликована в Дорнахе, 1937 г.). Jeshu ben Pandira упомянут также в лекциях из курса "Das Matth?us-Evangelium" (1910). О его значении в учении Штейнера см. кн.: *DIE CHRISTOSOPHIE RUDOLF STEINERS*, Klaus von Steiglitz (Witten-Ruhr, 1955), с 163-165.
32. "Das Christentum als mysterische Tatsache" (Берлин, 1902); "Das Christentum als mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums" (Лейпциг, 1910).
33. Ницше (1844-1900) похоронен рядом с отцом, лютеранским пастором, в деревушке R?sken под Лейпцигом, где он и родился.
34. Слово "политических" было вставлено позднее.

35. *НА ПЕРЕВАЛЕ. I. КРИЗИС ЖИЗНИ* (Пб., "Алконост", 1918); *НА ПЕРЕВАЛЕ. II. КРИЗИС МЫСЛИ* {Пб., "Алконост", 1918); *НА ПЕРЕВАЛЕ. III. КРИЗИС КУЛЬТУРЫ* (Пб., "Алконост, 1920). *КРИЗИС СОЗНАНИЯ* остается не опубликованным. Первые три части цикла были перепечатаны изд. З.И. Гржебина в 1923 г.

36. Дейссон - Paul Deussen (1845-1919), друг Ницше со времени их знакомства в гимназии, автор воспоминаний о Ницше (*ERINNERUNGEN AN FREIDRICH NIETZSCHE*, Лейпциг. 1910).

37. *DIE SILBERNE TAUBE*. Roman. ?bersetzung aus dem russischen von Lully Wiebeck (Frankfurt, 1912).

38. 6 января (н.ст.) Штейнер читал в Берлине лекцию из цикла "Aus der Akasha-Forschung. Das f?nfte Evangelium", где фигурирует толкование стихотворного романа Вольфрама фон Эшенбаха "Парсифаль".

39. Второй Generalversammlung der Anthroposophischen Gesellschaft und des Johannesbau-Vereins проходило в Берлине от 18 до 20 января 1914 г. (н.ст.)

40. 8 января 1914 г. (н.ст.) Штейнер читал публичную лекцию в берлинском Architekten haus: "Michelangelo und seine Zeit vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft".

41. Белый пишет более подробно об "инциденте Больта" в своих *ВОСПОМИНАНИЯХ О ШТЕЙНЕРЕ* (Париж, 1982), с.33-34. В брошюре "Sexualprobleme im Lichte der Natur- und Geisteswissenschaft" (1911) Больт (Boldt, Ernst) мешал взгляды Штейнера и Фрейда на проблему пола. Впоследствии, в 20-е годы, Больт опубликовал несколько книг об учении Штейнера.

42. Johannesbau-Verein, посвятивший свою деятельность постройке антропософского "храма" (будущего Гетеанума), образовался 5 февр. 1913 г. (н.ст.) в Берлине.

43 . Ср. Евангелие от Матфея 26.67: "Тогда плевали Ему в лице и заushали Его; другие же ударяли Его по ланитам".

44. В Берлине 20-23 января 1914 г. (н.ст.) Штейнер читал четыре лекции "Der menschliche und der Kosmische Gedanke". Статья *ЭМБЛЕМАТИКА СМЫСЛА* (1909) была опубликована в кн. Белого *СИМВОЛИЗМ* (М" 1910), с.49-143.

45. Белый приводит отчество Нины Богоявленской и как "Н." и как "А." (чаще всего как "Н."). Мне не удалось его уточнить.

46. *САМОСОЗНАНИЕ* ("Мне снились: и море, и горы...") впервые было опубликовано в журнале "Заветы" (ред. Иванова-Разумника), 1914, №5, без названия; "атем в сб. *ЗВЕЗДА* и в *СТИХОТВОРЕНИЯХ* (Берлин, 1923), с датой: "1914. февраль. Базель". Автограф стихотворения находится среди писем 1914 г. Белого Иванову Разумнику (ЦГАЛИ, ф.17'82, ои.1, ед.хр.5).

47. В письмо (почт. шт. Basel 25.II.14) к матери Белый писал: "Сейчас мы живем в Базеле (Schweiz. Basel. Aeschenvorstadt. "Hdtel zum B?ren №25) в двух смежных комнатках, хотя Ася с утра уезжает работать в Дорнах; живем мы здесь по сложным причинам. Швейцарцы очень косятся на тех, кто не женаты, но живут в одном помещении; так как нам придется жить в Дорнахе долго (в будущем), то у нас потребуют документы и узнав, что мы не венчаны, нас вышлют из пределов Швейцарии (по ихним законам); ввиду этого мы венчаемся гражданским браком (которого нет в России и который единственно законен вполне здесь); но для этого надо бумаги, оглашения и прочее. Пока идет дело о нашем венчании, мы не можем снять в Дорнахе общее помещение и живем в отеле (в Базеле). Повенчаемся мы марта 15-го нов. стиля". (ЦГАЛИ, ф.53, оп.1, ед.хр.359).

48. 4-7 марта 1914 г. (н.ст.) читал лекции в Штутгарте, а 7 (вечером) - 8 марта в городе Pforzheim. Христиан Моргенштерн умер 31 марта 1914 г. в Меране. Его прах похоронен в Гетеануме.

49. Венчание состоялось 23 марта (н.ст.) 1914 г. в Берне.

50. 29-31 марта (н.ст.) Штейнер читал лекции в Мюнхене, отчасти на тему "Der Christus-Impuls im Zeitenwesen und sein Walten im Menschen".

51. 6, 8-14 апреля (н.ст.) Штейнер читал в Вене две публичные лекции и шесть лекций для членов А.О. из курса "Inneres Wesen des Menschen und Leben zwischen Tod und neuer Geburt". 14 апреля он выступил также с речью.

52. 16-17 апреля Штейнер читал две лекции в Праге (их названия не указаны в регистре прочитанных им лекций).

53. Адрес Белого в это время: Ariesheim (bei Basel). Mattweg 318.

54 Кунлри - волшебница в *ПАРСИФАЛЕ*, которая пробует соблазнить молодого рыцаря-героя на его "пути" я поисках св. Грааля,

55. 4 апреля (н.ст.) Штейнер читал лекцию в Бабеле, а 5 мая читал на тему "Das Hereinragen der geistigen Welt in die physische". В конце апреля Штейнер был в Берлине.

56. О собрании стихотворений, подготовленном Белым для изд. "Сирин", см. мое вступление в I томе *СТИХОТВОРЕНИЙ* А.Белого (M?nchen, 1984, "Centri-fuga", 49/1, с.28-29). Все три стихотворения, под названиями "Чаша времен", "Инспирация" и "Дух", появились в сб. *ЗВЕЗДА*. В берлинском сб. *СТИХОТВОРЕНИЯ* они датированы: май и июнь 1914 г. Арлесгейм.

57. Открытие "Glasatelier", отмеченное лекцией Штейнера, состоялось 17 июня 1914 г. (н.ст.)

58. *PETERSBURG*. Autorisierte ?bersetzung aus dem russischen von Nadja Strasser (M?nchen, Georg Malier, 1919).
59. Возможно, Белый имеет в виду цикл пяти лекций "Wege zu einem neuen Baustil", прочитанный в Дорнахе 7, 17 и 28 июня и 5, 26 июля 1914 г. (н.ст.).
60. 12-16 июля (н.ст.) Штейнер читал в Norrk?ping курс "Christus und die menscheiche Seele" и лекцию "Anthroposophie und Christentum".
61. В своих воспоминаниях М.В. Сабашникова-Волошина подтверждает рассказ Белого (см.: *DIE GR?NE SCHLANGE*: Margarita Woioschin, изд. 1985 г., с.291-292).
62. Штейнер читал свою последнюю лекцию до объявления войны 26 июля в Дорнахе, не в Базеле (после 2 июня 1914г. в Базеле вообще не было лекций). В 4 часа дня 19 июля/1 августа 1914 г. Германия объявила войну России.
63. Штейнер провел конец августа и первые две недели сентября (н.ст.) в Германии и в Австрии. С 26 сентября до 1 октября он опять читал лекции в Германии.
64. 3-6 октября (н.ст.) в Дорнахе Штейнер читал лекции из курса "Okkultes Lesen und Okkultes H?ren". 7 октября он читал там же на тему "Unsere Toten". 7, 10, 12, 18, 19, 24, 25 октября он читал лекции "Der Dornacher Bau als Wahrzeichen geschichtlichen Werdens und K?nstlerischer Umwandlungs-impulse". 10 и 20 сентября (н.ст.) в Дорнахе он читал лекции "Ъber Volksseelen und die Nationalit?tsidee".
65. Khunrath, Heinrich (ок. 1560-1605) -??> немецкий алхимик, автор кн. "Amphi-theatrum sapietiae aeternae solius verae, christiano-kabalisthim, divino-magicum, nee non physico-ehymicum, tertriumim, catholicon" (1609). Книга переводилась на французский, немецкий и др. языки.
66. Метнер Э.К. *РАЗМЫШЛЕНИЯ О ГЕТЕ*. Книга I. *Разбор взглядов Р.Штей-нера в связи с вопросами критицизма, символизма и оккультизма*. М., "Муса-гет", 1914, 525 с.
67. Ср. в письме матери от 8 декабря / 25 ноября 1914 г.: "Странная судьба: в двухчасовом расстоянии от нас (в Цюрихе) 4 месяца жил и живет Э.К. Метнер, загнанный сюда из Германии; и мы этого не знали; и он этого не знал; недели полторы тому назад мы узнали это. Наташа ездила к нему; в это воскресенье он приедет к нам в гости; Эллис же живет в Берне. Странно: в это роковое время весь бывший *Мусагет* судьбою оказался загнан в одно место: Эллис, Метнер, я, Петровский, Сизов. Только Киселев оказался в России". (ЦГАЛИ, ф.53, оп.1, ед.хр.359).
68. *GOETHE'S NATURWISSENSCHAFTLICHE SCHRIFTEN*. Von Rudolf Steiner mit Einleitungen, Fussnoten und Erlduterungen im Text herausgegeben", 4 тома, 1883-1897, изд. Joseph Kurhner.
69. См., например, его *GRUNDLINIEN EINER ERKENNTNISTHEORIE DER GOETHESCHEN WELTANSCHAUUNG...* (1886) и *GOETHE'S WELTANSCHAUUNG* (1897).
70. *DIE RDTSEL DER PHILOSOPHIE*. 2 тт. (1914); *DIE PHILOSOPHIE DER FREIHEIT*(1894); *WAHRHEIT UND WISSENSCHAFT (im)*; *GRUNDLINIEN...* - см. выше.
71. Белый приводит эти строки в "берлинской редакции" *НА ЧАЛА ВЕКА*: "/.../ и - я отдался весне, не как в прошлом году; подымался старинный любимый мотив: [цитата]. Я когда-то просил эту песню петь Анну Васильевну; и вот теперь эту песню пропела д'Альгей'м на весеннем концерте...". Белый цитирует последние четыре строки в *НА ЧАЛЕ ВЕКА* (с.403) и первые три в *МЕЖДУ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ*(с.367) - в связи с д'Альгейм, но не называя ни автора слов, ни композитора.
72. *RICHARD WAGNER IN BA YREUTH* появилась 10 июля 1876 г. Вскоре после опубликования провагнеровского эссе Ницше поехал в Байрейт на открытие театра, специально построенного для постановки "опер-драм" Вагнера (13 августа н.ст.). Вся атмосфера Байрейта отталкивала философа; разрыв его дружбы с Вагнером и конец поклонения его музыке впервые отразился в в кн. *MENSCHLICHES, ALLZUMENSCHLICHES: EIN BUCH FЪR FREIE GEISTER* (1878). Самое резкое его нападение на Вагнера - *DER FALL WAGNER* (1888).
73. Штейнер сочетался гражданским браком с М.Я. Сиверс 24 декабря 1914 г. (н.ст.) в Дорнахе.
74. Приводятся первые две строки (слегка Белым искаженные: у него "in" вместо "um") стихотворения 1906 г. *WINTERSONNENWENDE* из сб. стихов Штейне-ра *WAHRSPRUCHWORTE*.
75. Позднее, в стих. *МИХАИЛУ БАУЭРУ* (1918?, впервые опубликовано в сб. *КОРОЛЕВНА И РЫЦАРИ*, 1919), Белый писал: "Мейстер Эхарт нашего столетия, - / Помню ты из Арлесгейма в Дорнах / Мимо нас в годину лихолетья / Приходил, склонясь в цветах и в тернах... / Помню перламутровые травы, / Купол ясноглавый, величавый, / Розовые воздушы Эльзаса, / Пушечные взрывы... из Эльзаса" (строфы Н-Ш).
76. 13 февраля (н.ст.) Белый послал свой новый адрес в письме матери: Schweiz, Dornach (bei Basel). Kanton Solothurn. Haus Thomann (Baumalerei). Там он, в частности, писал: "Прости меня, что я так долго не писал; не писал я потому, что страшно уставал: у меня была инфлуэнца, а у Аси инфлуэнца с бронхитом, переходящим в воспаление; я поправился в неделю, а Ася 11 дней лежала и месяц после того, как встала, была на положении больной; /.../ Кроме того: с февраля нового стиля мы переехали; Асю, больную, надо было перевозить (с вещами и прочим). Только теперь оправляемся оба от усталости этих месяцев. /.../ Переехали мы прекрасно; у нас 2 милых тихих комнаты, коридор, кухня, 3-ья комната, которую мы сдали одной англичанке (антропософке) и терраса с видом на *Vau*. Мы прямо под *Vau* (очень близко); утром к нам на 3 часа приходит

прислуга; в 12 1/2 приносят обед из *кантины*. Ваи под боком. И кроме того: мы соседи с Доктором /'...'/(ЦГАЛИ, ф.53, оп.1, ед.хр.359).

77. Книга *РУДОЛЬФ ШТЕЙНЕР И ГЕТЕ В МИРОВОЗЗРЕНИИ СОВРЕМЕННОСТИ*. Ответ Эмилию Метнеру на его первый том "Размышлений о Гёте", с эпиграфом: "Ждем снисходительно-популярного ответа. Эмилий Метнер", вышла в Москве (изд. "Духовное знание") в 1917 г. Ее содержание: гл. первая: Введение; гл. вторая: Рудольф Штейнер в круге наших воззрений; гл. третья: Световая теория Гёте и Рудольф Штейнер; гл. четвертая: Методология Рудольфа Штейнера; гл. пятая: Световая теория Гёте в моно-дуоплюральных эмблемах; гл. шестая: Рудольф Штейнер и - Кант, Гёте, Гегель, Платон, идея, опыт, органика, мир внешний, мир внутренний (Приложение).

78. Ср. *ВОСПОМИНАНИЯ О ШТЕЙНЕРЕ*: "Так безумие великого Шумана вызвучилось [вызвучивалось] задолго в прекрасных звуках "Ин Дер Нахт", "Фантазии", сонаты, посвященной Кларе Вик, и в "Дихтер Либе"" (с.225). Клара Вик (Clara Wieck, 1819-1896, жена Шумана с 1840 г.) - ей посвящена соната №1, op.II (1832-35). "Kreisleriana", op.16 (1838); "Phantasie", op.17 (1836-38); "In der Nacht" ("Phantasiestücke", op.12, №5, 1832-37). О значении Шумана для Белого см. примеч. на с.644 *ПЕТЕРБУРГА* (М., *981).

79. На Пасхе, 4 апреля (н.ст.), Штейнер читал лекцию "Drei Faustgestalten". В тот же день была первая эвритмическая постановка "пасхальной сцены" из *ФАУСТА*.

80. 15-23 апреля (н.ст.) Штейнер провел в Берлине, где он читал серию лекций.

81. 22 мая (н.ст.) Штейнер читал в Дорнахе лекцию из цикла "Faust, der strebende Mensch". Была также исполнена так называемая "Ariel-Szene", открывающая второй акт. Белый слегка искажает последнюю фразу из монолога Фауста: "Am farbigen Abglanz haben wir das Leben".

82. Белый, вероятно, имеет в виду известное стихотворение 1771 г.: "Heidenrusslein" с рефреном: "Rüsslein, Rüsslein, Rüsslein rot / Rüsslein auf der Heiden".

83. Здесь Белый перешел в рукописи на новую орфографию.

84. В июне 1917 г. Белый работал над "ритмическим жестом Пушкина" и над "разбором кривой "Медного всадника"" (*РАККУРС ДНЕВНИКА*). 2 июля он читал в Тифлисе лекцию "Ритмический жест "Медного всадника"". Эта работа лежит в основе его книги *РИТМ КАК ДИАЛЕКТИКА И "МЕДНЫЙ ВСАДНИК"* (М., 1929).

85. Ср. положение террориста Дудкина в *ПЕТЕРБУРГЕ*; или: "Творчество мое - бомба, которую я бросаю; жизнь, вне меня лежащая. - бомба, брошенная в меня" (*ИСКУССТВО*, 1908. - *АРАБЕСКИ*. М., 1911, с.216), или "Величайший художник Европы, Ницше, бросает в нас свою бомбу - "Зара"всгру"" (*ТРАГЕДИЯ ТВОРЧЕСТВА. ДОСТОЕВСКИЙ И ТОЛСТОЙ*, М., 1911, с.13).

86. Каляев, Иван Платонович (1877-1905), с.-р., член БО ПСР. 4.02.1905 убил московского генерал-губернатора вел. кн. Сергея Александровича. Повешен.

Савинков, Борис Викторович (1879-1925), один из руководителей Боевой Организации ПСР.

87. Grimm, Hermann (1828-1901) - *LEBEN MICHELANGELOS* (1860; много переизданий, юбилейное изд. 1899-1900).

88. 8 января (н.ст.) 1914 г. в Берлине Штейнер читал лекцию "Michelangelo und seine Zeit vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft" (из курса "Geisteswissenschaft als Lebensgut", 1913-1914).

89. Ср. *ПОЧЕМУ Я СТАЛ СИМВОЛИСТОМ...* 1928 г.: "Символы не говорят, а кивают" (Ann Arbor, 1982, с.35). Здесь Белый, по всей вероятности, перефразирует О *ПРИРОДЕ СЛОВА* Мандельштама (впервые опубли. в 1922 г., перепечатано в сб. *О ПОЭЗИИ*, 1928): "Вот куда приводит профессиональный символизм. Восприятие деморализовано. Ничего настоящего, подлинного. Страшный контреданс "соответствий", кивающих друг на друга. Вечное подмигивание. /.../ Никто не хочет быть самим собой" (*СЛОВО И КУЛЬТУРА*. М., 1987, с.65).

90. Дорнах-Арлесгейм находится в швейцарском кантоне Solothurn.

91. Начиная с этого места, характер почерка меняется, что наводит на мысль о том, что эта часть рукописи писалась позднее.

92. В первой части гетевского *ФАУСТА* герой слышит хор ангелов, поющий "Christ ist erstanden!" ("Христос воскрес!", ст.736) до того, как он продает свою душу чорту-Мефистофелю, который впервые появляется в виде черного пуделя. Дальше в тексте Белый описывает конец второй части драмы-мистерии - спасение Фауста.

93. Преподобный Серафим Саровский (1760-1833) - старец-пустынник и затворник, прославившийся как величайший подвижник. С начала столетия, когда Алексей Петровский подарил Белому и книгу о нем и образок святого, - глубоко чтим Белым. Подробнее - в моей статье о месте Св. Серафима в жизни и творчестве Белого (в печати).

94. "Эвритмическая" постановка последней сцены (так называемое "вознесение Фауста" - "Fausts Himmelfahrt") из второй части трагедии состоялась 15 августа (н.ст.) 1915 г. в Дорнахе под руководством Штейнера. 14-16, 28 августа он читал лекции из цикла "Faust, der strebende Mensch". См. также "Eurythmie und Faust-Szenen" в кн. Аси Тургеневой *ERINNERUNGEN AN RUDOLF STEINER UND DIE ARBEIT AM ERSTEN GOETHEANUM* (Stuttgart, 1972), с.66-69.

95. Имеется в виду статья Белого *ЭМБЛЕМАТИКА СМЫСЛА. Предпосылки к теории символизма*. (1909) - Впервые опубликована в кн. *СИМВОЛИЗМ* (М., "Мусагет", 1910), с.49-143.
96. Ср. "автобиографическое письмо" Иванову-Разумнику: "в периоде 1912-1915 от прошлого - механически деформируется: деформируются отношения: со всем *"Мусагетом"*, т.е. с Метнером, Петровским, Киселевым, Сизовым; потом - с Рачинским; потом - с СМ. Соловьевым; то же - с Морозовой, Булгаковым, Бердяевым и т.д.; то же - с мамой; то же - со всей Москвой; потом - и со всей Россией" (*"Cahiers du monde russe et sovietique"*, 15, №1-2, 1974, с.70).
97. Об этой книге Белый впоследствии писал: "пишу книгу в 1915 году *"Рудольф Штейнер и Гете"*; но - какая же это книга; она - отражение Метнера; и она *семинарий и штудиум* по вопросам антропософского *гетизма* и антропософской *методике*.
Я очень лично ценю эту книгу: она, по-моему, ярка, написана крепким языком; но - ведь это же чудовищный "кентавр": *"полемико-гносеолого-афорисмо-логис-мо-"* не умею закончить: "логия" что ли, "-фония" ли? И она - характерна: она - *"предзамысел"* к неисполненным еще работам, которых неисполненность мучит меня". (*"Cahiers du monde russe et sovietique"*, 15, №1-2, 1974, с.73).
98. См., в последней сцене трагедии: "Wer immer strebend sich bemüht / Den Künsten wir erltsen".
99. Заключительные строчки стихотворения *МАНИЯ* (1903), опубликовано в сб. *ЗОЛОТО В ЛАЗУРИ* (М., 1904), с.239.
100. Лемуры - бесы (die Lemuren), вызванные Мефистофелем, чтобы погубить Фауста (в конце второй части трагедии).
101. 12 июля 1916 г. был обнародован высочайший указ о "призыве ратников I и II разрядов", согласно которому Белый был призван на военную службу. Согласно рукописи "Жизни без Аси" (ГБЛ, ф.25, карт.31, ед.хр.1), он уехал из Дорнаха 16 августа (н.ст.), а 3 сентября приехал в Петроград. Вскоре после этого он знакомится в Москве с "К.Н.", т.е. с Клавдией Николаевной Васильевой: "с 1916 года Клавдия Николаевна делается мне близкой в работе *"московской группы"* [А.О.]; в 1917 году - еще *"ближе"*, а в 1918 году происходит наша встреча с ней; я первой из всех ей умею *все-все-все* рассказать о годах 12-15-ых" (*"Автобиографическое письмо"* Белого Р.В. Иванову-Разумнику, *"Cahiers du monde russe et sovietique"*, 15, №1-2, 1974, с.78).
- В письме к матери от 29 декабря 1921 года, из Берлина, Белый писал: "Видел д-ра Штейнера и Асю. Представь: первый человек, которого я встретил в Берлине, была Ася; она с доктором проехала из Швейцарии через Берлин в Христианию, и - обратно: давать эвритмические представления; мы провели с ней 4 дня; и на возвратном пути она осталась 4 дня в Берлине. В общем - не скажу, чтобы Ася порадовала меня; она превратилась в какую-то монашенку, не желающую ничего знать, кроме своих духовных исканий". (ЦГАЛИ, ф.53, оп.1, ед.хр.359). Окончательный разрыв Белого с А.А. Тургеневой произошел в Берлине в апреле 1922 г.
102. Ср. "автобиографическое письмо" Иванову-Разумнику: "До явления, вспыха - *сон не сон*: скорее выход из себя в какой-то *черте*, где встретил Доктора, которому мое высшее *"Я"* дало как бы на что-то обет (низшее *"я"* недорасслышало), и непосредственно после обряда прощания, на лекции доктора мне в руки свалился *эпилептик*, которого вынес я и которого приводил в сознание, причем было ясно: *"эпилептик"* - это тот *"Я"*, который от принятого решения моим высшим *"Я"* всю последующую жизнь будет нести величайшие страдания". См. также примечание Белого к рисунку в письме: "Эпилептик падает мне в руки, т.е. *"Я"* сам падаю себе в руки: несу карму" (*"Cahiers du monde russe et sovietique"*, 15, №1-2, 1974, с.72).
103. В письме, посланном 20 ноября 1915 г. (н.ст.) из Арлесгейма Р.В. Иванову-Разумнику, Белый писал: "Теперь же сижу над 3-ьей частью *"Трилогии"*, которая разрастается ужасно и грозит быть трехтомием. Называется она *"Моя жизнь"*: первый том - "Детство, отрочество и юность". Первая часть тома как и две другие части в сущности самостоятельны; ее кончу через 2-2 >1/2 месяца; она называется *"Котик Летаев"* (годы младенчества); *!...!* Работа меня крайне интересует: мне мечтается форма, где *"Жизнь Давида Копперфильда"* взята по *"Вильгельму Мей-стеру"*, а этот последний пересажен в события жизни душевной; приходится черпать материал разумеется из своей жизни, но не биографически: т.е. собственно ответить себе: "как ты стал таким, каков ты есть", т.е. самосознанием 35-летнего дать рельеф своим младенческим безотчетным волнениям, освободить эти волнения от всего наносного и показать, как *ядро* человека естественно развивается из себя и само из себя в стремлении к положительным устоям жизни приходит через ряд искусств к... духовной науке *!...!* и детская песня души, превращенная в оркестрованную симфонию, есть наш путь" (ЦГАЛИ, ф.1782, оп.1, ед.хр.б).
104. См. статью Белого *ВОЛЬНАЯ ФИЛОСОФСКАЯ АССОЦИАЦИЯ*. - "Новая Русская Книга", 1922/1 (январь), с.32-33. Также и его *ПОЧЕМУ Я СТАЛ СИМВОЛИСТОМ...* (Ann Arbor, 1982), с.109-110.
105. Вагнер - "ученый секретарь" Фауста, олицетворение "академического самодовольства", полная противоположность вечно ищущему Фаусту.
106. Матф. 6.34.

107. Портрет ("Doppelbildnis Andrej Bjelyi mit seiner Frau Assja Turgenjew. 1915/ 16") числится под номером 24 в каталоге работ М.В. Сабашниковой, помещенном в кн. *MARGARITA WOLOSCHIN. LEBEN UND WERK* (Stuttgart, 1982). В своей автобиографии *DIE GRÜNE SCHLANGE* (изд. 1985 г.) Сабашникова-Волошина пишет: "Im Jahre 1916 wurde Andrej Bjelyi einberufen. Vor seiner Abreise hatte ich ein Doppelbildnis von ihm und seiner Frau gemacht, so wie sie oft Hand in Hand - gleich zwei Gestalten auf den ägyptischen Grdbern - einem Vortrag lauschten. Einige Tage nach seiner Abreise erblickte Rudolf Steiner das Bild in meinem Atelier und sagte: "Wie schade, daЯ er abgereist ist; eben war er auf dem Wege, gewissermaßen das Gleichgewicht zu erlangen.". "Aber", widersprach ich ihm, "er ist doch mit RuЯland so verbunden; muЯ er nicht diese kritische Zeit mit seinem Volke zusammen erleben? Er wird da anthroposo-phisch arbeiten können". "In RuЯland wird man nur Chaos und Fegefeuer erleben können. Es werden dort vielleicht noch Ingenieure gebraucht", (с.296-297).

108. В январе-феврале 1918 г. Белый делал "черновые наброски" *ЗАПИСОК ЧУДАКА*. Он усиленно работал над ними весной (март-апрель) того же года, а в октябре переделал написанное. Он продолжал работу в ноябре, а закончил книгу лишь в конце декабря 1921 г. в Берлине. *ЗАПИСКИ ЧУДАКА* вышли в двух томах в 1922 г. (Москва-Берлин, "Геликон").

109. Бенедикт (Benedictus) - герой "ясновидец", мудрец и духовный вождь мистерий Штейнера. В четвертой пьесе ("Der Seelen erwachen") тетралогии, Ариман борется с ним за судьбы его учеников и пробует "туманить" его дар. В конце пьесы Ариман побежден, когда Бенедикт "видит" его сущность.

110. *ФАУСТ*, вторая часть, первый акт, пятая сцена ("Finstere galerie"), строки 6173-6306. Силой, данной ему "Матерями" (die Mütter) Фауст вызывает Елену и Париса.

111. От латинского stola - женское платье, шаль.